K97 4/24

К97 4/24

Писатели ленинскому комсомолу

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

МОСКОВСКОЕ
Т-ВО ПИСАТЕЛЕЙ

ИЗД-ВО: Москва, 9. Б. Гнездниковский пер., 10
КНИЖН. МАГ.: ул. Горького, 12

цена 4 рубля

К97 4/24

ПИСАТЕЛИ ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ

Литературно-художественный
сборник
под редакцией С. Кирьянова

МОСКОВСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
1934

БИБЛИОТЕКА
Государ. Истор. Музея
№ 3657
26 " V 1934 г.

Редактор С. Карьяков *Техн. ред.—М. Чуванов*
Художник А. Суворов

16-я типография треста «Полиграфкнига», Трехпрудный, 9.
З. т. 910. Сдано в набор 22.7/33 г. Подп. к печ 23.12/33 г.
Статформат Б-5, 148×220 Печ. л. 20 1/8. Москва. Уполномоченный Главлита В 69997. Тир. 5.100. Зак. 910.

1934 *МТП 139/134*

ПЕТР СМОРОДИН

Не прославим—покажем того,
Кто заводской чеканкой высечен.
Я хочу показать одного,
Чтобы в нем говорили тысячи.
Этот гимн комсомольской весне
И стальной большевицкой породе—
Назову не песнью песней,
А просто
Петр Смородин.

1

Живая струя потока.
Рабочий.
Комсомолец.
Коммунист. Вот он.
По паспорту—токарь,
А по анкете—цекист.

2

Знаю: в пути его
Столько нагрузки!—
День перейти,
Словно взять окоп.
Ах, у Прошлого такой узкий,
Каменный, тупой лоб.
Думало, можно такого
Выжать, скрутить, одолеть
Грохотом станковым
И подымающим плеть
Гнетом, трудом острожным...
А он доказал ему вмиг,
Что грамоту пить можно
Из
Ворованных книг.
Мог он—парнишка неловкий—
Водку в пятнадцать пить,
И первым при забастовке
Горн потушить.

Мог матершинничать люто,
Бросить листовку... Он мог,
Трое не евши суток,
Другу отдать кусок.
Знать, что восстанье близко.
Гнету готовить гроб...
Ах, у Прошлого такой низкий,
Каменный, тупой лоб!

3

И вот
Люди труда без родины,
Сам он, завод и станки
Взяли Петра Смородина
В большевики.
Красным семнадцатым годом
Крикнувши миру: «Даешь!»,
Дали Петра коноводом,
Дали Петра в молодежь.
Вот он пылающей речью
Старый ворочает мир,
Миг—и винтовку на плечи,
Он полковой командир.
В Пскове ли, Ямбурге, Нарве
Белогвардейцев бьет,
Миг—и в заводском зареве
Снова тачает болт.
Миг—и в Цека галдежит...
Чрез комсомольский ров
В армию молодежи
Льет большевицкую кровь...
Вот заседаний сотни.
Тезисы. Книги. Листки.
Митинг. Ячейки. Субботник.
Фабрики. Села. Полки...
Эпос,
Эпос величавый!
Партия! РКСМ!
В них
Каждый тезис корявый
Стоит
Десятков
Поэм.

4

Вот он теперь в кабинете.
Рабочий.
Комсомолец.
Коммунист.
Пишет Смородин в анкете:
Цекист.
Вместо винтовки тяжелой
Держит бумагу, перо.
Вновь заседания, школы,
Пленум Цека, оргбюро.
Только подчас, без причины,
Так себе, в воздух ли, в свет,
Плюнет, заржет матершиной—
Грязью проклятых лет.
Странного много на свете,
Есть и еще грехи.
Знаю, Смородин Петя
Пишет тайком стихи...
Целые дни приемы,
Шефство, ячейки, бюро...
Переменились хоромы,
Тем же осталось нутро.
Вечером, тем же парнем,
Приподымая Петра,
С Энгельсом, Марксом, Бухариным
Проговорит до утра.
Пишет ребятам знакомым...
Знает
Наверняка:
Там где-то
Будущие наркомы
Ждут у сохи и станка.
Вот он всегда перед нами,
С жизнью его грозовой,
Руганью, гневом, грехами—
Живой.

5

Говорят мне опять: нельзя
Памятник личности высечь.
Петя! Тебя я взял
Потому, что ты сколок с тысяч.

. . . . . .
В этой песне о нынешнем дне
(В звуке имени: Петр Смородин)
Только гимн комсомольской весне
И стальной большевицкой породе.
Знаю, знаю: ты первый ждешь,
Чтобы имя твое смыли,
Чтобы новый сверкающий дождь
Смыл бы все имена и фамилии...
Лейся в жизнь, человеческий дождь!
Гряньте, вспышки ликующих молний!
Вот она, вот она,
Рабочая
Молодежь,
Родина моя—
Комсомол мой!

НА РАЗВЕДКЕ

Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем. К устью Ирохедзы стягивались новые силы, японская разведка шарила по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху. Шли медленно, с большими остановками, от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частые охранения. В железном упорстве их движения, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, разумная и в то же время слепая сила.

Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому.

— Как же так?—холодно переспрашивал Левинсон.—Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине. Что же они, назад идут?

— Н-не знаю,—заикался разведчик.—Может, то передовые были в Соломенной...

— А откуда ты знаешь, что в Монакине главные, а не передовые?

— Мужики сказывали...

— Дались тебе мужики... Как тебе было приказано?

Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими россказнями, он не доехал до неприятеля верст десять, просидел в кустах, раскуривая табачок и дожидаясь, когда удобней будет вернуться. «Ты бы сам сунулся»,—думал он про Левинсона, глядя на него затаенно-мигающим мужицким взглядом.

— Придется тебе самому съездить,—сказал Левинсон Бакланову.—Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет.

— А кого взять?—спросил Бакланов. Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревожной боевой радости: как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства.

— Возьми кого хочешь... хотя бы новенького, что у Кубра-

ка,—Мечика, что ли. Кстати, проверишь, что он за парень. А то говорят про него нехорошее, может и зря...

Разведка подвернулась Мечику как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел, несдержанных обещаний и неосуществленных хотений, что каждое из них в отдельности, даже выполненное, потеряло бы уже всякий смысл и назначение. Но вместе они давили все тяжелей и глуше и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением.

Они выехали еще до рассвета. Чуть розовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко. Необычность обстановки, предвкушение опасности, надежда на удачу—порождали в обоих то приподнято-боевое настроение, при котором все остальное неважно. В теле—легкая зыбь крови, пружинят мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит.

— Эк у тебя кобыла опаршивела,—говорил Бакланов.—Не ухаживаешь, что ли? Плохо... Это Кубрак, дурило, не показал, видно, что с ней делать.—Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадью, хватит совести довести ее до такого состояния.—Не показал, да.

— Да как сказать...—смутился Мечик.—Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться.—Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова.

— А ты у каждого спрашивай. У вас там много понимающих. Ребята есть боевые...

Вопреки мнению Чижа, которое Мечик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой плотный и круглый, сидел на седле, как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые, все схватывали на лету, тут же отделяя достойное внимания от пустяков, затем следовали практические выводы:

— Э-э, парень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит. Заднюю подпругу ты дотказа натянул, а передняя висит. Наоборот надо. Давай перетянем...

Мечик не успел еще сообразить в чем дело, а уж Бакланов, спешившись, возился у седла.

— Ну-у... да у тебя и потник завернулся... Слезай, слезай—лошадь загубишь. Насквозь переседлаем.

Проехав несколько верст, Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо лучше и умней его, что Бакланов, кроме того, очень смелый и сильный человек, и что он, Мечик,

должен всегда безропотно ему подчиняться. Бакланов же, подходивший к Мечику без всякой предвзятости, хотя и почувствовал вскоре свое превосходство, но разговаривал с ним как с равным, стараясь простым наблюдением определить действительную его цену.

— В сопки тебя кто направил?

— Да я, собственно, сам пошел, а путевку мне максималисты дали...

Помня странное поведение Сташинского, Мечик старался как-нибудь смазать значение пославшей его организации.

— Максималисты... Зря ты с ними путаешься—трепачи...

— Да мне ведь все равно... Просто там есть несколько моих товарищей по гимназии, вот я...

— Гимназию-то кончил?—перебил Бакланов.

— Что? Да, кончил...

— Это хорошо. Я тоже учился в ремесленном. На токаря. Не пришлось кончить. Поздно, видишь, начал,—пояснил он, точно оправдываясь.—До того я на судостроительном работал, пока братишка не подрос, а тут вот вся эта каша...

Немного погодя он снова задумчиво протянул:

— Да-а... Гимназия... Я тоже мальцом хотел, да уж такое дело...

Видно, слова Мечика навеяли на него много ненужных воспоминаний. Мечик с неожиданной страстностью стал доказывать, что вовсе не плохо, а даже хорошо, что Бакланов не учился в гимназии. Незаметно для себя, он убеждал Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность. Бакланов, однако, не видел большого достоинства в своей неучености, а более сложных рассуждений Мечика не понял вовсе. Задушевного разговора не получилось. Оба прибавили рыси и долго ехали молча.

Всю дорогу попадались разведчики и врали попрежнему. Бакланов только головой крутил. На хуторе, в трех верстах от деревушки Соломенной, они оставили лошадей и пошли пешком. Солнце давно уже перевалило к западу, усталые поля пестрели бабьими хустками, от жирных суслонов ложились тени, спокойно-густые и мягкие. У встречного мужика Бакланов спросил, были ли в Соломенной японцы.

— С утра, говорят, человек пять приезжало, а сегодня штой-то не слыхать... Хочь бы хлеба убрать, ну их к лешему...

Сердце у Мечика забилось, но страха он не чувствовал.

— Значит, они и впрямь в Монакине,—сказал Бакланов.— Это разведка приезжала. Крой смело...

Они вошли в село, встреченные ленивым собачьим лаем.

На постоялом дворе с пучком сена, привязанным к шесту, и подводой у ворот,—напились молока «по-баклановски»: из мисочки и с хлебцем. Впоследствии, с жутью вспоминая весь этот поход, Мечик неизменно видел перед собой Бакланова, как он вышел на улицу с расплывшимся лицом и остатками молока на верхней губе. Они не сделали и нескольких шагов, как из переулка, подобрав юбки, выбежала толстая баба и, столкнувшись с ними, остановилась в столбняке. Глаза ее полезли под платок, а ртом она хватала воздух, как пойманная рыба.

И вдруг завопила самым пронзительным и тонким голосом:

— А родненькие ж вы мое, а куда ж вы идетя... Агромятующая сила гапонцив биля школы... Сюда, идуть, а текайте ж, сюда идуть.

Мечик не успел еще восчувствовать ее слов, как из того же переулка, маршируя в ногу, вышли четыре японских солдата с ружьями на плечах. Бакланов, вскрикнув, стремительно выхватил кольт и выстрелил—почти в упор—в двоих. Мечик видел, как сзади у них вылетели кровавые клочки, и оба они рухнули на землю. Третий патрон попал в перекос, и кольт перестал действовать. Один из оставшихся японцев бросился бежать, а другой сорвал винтовку, но в то же время Мечик, повинуясь новой силе, которая управляла им больше, чем страх, выстрелил в него несколько раз подряд. Последние пули попали в японца, когда уже он лежал, корчась, в пыли.

— Бежим...—крикнул Бакланов.—К подводе...

Через несколько минут, отвязав лошадь, бившуюся у постояла, они мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. Бакланов стоял на телеге, изо всех сил хлестал концами вожжей, то-и-дело оглядываясь назад—нет ли погони. Где-то в центре не менее пяти горнистов играли тревогу.

— Здесь они... все-е...—кричал Бакланов с каким-то торжественным озлоблением. — Все-е... Гла-авные... Слышишь, играют...

Мечик ничего не слышал. Припав на дно телеги, он чувствовал, как в дикой радости его избавления, в ее горячей и трусливой пыли, корчится убитый им японец, исходя последними смертными муками. И когда он посмотрел на Бакланова, перекошенное лицо последнего показалось ему противным и страшным.

Через некоторое время Бакланов уже смеялся:

— Ловко получилось. Да. Они в село и мы—разом. А ты, брат, молодец. Даже не ожидал от тебя, право. Если бы не ты, он бы нас вот как изрешетил...

Мечик, стараясь не смотреть на него, лежал, подвернув голову, весь желтый, в темных пятнах, как хлебный колос, сгнивающий на корню.

Отъехав версты две и не слыша погони, Бакланов остановил лошадь возле одинокого ильмака, согнувшегося над дорогой.

— Ты здесь оставайся, а я влезу на дерево, будем караулить.

— Зачем?..—сказал Мечик прерывающимся голосом.—Поедем скорей. Надо сообщить... ясно, что тут главные...—Он заставлял себя верить в то, что говорит, и не мог. Теперь ему страшно было оставаться вблизи неприятеля.

— Нет, уж лучше обождем. Не затем киселя хлебали, чтоб трех этих дураков пришить. Разнюхаем точно.

Через полчаса из Соломенной выехали шагом человек двадцать конных. «А что, ежели заметят?—подумал Бакланов с тайной дрожью.—Не уйти нам на подводе». Превозмогая себя, он решил ждать до последней крайности. Конница, невидная Мечику за холмом, проехала уже с полдороги, когда со своего наблюдательного пункта Бакланов заметил пехоту: она только выходила из села густыми колоннами, пыльно отсвечивая оружием... В стремительном гоне до хутора, они едва не загнали лошадь, там пересели на своих и через несколько минут мчались уже по дороге в Шибиши.

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

ИЗ БЛОКНОТА 1920 ГОДА

Воспоминания участника третьего съезда КСМ

Пришедшие из всех углов страны,
С фронтов, заводов,
Фабрик и селений,
Мы были
В первый миг оглушены,
Ослеплены,
Когда сказали:
ЛЕНИН!..

Не передать
Ни радости такой,
Ни клекота
Рукоплесканий жгучих.
К эстраде
Сгрудились мы
Тысячной толпой,
Чтобы его
Овацией замучить.

Он руки
В нетерпеньи поднимал,
Молил пощады...
Но пощада—мимо!
И, осажденный радостью, стоял
Он перед лагерем
Неумолимым.

— Скажи, Ильич,
Что делать нам с собой,
С сердцами,
Вдребезги готовыми разбиться?
В боях мы были.

Вновь готовы в бой...
А он нахмурился,
И вдруг сказал:
— *Учиться!*

— Учиться? Что!
Мы землю на дыбы
Поставим,
Как взбешенную тигрицу...
А он:
— Не отрываясь от борьбы,
Учиться,
И учиться,
И учиться!..

— Учиться? Как?!
Великий командир,
Постой, у нас дела
Найдутся... поважнее.
А он—свое:
О том, что **новый мир**
Без знанья мы
Построить не сумеем!

Ильич спокоен.
Снова и опять
Слова:
мораль,
труддисциплина,
знанья...
О том,—что надо
Смену воспитать
В коммунистическом
соревнованьи.

Мы этих слов
Не слышали вовек.
Они сложны, слова простые эти...
Не знали мы,
Что может человек
Глядеть вперед

В бинокль
десятилетья...

Простой... Родной...
Лицо... Часы... Жилет...
В руке листок.
На нем рисунок: школа.

И в этот день
Он на десятки лет
Нам написал
ПРОГРАММУ
КОМСОМОЛА.

ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ

Отрывок из романа

Котлован от реки отделяла тонкая перемычка. На краях котлована, с двух сторон, стояли два экскаватора и, вытянув шеи, удивленно заглядывали вниз. Они закончили свою работу, выбросив верхний слой гальки. Глубже начиналась скала, и зубы экскаваторов бессильно лязгнули, царапнув ее поверхность. Тогда в котлован спрыгнули люди и стали рвать скалу амоналом. Три раза в день над котлованом верещали свистки, и люди гурьбой карабкались вверх по осыпающимся камням кавальера. Потом внизу раздавался первый взрыв, за ним второй, третий, восьмой,—размеренные и глухие, как пушечные выстрелы. Это была короткая артиллерийская подготовка перед атакой. И когда отгремел шестнадцатый выстрел, люди стремглав кинулись вниз—киркой, как штыком, колоть ошаращенную породу. Потом подбегали другие, наваливали камень на тачки и бросались бежать, толкая тачку вперед по узенькому настилу досок, тонкому, как острие бритвы, по которому души правоверных пройдут в обещанный пророком рай с тачкой своих грехов. Было очевидно, что для этих мусульман, с их стажем тачечников, будет парой пустяков пробежать по любому острию, и что они даже по дороге в рай обязательно устроят гонки на лезвие магометовой бритвы.

По доске надо было пробежать карьером, остановиться на секунду—значило высыпать на полдороге весь груз. Добежав до старта, они с грохотом опрокидывали тачку, и камни на лету подхватывали другие рабочие и грузили в оскаленный ковш экскаватора. Потом драглейн плавно взлетал вверх и, описав полукруг, вытряхивал содержимое ковша во всклокоченную муть реки, летящей за перемычкой. На минуту в этом месте образовывался водоворот, пока подбежавшие на подмогу мускулистые волны не подхватывали, наконец, гигантский груз и не катили его вниз по течению, на незримых грохочущих тачках...

В этот день с утра Кларк получил извещение, что пришли из Сталинабада бетономешалки и компрессоры для бурения

скалы и стоят на той стороне у переправы. Он решил дождаться их в местечке и лично принять машины. Ждать пришлось долго. На целое утро переправу закупорили возчики с лесом, дожидавшиеся уже два дня своей очереди. Бетономешалки привезли под вечер. Приняв машины, Кларк отправился к главному инженеру Киршу просить его отпустить лесу для шахтного подъемника: леса привезли много, а когда прибудет следующая партия—неизвестно. Кирш внимательно перебрал пачку срочных заявок на лес со всех участков и наконец уступил.

Кларк, обрадованный победой, послал шофера за Полозовой и за прорабом. Ему хотелось наверстать потерянный день и сегодня же начать подготовительные работы по постройке подъемника.

Вызвали плотника.

Прищел бородатый дядя в картузе и остановился у притолоки.

— Вы будете товарищ Притула?—спросил прораб.

— Притула Климентий—он самый.

— Нам вот надо поставить на котловане шахтный подъемник. Возьметесь?

— Почему бы нет? Можно.

— А ставили уже когда-нибудь?

— Шахтенный подденник? Нет, не приходилось.

— Не поденник, а подъемник. Ничего. Дадим вам чертеж и все измерения. Будете работать под руководством американского инженера.

— Можно,—согласился Климентий.

Кларк на листке бумаги начертил схему сооружения и протянул листок плотнику. Климентий долго вертел листок в пальцах, пристально всматриваясь в рисунок, словно в ребус, который предлагали ему разгадать.

— Ну, как, понимаете?

— На бумажке-то оно всегда выходит так точно, а начнешь строить—что получится, неизвестно.

— А вы в чертежах-то разбираетесь?—подозрительно покосился прораб.

— Мы—плотники. Наше дело из дерева строить, а не из бумажек,—обиделся Климентий.

— Ну, брат! Без чертежа тут своим умом не поставишь. Нет ли у вас там в артели кого-нибудь, кто бы в чертежах понимал?

— Не такие штуковины строили и без бумажек. Ты вот расскажи, какой он из себя твой подденик, сколько на высоту,

сколько в ширину, а насчет нашей работы не сумлевайся, сделаем.

— В шахтах-то бывал? Копера видел?

— Бывал, а где же у тебя тут шахта?

— Да не в шахте дело, принцип тот же.

— Насчет принципа не знаю, не видал и врать не стану.

— Чудак ты человек! Копер-то видел? Деревянная башня, кверху суживается, на верху колесо.

— Знаю.

— Ну, так и тут то же самое, только меньше, уже, и не лифт в нем ходит, а ковш от экскаватора. И на высоте, там, где колесо, отходит вбок эстакада.

— А выстукада тоже деревянная?

— Эстакада—это как мостик узкий, чтобы по нем ковш вбок мог отъехать. Башня сама стоит внизу, в котловане, высотой метров двадцать пять, колесо наверху вертится, вытаскивает наверх ковш, как из колодца. Потом надо этот ковш отвести вбок. Для этого строится на этой высоте мостик от башни до самого края котлована так, чтобы ковш, проехав на колесиках по этому мостику, высыпал камень за край котлована на кавальере.

— На кавалерии? Это значит лошадьми его вывозить будете?

— Да не в кавалерии, а на кавальере, на насыпи значит.

— А, так ты и говори. Нас по-американски не учили,— Климентий покосился на американца.

— Ну как, понимаешь?

— Что ж тут понимать, дело простое. Ты вот мне место покажи, где этот копер стоять должен, а я тебе скажу, сколько дерева на него нужно и какого.

— Что ж давай, попробуем. Мы едем сейчас на участок, садись с нами, посмотришь.

Они уселись в машину четверо.

На котловане работали теперь в три смены. Днем и ночью громыхали тачки, днем и ночью взлетали на воздух один за другим два грохочущих ковша, опрокидываясь на лету, высыпали в реку новые порции камня, и камень, как сахар, растворялся в кофейной гуще реки. Ночью над котлованом, как прирученная луна, всходил белый электрический шар, видимый издали на десятки километров, и внизу по узкому карнизу дорожки бежали вереницей тачечники с напудренными светом лицами, опрокидывали тачку, бежали назад, туда и обратно, как беспокойная вереница лунатиков по обрывающемуся карнизу одинокого дома.

Когда машина подъехала к городку, была уже полночь. Мрак был здесь исколот булавками света. Над котлованом висел белый раскаленный шар, но котлован безмолвствовал, безмолвные стояли экскаваторы с неподвижной, патетически нацеленной в небо стрелой.

Кларк обеспокоился.

— Почему стоят оба экскаватора? Нехватило горючего?

Добродушный прораб, худощавый Андрей Савельевич, тоже встревоженно приподнялся на сидении.

— Нет, горючее только вчера подвезли. Не пойму, что это такое. Не могли же застопориться сразу два экскаватора.

Машина остановилась. Они вчетвером стали карабкаться на кавальер. На краю котлована стояла группка людей. Кларк разглядел Кирша и секретаря парткома Синицына. Дело становилось серьезным.

— Что случилось?

Синциын посмотрел на часы.

— Дальверзинцы не вышли на работу. Вся третья смена потребовала прибавки пятидесяти копеек с кубометра. Знают, что некем их заменить, а работу надо закончить в срок, вот и попались на удочку рвачам.

Полозова перевела Кларку. Кларк растерянно смотрел в опустевший котлован.

— У нас нет другого выхода, как согласиться на их требование,—обратился он, наконец, к Киршу.—Каждый рабочий пользуется затруднениями предпринимателя, чтобы урвать лишний цент. Против этого ничего не поделаешь. Каждая смена простоя обойдется гораздо дороже, чем эти пятьдесят копеек.

— Дело не в пятидесяти копейках, дорогой мистер Кларк,— нахмурился Кирш.—Нельзя поощрять рвачества. Сегодня дадим пятьдесят, завтра потребуют рубль. Мы—не капиталистические предприниматели, у которых каждую прибавку надо вырывать из глотки забастовкой. У нас рабочий обеспечен во всех отношениях, за исключением разве жилищ, но этого на деньги не купишь. Ставки здесь больше, чем во всем Союзе. И потом у нас далеко не всякий рабочий пользуется затруднениями, чтобы вырвать у своего рабочего государства деньги, которых не заработал. Вы еще мало видели наших рабочих. Только слабый деревенский элемент поддается на кулацкую агитацию.

— Все это очень хорошо, но у нас нет другого выхода. Перейти опять на две смены?

— А вот выход сейчас постараемся найти,—Кирш оглянулся на Синицына.

— Товарищ Полозова,—позвал Синицын.—Я только что послал Нусреддинова оповестить ребят и срочно организовать комсомольскую бригаду. Берите машину и поезжайте в местечко. Мобилизуйте всех комсомольцев, которых застанете на квартире.

— Есть, товарищ Синицын,— она быстро сбежала по кавальеру.

С неба медленно отклеивалась сизая пленка туч, и небо всплывало из-под нее четкое, как сводная картинка, со своим серебреным кружком луны, со сплошной путаницей мерцающих фонариков, со своим городком, отпечатавшимся сплошным пятном синего мрака, исколотого булавками света.

Нехватало на нем только людей, скользящих, как канатобежцы, по гребню кавальера, и американских экскаваторов, застывших с костлявой рукой, поднятой как для фашистского приветствия.

— Экскаваторы в исправности?—спрашивал у кого-то Кирш, направляясь к ближайшему.

Кларк молча следовал за ним.

— Будьте готовы, товарищи. Сейчас возобновим работу.

Экскаваторщик кивнул головой. Он ежился в своей теплой кожаной куртке.

— Что с вами? Вы нездоровы?

— Малярия треплет. Это ничего...

— Чего же вы не остались дома? Можно было бы договориться с драгером первой смены, чтобы вас заменил.

— Нельзя. Заболел. Воспаление легких, кажется. Драгер второй смены проработал за него две смены подряд.

— Везет, так везет. Ну, а вы-то выдержите? Завтра найдем вам заместителя.

— Выдержу. Не впервой.—Он поднял воротник кожанки и залез в кабинку.

— Андрей Савельич, а Андрей Савельич,—дергал прораба за рубаху Климентий.—Где же копер-то стоять будет? Там внизу нешто?

— Да отстань ты от меня со своим копром. Видишь—тут не до этого.

— А вы мне только покажите, где это будет, я сам все посмотрю и вымеряю.

— Вон там внизу. Только надо еще выбрать в этом месте три метра скалы, тогда и можно ставить. А раз некому выбирать, значит и постройку подъемника отложить придется.

Климентий вытащил из кармана складной метр и стал спускаться в котлован.

Через некоторое время Кларк, растерянно бродивший по кавальеру, расслышал вдали шум мотора и всплески хоровой песни. Песня напоминала ту, которую в Москве пел проходивший по улице отряд красноармейцев. Несколько минут спустя внизу у насыпи остановилась легковая мащина. Из машины высыпал десяток парней, почти мальчиков, и одна девушка,—Кларк узнал Полозову. Парни с пением карабкались на кавальер, словно хотели взять его приступом. Кларку показалось на минуту, что он присутствует на каких-то ночных маневрах. Вскарабкавшись наверх, комсомольцы по-военному выстроились перед Синицыным.

— А где же Нусреддинов?

— Идет. Мы его обогнали на дороге.

Нусреддинов с комсомольцами подымались по другой стороне. Они выстроились двойками. В отсвете электрического шара их смуглые лица казались посеребренными. Зазвенела песня, и комсомольцы гуськом стали спускаться по уступам отвесной тропинки на дно котлована.

— Нусреддинов!—позвал Синицын.

— Слушаю, товарищ Синицын!

— Плохой из тебя организатор. Не дело брать тачку и работать самому, это каждый может. Секретарь комсомольского комитета должен уметь организовать. Что же ты больше двадцати пяти человек собрать не смог?

— Ночь, товарищ Синицын, в полчаса всех не разыщешь. Завтра организую как следует, а сегодня—не сумел собрать больше, придется самому поработать.

Он улыбнулся, по темному лицу скользнул поперечный блик. Нусреддинов, не дожидаясь ответа, сбежал в котлован.

— Товарищ Кларк!

На выступе тропинки, спускавшейся в котлован, стояла Полозова.

— Поезжайте домой. Я тут останусь с ребятами поработать. Приезжайте к утренней смене, буду вас ждать здесь.

Внизу уже звенели первые тачки и первые удары кирки.

— Андрей Савельич, а Андрей Савельич,—дергал запарившегося прораба за рукав Климентий.—Я вымерял. Построить можно. Завтра лес приготовить надо. Я сам выберу. Лес привезли подходящий. Послезавтра начнем. Только вот скалу, говорите, выбирать надо. Это они, что ли, выбирать-то будут?—он указал на комсомольцев.

— Они, а кто же?

— Нешто у них сила есть? Не выберут!

— Сколько смогут, столько и выберут.

— Долго выбирать будут. На такую работу мужиков здоровых надо, а такие дитяты и в месяц не выберут. А без этого никак нельзя строить?

— Сказал тебе—нельзя. Не нравится—иди и выбирай сам. Критику наводить каждый умеет, а когда надо помочь—выходит, кишка тонка.

Прораб пошел к экскаватору.

Ковши полетели вниз и опять взвились вверх. Внизу под тяжестью тачек жалобно скрипели доски, и люди, спотыкаясь и скользя, толкали их с натугой вперед. Они держали ручки тачек, как крестьянин держит омач, напирая на него всем телом, и тачка спотыкалась и застревала, как омач в каменистой почве.

«Нет у тебя сноровки,—подумал Кларк—все равно тех двух бригад не заменят».

Он все еще продолжал стоять на гребне кавальера, нерешительно поглядывая вниз. Полозова с парнем в зеленой тюбетейке грузили вываленный из тачек камень в ковш экскаватора. Кларк медлил. По существу делать ему было нечего, но уходить почему-то было неловко. Он мялся на месте, делая вид, что присматривает за работой и отдавая себе одновременно отчет в нелепости своей роли праздного наблюдателя. Он поднял глаза, разыскивая прораба, словно надеясь найти указания для себя в том, что делает сейчас прораб. По другую сторону кавальера стоял бородатый мужик в картузе, плотник, посматривая вниз. Он топтался на месте так же нерешительно, как Кларк, словно тоже не знал, что ему с собой делать. Кларку эта аналогия показалась обидной. Он повернулся уже, чтобы сойти к автомобилю, как вдруг увидел, что бородатый спускается по тропинке в котлован. Кларк остановился из любопытства. Бородатый достиг дна и, протиснувшись между работавшими, поднял с земли свободную кирку. Минуту он постоял в нерешительности, потом повернулся и, подойдя к самому худенькому, невысокому комсомольцу, рассыпавшему на полдороге свою тачку, мягко отстранил его рукой, сунул ему кирку, как ребенку, чтобы не обиделся, дают в руки игрушку, и, навалив тачку, плавно покатил ее к ковшу. Внизу одобрительно зашумели.

Кларк стоял. Положение его становилось все более неловким. Ему казалось, что если он повернется сейчас и пойдет к автомобилю, все оглянутся в его сторону.

Тогда случилось совершенно неожиданное. Ковш одного из экскаваторов, нагруженный доверху, не взлетел. Снизу закричали, дернули цепь. Ковш не двинулся.

Кларк быстро пошел к остановившемуся экскаватору и натолкнулся на прораба вытаскивавшего из кабинки неподвижного драгера. Кларк помог уложить драгера на камни.

— Что случилось?—прокричал он по-английски в ухо прораба, и прораб, не понимая английского, понял и ответил:

— Малярия.

Кларк тоже понял. Они уложили упавшего в обморок драгера, и прораб побежал за водой. Кларк расстегнул драгеру куртку. Из-под кожанки дунуло жаром. Он положил больному руку на лоб. Лоб горел, у человека было не менее сорока градусов температуры. Прибежал прораб с водой и стал приводить в чувство драгера. Драгер открыл глаза. Глаза его горели, и в глазах беспокойной каплей ртути прыгал зрачок.

Кларк поднял драгера за плечи и жестом приказал прорабу подхватить больного за ноги. Они снесли его по насыпи вниз в ожидавшую машину. Кларк рукой показал шоферу по направлению к городку, и сам стал обратно карабкаться на кавальер. Прораб в молчании следовал за ним. Они остановились у затихшего экскаватора. Прораб махнул рукой. В переводе на слова это означало—«капут».

Кларк взглянул вниз, где у неподвижного ковша столпилась кучка людей, потом с сожалением посмотрел на свои снежно-белые брюки, повернулся и быстро поднялся в кабинку. Прораб разинул рот.

Ковш вздрогнул и взлетел вверх. Внизу радостно зашумели. За перемычкой разгневанно хлюпнула вода. В кабинке густо пахло маслом. Кларк уселся поудобнее и, засучив внезапно побуревшие рукава, стал размеренно, как циркулем, отмерять дреглейном расстояние от котлована до реки, сначала медленно, потом быстрее и быстрее.

Внизу грузно громыхали тачки, поскрипывая несмазанным колесом, и кирка раскалывала камень, и от соприкосновения их, как от столкновения слов: кирка и камень, выскакивал односложный звук, похожий на звук «ка» с ударением на «к», как его выговаривают грузины. Скрип несмазанного колеса, удар киркой: кир-ка, кир-ка, кир-ка...

Так пела работа. Кларк не слышал этой песни. Слышал ее один прораб Андрей Савельевич. Он все еще стоял в недоумении у экскаватора. Он был старый добросовестный работник, видевший на своем веку немало строительств, руководивший не одной работой еще в старое время. У Андрея Савельича было свое, выращенное годами отношение к работе, своя азбука работы, заученная еще в то время, когда он бегал с тачкой и служил подносчиком, простая, как десять запо-

ведей: «работа есть работа», «хозяину важно, чтобы работали побольше, рабочему—чтобы поменьше», «работать надо, чтобы есть», «кто может есть, не работая, тот не дурак работать». Руководя работами, он защищал интересы хозяина, смотрел и требовал, чтобы работали побольше, и потому ценился, как хороший работник. Когда на строительствах появились новые слова: энтузиазм, ударничество, соревнование,—он встретил их скептическим прищуриванием глаз, как большевистские штучки, но не выражал своего неодобрения и потому считался хорошим советским работником. По существу же он привык, что у хозяев бывают свои причуды, свои «коньки», и что причуды эти надо уважать и не показывать вида, что над ними подтруниваешь—ни один хозяин этого не потерпит. Иностранных специалистов, приезжавших на строительства, Андрей Савельич уважал за то, что те работу понимали, как работу без штучек—и над штучками иронически щурили глаза. Они могли себе позволить делать это открыто, но и соблюдали в этом общепринятые правила вежливости. Американский инженер влез ночью на экскаватор, чтобы работать всю смену простым драгером — такое Андрей Савельевич видел впервые. Рассуждая нормально, это была тоже «штучка», но она не исчерпывалась простой иронической улыбкой. Она нарушала всю азбуку. И Андрею Савельевичу было не по себе. Он чувствовал то, что, вероятно, должен чувствовать верующий, трудолюбиво и набожно проживший жизнь, которому вдруг, в последнюю минуту, после соборования поп сказал по секрету, что никакого бога нет.

«Ишь шпарит»,—подумал Андрей Савельевич, посматривая на взлетавший и падавший ковш, который комсомольцы с трудом успевали нагружать доверху.

Теперь он в свою очередь чувствовал себя неловко, один на гряде кавальера и, оглядываясь кругом, раздумывал, что ему полагается делать в такой необычайной ситуации. Стоять тут бесцельно наверху, когда работало даже заграничное начальство,—было явно нехорошо.

— Кир-ка, кир-ка, кир-ка,—скрипело и звенело внизу.

Андрея Савельевича, как и Кларка, выручил случай. Снизу донесся крик, и один из комсомольцев упал, потом привстал и прислонился к стене.

Тогда Андрей Савельевич спустился тихонько вниз, будто шел констатировать происшествие. Очутившись внизу, среди запаренных, блестящих потом людей, в общей суматохе он незаметно поднял кирку и, нахлобучив на глаза тюбетейку, стыдливо принялся колоть камень.

СЪЕЗД

Собирался дождь.
Томительны и строги
сходились горы.
Вечерела мгла.
Районный съезд
сидел,
поджавши ноги,
напротив кособокого стола.
Осколки чалм, бород, бровей, халатов,
Сгустившись,
начинали потухать.
И далеко несла
ветров прохлада
высокий,
страстный голос
пастуха.
Он говорил.
Примчавщиеся кони
храпели как кузнечные меха.
Он говорил,
как говорят законы,
написанные
слогом пастуха.
Так говорила
нищета столетий,
мотыга,
деревянная соха;
так говорили
кулаки и плети,
упавшие
на плечи
пастуха.
От слов его
текло сухое жженье.
Гортанный клекот
не смолкал вдали.

Он говорил,
как вождь перед сраженьем,
указывая
на куски долин.
Но выше власти,
племени и рода
глядела в ночь
большая голова.
Он говорил,
как говорят народы,
впервые
получившие слова.
Могучей силой
и теплом
дышали груди.
Заря кидала
медные ножи.
Он говорил,
как говорили люди,
впервые
начинающие жизнь.
Плакат,
раздутый
вихревым порывом,
летел над ним
немеркнущим крылом.
По перевалам, скалам и обрывам
на древках молний
развернулся гром.
Съезд грохотал.
И буря,
сея россыпь
свистящих капель,
выла напролом.
Тревожная колючка папиросы
повисла
над невидимым столом.
Мне было холодно.
Усталость била в темя.
Мерцал ночлег,
сухой кошмой маня.
И девочка,
возникшая из теми,

ступая кошкой,
увела меня.
Но в темноте,
где молния играла,
выхватывая
вставшую толпу,—
лежал напев
«Интернационала»,
гроза над миром,
бесконечный путь.

В. СТАВСКИЙ

ПЕТРУСЬ ХИЖНИЙ

Отрывок из III книги «Станица»

Петрусь и Микола, наскоро поглотав чаю, уходят из хаты.

— Смотрите, хлопцы, добре робите тамочки,—напутствует их разволнованная воспоминаниями Гринчиха.

— Так вот всегда!—говорит за калиткой Микола, сильнее обычного раскачиваясь и косолапя. В голосе его слышны и нежность, и сожаление, и гнев.—Больше спрашивать никогда об этом не буду. Хватит с нее невзгоды. Эх, я хотел бы сквитать тем гадам! Уж сердце печет!

Петрусь, часто вздыхая от тяжелого стеснения в груди, хочет сказать ему что-либо хорошее, такое, что кипит сейчас в его груди, но вот—не выходит, и он молча сопит.

Над станицей разгуливается ясный свежий день. На синем небе плывут неспешно белые облачка. Из почерневших дымарей хат валит горьковатый дым, медленно отстаивается в голых садах.

Гулко бьет большой колокол, за ним—сразу все колокола.

— Мабудь, «достойно»?—спрашивает Петрусь.

— А мне все равно,—сердито бросает Микола.

— И мени!—виновато торопится Петро.

Около большого каменного здания школы толпится кучка ребят с красными галстуками поверх одежды.

— Пионеры!—говорит Микола, и Петрусь удивляется тому, как повеселело лицо товарища.

Микола прибавляет шагу, немного не дойдя до смотрящих на него ребят, приподнято кричит:

— Будь готов!

— Всегда готов!—дружно гаркают ребята, вздернув перед лицом руки.

— Чего вы собрались?

— Ленинская грамота,—чеканит вожатый-комсомолец.

— Хорошо, занимайтесь лучше!—Микола старательно козыряет на ходу.

— Нашего участка!—хвастается он, обернувшись к Петру. Тот не слушает, охваченный вихрем новых дум.

— Да ты что—не слышишь, что ли?

Микола толкает Петра плечом. Тот вскидывает карие, совсем мягкие и теплые сейчас глаза.

— Ну? Что ты? Хорошо ребятам. И родичи, и отряд у них!

— Мы все новую жизнь строим,—важно отвечает Микола:— вот и ты с нами теперь строишь!

Петрусь вспыхивает. На хрященосом лице Миколы сквозит— прорывается лукавая улыбка. «Я тебя заставлю доклад сделать насчет батраков»,—думает он, и увидев за углом на парадном крыльце чисто одетых двух мальчиков, с досадой говорит:

— Это Шульги дети! Ни в отряд, никуда их не пустят. Интеллигенция!

Впереди, на углу площади—уже опустевший базар. На мощеном кирпичном тротуаре стоят казаки.

— Смотри—Рашпиль!—резко шепчет Микола. Из кучки на них смотрит рослый, рыжий, со строгой выправкой казак в золотистой бухарской кубанке.

— Тот, що выставился?—переспрашивает Петрусь.

— Он в гарнизоне белом служил!—задыхаясь, продолжает Микола.—С кинжалом на брата Ваню кидался. Он в нашу хату стрелял.

Тонкие губы Миколы сдергиваются в суровую нитку. Рашпиль, часто заморгав и стемнев лицом, отворачивается. В голове Петра нестерпимо ярко встает холодная хата, огромные медно-зеленого цвета тыквы под кроватью, куда он забрался в страхе. Гудят злобные голоса, заглушая трепетный голос матери. Вдруг под кровать заглядывает красная рожа; вытаращив такие же, как сейчас у Рашпиля, оловянные глаза, казак начинает пырять Петра жесткими ножнами.

— Не трожь ребенка! Не дам!—вопит мать, бросаясь к кровати.

«Мабуть це и був Рашпиль»—похолодев, думает Петрусь; жмется за Миколу и опять, как во дворе Шкарубы, ловит на себе колючий взгляд стансоветского служащего Шульги.

Тот, будто и не стоял в кучке казаков, уходит за угол, вобрав в плечи злую голову. Петро глядит то на Рашпиля, то на уходящего Шульгу. Он не может не связать то общее, что видит у Шульги и этого рыжего, и не умеет высказать охватившего его беспокойства и боязни. Он только сдержанно шепчет на ходу Миколе:

— Дивись, як волки выщерились!

— Волки и есть!—угрюмо отзывается Микола. Сворачивают по Красной улице в сторону артели «Коллективист».

Казаки провожают их внимательными, ненавидящими взорами.

— Ось, живуща порода на нашу голову,—вполголоса говорит Григорий Плакса. Его маленькое, узкое, словно у крысы, личико внезапно сверкает острыми зубами.

Рашпиль гулко крякает.

Отойдя на полквартала, Микола говорит:

— Перед чисткой, ну, когда Шкаденкину банду забрали, вот так же кучковались. Богато их и осталось, проклятых, в станице. Скоро ли выведем?

— А я Шульгу утром у Шкарубы видал,—вдруг вспоминает Петрусь.

— Что же ты молчишь, баранья башка?—сердито вскидывается Микола.—Чего бы он там делал?—думает он вслух.—Рано утром видал?

— Как из артели зашел к Маруське.

— Ну, ладно, молчи!—решительно обрывает Микола.—Зараз в артели побалакаем, щоб тебя в школу пускали,—говорит он мовою—мягкой кубанской мовой.

Во дворе артели «Коллективист»—этот двор был Алексея Моренца—на бревнах около клуни сидят колхозники.

Сергей Кринский, лихо надвинув на брови сивую, облезлую кубанку с красным вершком, сидит вобнимку с грузным, толстомордым Петром Косулей.

Рядом развалился огромный, кряжистый дед Иван Савельич Матвиенко из артели имени Крупской. Он знаменит на всю станицу своей силой, пьянством и неутомимым охальством. То, что он единственный мужчина на всю артель у вдов—красных партизанок—неисчерпаемый повод для насмешек. От Савельича попахивает водкой, выпитой для праздника с раннего утра. Покрасневшие глаза Савельича пристально следят за сидящим на бревнышке мальчиком—сыном Косули. Тот вертит в руках длинную конфетку в розовой обертке, видимо, не решаясь ее почать. Алексей Моренец, сидя на низенькой скамейке и низко опустив руки меж острых расставленных колен, озабоченно стружит подкинжальным ножом палочку.

Все они внимательно слушают стоящего перед бревнами старика Ильенку Михаила Осипыча, председателя артели имени Ленина.

Тот с досадой разводит сухими жилистыми руками, покрытыми бурой старческой осыпью веснушек, заросшими рыжими густыми волосами.

— Чорт его знает, что мне и делать с народом!—высоким и несильным тенорком ворчит он, насупив густые выцветшие

брови.—Выходит, земля советская, государственная, а ее не взять, едри твою корень!

— Это все равно, как наши иногородние в Кубанскую раду ходили,—перебивает Ильенку Савельич.

— Чего?—Ильенко настороженно повернул крепкое, темное лицо с крючковатым носом и спадающей неровными клочьями рыжеседой бородой.

— Приходим мы до Рябовола насчет земли, а вин каже: «Записывайтесь в казаки, тогда у вас и будет земля!»—с коротким смехом говорит Матвиенко.

— Дальше!—настаивает Михаил Осипыч.

Колхозники насмешливо переглядываются: Матвиенко опять бахнул по пьяному делу ни к селу, ни к городу.

— Чего дальше?—обидчиво спрашивает Матвиенко.

— Обратно ты, Савельич, сказал, как в лужу дунул!—презрительно говорит Михаил Осипыч.

Кринский и Косуля коротко хахакают. Смеются и подошедшие Микола и Петрусь. Моренец стружит и стружит, только на впалых щеках его сильнее горит злая изморозь туберкулезного румянца. Савельич, нахмурившись, протягивает негнущуюся жесткую лапу, берет конфету у мальчика и медленно, деловито развертывает ее. Мальчик нетерпеливо облизывается.

— Я говорю—надо нашему правительству разобраться с землей. Негладко выходит, едри твою корень!—вновь поясняет Михаил Осипыч.—Вот у нас землеустройство прошло, а люди в колхоз просятся, землю где взять? По клочкам шататься, по всей степи? Это сколько клювов набежит?

— Много, дедушка Ильенко!—живо отзывается Микола Гринченко.

Все с любопытством поворачивают к нему головы. Дед Савельич торопливо вылупляет конфетку и, бросив в раскрытый рот, размалывает зубами. Мальчик ошалело глядит в его дремучую бороду.

— Мы вот, с комсомолом, думаем батраков собрать и—в колхозы!—звонко выпаливает раскрасневшийся Микола.—У нас на собрании сегодня Хижний доклад делает.

Микола пронзительно-хитро взглядывает на Петра. Пальцы того, теребившие бровь, словно окаменели.

— Да то бровь, а не усы, Петро! Подожди—усы вырастут,—дружелюбно говорит Михаил Осипыч.

Громче всех смеется, будто ржет, старый Матвиенко. Багровый, как бурак, Петрусь не знает, куда деваться, и про себя материт Миколу.

Пришедши в себя, мальчик с ревом бросается к отцу. Тот,

цыкнув, шлепает его по затылку, и мальчик—оскорбленный и униженный—со всех ног бежит через двор домой к матери...

— Говори, что надумали!—строго обращается к Миколе Ильенко.

— Кулаки повыгоняли на покров десятка два батраков для страху, —жарко объясняет Микола,—а мы думаем всех остальных увести и, как тех, по артелям рассовать.

— Дело!—шумно отзывается дед Матвиенко.

Кринский и Моренец озабоченно смотрят на Миколу, на Петра, на дедов. Косуля недовольно сопит.

— Постой со своим делом, Савельич!—Ильенко задумчиво берется за бороду. — Мы на эту линию выходим, едри его корень!—говорит он твердо своим тенорком.—Наше дело! Ну, а как с землей, с худобой, с инвентарем?

— Как?—Микола, замявшись, оглядывается на Петра, на растерянное лицо его, и говорит:

— Не знаю как. Надо подумать.

— Думать надо!—серьезно подтверждает дед.—И наверху думать надо фу—фу!—отдувается он в бороду,—сколько навалилось, все думать надо! За всю жизнь столько дум не было.

— К нам в артель хотят дворов двадцать,—сухо кашляя, говорит Моренец.—После чистки прямо в очередь идут.

— Я вот что скажу,—лениво приподнимаясь, гудит Савельич: — Надо всю станицу разом в колхоз обратить. Вот тебе и землю нечего резать! И худобы, и всего сразу на всех хватит!

Моренец, бросив стружить, вскидывает голову. Косуля, и Кринский, и Микола дружно, хором:

— О-о.

— Ну!

— Ах!

Петрусь с замираньем сердца ждет ответа.

— Со всеми всех в колхоз?—тихо спрашивает Ильенко.

— Ага!

— С кулаками, с атаманами?

— Нас же будет сила!

Ильенко становится к деду в полоборота, гневно сверкая круглыми глазами.—Отойдем, Савельич!

— Куда!—отмахивается дед.

— У меня свой Савельич!—вздыхает Ильенко и похлопывает себя пониже пояса.

От грохнувшего смеха куры с сарая с кудахтаньем и треском летят в разные стороны. Оголтело вопит задористый огненно-красный петух.

— И петух на тебя материт,—смеясь, говорит Ильенко.

Снова грохает смех.

— Старая сволочь! Кугут проклятый! Щоб тебе повылазило!—ругается Матвиенко, отплевываясь, трусцой удирая со двора.

Микола, вдруг обидевшийся за Савельича, колхозника из одной с ним артели, тоже шагает.

Ильенко повелительно кричит:

— Подожди-ка ты!

Спокойно уже продолжает остановившемуся Миколе:

— Насчет батраков вы у себя потолкуйте. Что они сами скажут.

Голос старика внезапно крепнет:

— Партия услышит. Она свое слово скажет, наша партия.

От этого голоса старика, от насупившихся бровей его Петрусю вдруг становится очень хорошо, всем существом своим он соглашается со словами деда.

Тот шагает к Миколе и говорит:

— Вы бы там, в комсомоле, подумали, как у нас сев идет? Какими семенами сеют станичники?

В глазах Миколы сверкают и пытливое напряжение, и понимание, и веселые искорки.

— Добре, дедушка!—бойко отзывается он, кричит Петру:— А ну, идем!

Шагает в конюшню, косолапя и раскачиваясь.

— Я при нем говорить дальше не хотел. А знаешь, что придумал?—таинственно говорит Микола в конюшне и поджимает тонкие губы.

— Что?

— Что должна делать кавалерия на войне?

— Воевать.

— Дурень! Конечно не блины печь,—смеется Микола.—Слушай сюда! У нас в комсомоле есть легкая кавалерия. Понятно? Ну, вот мы ее посылаем в полевую разведку—посмотреть, кто как сеет. Понятно?

Петрусь с восторгом хлопает себя по бедрам.

— Коли бы мени в цию разведку попасть!

— Хочешь? — спрашивает Микола, и вновь по лицу его сквозит, прорываясь, улыбка.

— Хочу!—Петрусь сияет всей облезлой рожицей.

— Тогда сегодня будешь доклад делать об этом.

Лицо Петра вытягивается, глаза туманит обида.

— Чево смеешься?—глухо роняет он.

— Не смеюсь! Вот выйдешь и скажешь: «Товарищи, советская власть борется за повышение урожайности. Мы, комсомольцы,—верные помощники партии». Мы же тебя учили всему этому!—убеждает Микола дружески.

— Та я ж николи не балакав,—растерянно и боязливо шепчет Петро, взмахивает руками.—Та коли я не скажу!

— А ще вояка! В разведку просится!—с презрением тянет Микола и вновь, усмехнувшись, нападает:

— Ось, я скажу Маруське, як ты злякався![1]

— Та ни!—обиженно и самолюбиво вздрагивает Петро.

— Ще як отрежешь!—смеется Микола—я ж тебе казав,—наперво—про задачи партии, дальше—що комсомольцы за те ж борются, потом про полевую разведку.

И обрубая этот разговор, начинает другое:

— Я зараз пойду в ячейку про батраков скажу. Вот умный Ильенко—партия свое скажет.

Микола идет вдоль конюшни, придирчиво-хозяйственно оглядывая, в полном ли порядке на колышках хомуты, уздечки. От сбруи пахнет душно и приятно дегтем, колышки свеже натесанные. Конюшня только что отстроена самими колхозниками. Кони, оглядываясь на ребят, дробно перебирают ногами по досчатому настилу.

«Успели уж»,—завидует Микола, вспоминая, что в его артели имени Крупской и лошадей-то всего две пары, и те не устроены.—Тут у них все Кринский. Вот жук! Нам бы его вместо этого Савельича! Видно, придется самим налегать!»

«Что я там скажу? Ничего не скажу!—с трепетом раздумывает Петрусь,—задал мне мороки».

Но тут же представляет себя перед столом президиума, резко подрубающего правой рукой, как те докладчики из города, и все ему хлопают, и Маруська глаз не сводит...

По-новому, радостно и гордо нахмурившись, он говорит Миколе:

— Так я буду казать про партию и урожай наперво. Добре?

— Добре!

Микола уходит. На улице вправо, за базарной площадью, дробно трещат барабаны, маршируют пионеры.

— Т-тю!—в изумлении вскрикивает Микола, увидев в хвосте колонны раскрасневшихся сынишек Евгения Шульги.—Вот они батьке нос утрут!

Петрусь с усердием чистит конюшню, потом подметает ее. Коротко и низко ржет любимец его—буланый конек.

[1] Зякався— испугался.

— Н-н-у!—любовно рычит Петро. От переполнившего грудь счастья и радости запевает:

...Забралися вси бурлаки,..

Вначале он поет вполголоса, потом все громче, под отдаленный заливистый звон колоколов (в церкви кончилась служба).

Колхозники на бревнах прислушиваются и улыбаются.

— Разошелся как!—поощрительно роняет в бороду Михаил Осипыч Ильенко.

— Он у нас за старшего,—дружелюбно отзывается Сергей Кринский.

— Кому куда сходить!—язвит старик.

— На нем все кони. Управляется—смотреть не надо!—с весом встревает Моренец, опять обстругивающий палочку.

— У него лоб, как репа! Подожди-ка, он того, Гринченко, по всем статьям обгонит! Глаза тоже ясные!—убежденно пророчит Ильенко.— Кабы мне молодые годы вернуть,—с внезапной тихой грустью говорит он.

— А сколько тебе лет-то?—любопытствует неповоротливый, жирный Косуля.

— Шестьдесят третий.

— Ну? Что ты!—хором изумляются колхозники.

— Это меня белые сволочи повредили, когда казнили около церкви,—Ильенко горделиво поворачивается кругом, расправляет широкие плечи; сквозь порыжелый старый чекмень выпирают, могуче ходят сухие лопатки.—И то я хоть куда! Я в турецкую войну горнистом был! Кэрс, Ардаган слыхали? Я всего повидал!

— А чего молодость хочешь воротить?—навязливо пристает Косуля.—Смерти, мабуть, страшно?

Кринский сердито толкает его в бок.

Моренец с любопытством оглядывает Петра,—думая, что его как будто подменили за эти недолгие дни.

Он вобнимку ведет в хату Петра, заставляет с мылом тщательно вымыть руки. Раскрасневшаяся хозяйка накрывает стол.

— Как же вы будете разведку вести?

— Партия борется за урожай, а комсомольцы ей помощники,—горячо отвечает Петро словами Миколы.

— Знаю. Как разведку-то поведете?—усмехнулся Моренец.

Петрусь широко и недоуменно раскрывает глаза. Как же вести эту разведку? Микола ничего не сказал...

— Охо-хо!—глухо хохочет Моренец и хватается за грудь, заходясь отрывистым, лающим кашлем.

Встревоженная жена его проворно подает кружку воды.

Моренец мелко отхлебывает, сильно и тяжело сопя. Кашель стихает. Моренец, потирая грудь, садится за стол. Принюхивается к запаху горячих щей.

— Садись, жена,—командует Моренец, и сам берется за ложку.

— Шкаруба сей год чем сеял?—расспрашивает Моренец.

— Украинкой.

— Переточил?

Петрусь останавливается с полной ложкой у рта, хочет вскрикнуть, но только прыскает полным ртом и багрово краснеет в досаде на себя.

— Прожуй!

— Дядька Алеша,—торопится Петрусь, проголотив пищу,— Шкаруба ни переточил, ни протравил зерна.

— Понял, что надо разведать,—хмуро говорит Моренец.— Надо по всему юрту проехать, посмотреть. Лошадей в стансовете взяли бы!

— Ага!—согласно откликается Петрусь. Думает с уверенностью: «Вот я про это и скажу там»...

Словно подслушав его мысли, Алексей советует:

— Так там и говори,—надо-де провести разведку в степи, послать на лошадях братву, пусть семена посмотрят. Что не так,—надо гнать со степи.

— Ну-у—недоверчиво и протестующе фыркает жена.

— А что смотреть, бис бы их забрал! Партия добром говорит. Нам надо в два раза больше, чем родило!—горячится Алексей, на щеках рдеет тревожный огонь.

«И он про партию,—с уважением взглянув на Алексея, думает Петро,—вот далась партия!».

После обеда он степенно жмет руку Алексею и жене, каждому говорит:

— Спасибо вам за хлеб, за соль!

— Иди, иди!—грубо-ласково обрывает его Моренец.

Петрусь забегает в конюшню. Спеша, но старательно и аккуратно, задает корму и поит лошадей.

— Що ж з нами буде, кинь?—доверяется он со своими заботами и страхами буланому. Тот косит зраком, жует, пришлепывает мягкими губами.

— Э-эх—вздыхает Петро.

Наконец, оглядевшись, он пускается со двора. На улице дует свежий ветер, метет шорохтящие сухие листья. Нежаркое солнце идет под уклон.

Петро быстро проходит переулком на площадь близ окраинной Восточной школы.

Наискосок по тропе площадь пересекает толпа праздничноразодетых ребят. У одного гармошка на ремне через плечо.

Петрусь замечает в толпе Ваську Шкарубу. Сразу соображает, что гулянка—это мальчишник, проводы Васьки, который на днях женится. И вспыхивает от радости: босой и полуголый, когда батраковал у Васькиного отца,—сейчас он во всем целом. И чоботы подбиты!

Он смело шагает навстречу шумной кучке, чувствуя на себе взгляды парней, насмешливые и злые. Храбрость покидает его, и он сходит с тропы в сторону, на кочки.

— Эй, чучело!—кричит Васька,—на який огород выряднлся?

— Га-га-га!—ржут парни.

— Деж твой портхвель?

— Колхозник, сучий нос!

— Шкура!

Словно камни бьют в побледневшее лицо Петруся ругательства.

В один короткий миг встают перед ним дни—колхозники с их заботами, делами, колхозники, обращающиеся с ним, как с ровней, одевшие и обувшие его. Не думая, больше чувствуя, что все они — и Моренец, и Кринский, и Косуля, и оба бранчливых деда—вместе с ним и за него,—Петрусь кричит с неизмеримой яростью и ненавистью:

— Пидождить, кугуты прокляты! Буде вам дило!

— Ит-тюу!

— Куси, куси его!

— Босота чертова!

— Вот я ему жидкие ноги повыдерну!—шибче всех кричит Васька.

Петрусь, не оборачиваясь на брань, бросается по тропе. Над площадью взвизгивает гармошка. Здоровенные глотки ревут:

Отрубите мине нос,—
Не хочу итти в колхоз!

Шкрябая сапожищами и спотыкаясь, Петро мчится в избу-читальню—бывшую церковную сторожку, где помещается ячейка комсомола. Обрушивается на Миколу Гринченко, разговаривавшего с ребятами.

— Сказывся,—кричит Микола.

— Щось скажу!—выпаливает Петро, никак не отдышится.

— Що? Що таке!—сбегаются ребята.

— Та пидождить, хлопцы!—поднимает руку подошедший секретарь ячейки, тонкий и длинный Ягло.

— Зараз я ишов, а встричь кулацки сыны, та спивали,— отрубай мени нос, не пойдем в колхоз!—рассказывает Петрусь, часто и глубоко дыша.

— Та що же ты горячку порешь?

— Я бы им набив зараз,—решительно откликается Петрусь.

Микола Гринченко в восхищении шлепает его по плечу. Ребята шумно смеются.

— Правильно!

— Мы им не дадим!

Вновь Петрусь всем существом своим чувствует, что он со всеми этими хлопцами вместе, и все они движутся в одну сторону.

Тонкий Ягло уже стоит за столом, звонит в колокольчик.

Ребята рассаживаются на скамьях. Петро с глубоким вниманием следит за выборами президиума. Радуется, когда Микола и взглядом, и кивком головы, и жестами приглашает его голосовать.

И вот Ягло уже начинает доклад о подготовке ко дню урожая.

«Значит, мне не докладать»,—облегченно вздыхает Петрусь, и все-таки чувствует маленькую обиду от этого.

Микола из президиума хитро усмехается.

Петро старается слушать доклад Ягло. Но тот говорит, что день коллективизации и урожая надо отпраздновать завершением плана хлебозаготовок.

«Почему хлебозаготовок?—думает Петрусь, а память уводит его с собрания.—Шкаруба наотрез заявил, что хлеба не сдаст, а сам его спрятал, и неизвестно где, тайком от Петра, еще в августе. Сволочи эти кулаки, через них рабочие, должно, хлеба недоедают. Как это они там живут в городах—хлеба не сеют?»

Сосед нечаянно толкает Петра. Тот пугливо озирается—не видал ли кто, что он не слушал.

Ягло говорит, что в день урожая надо больше вовлекать народу в колхозы.

«Чего же старик Ильенко говорил—думать надо?»—сомневается Петрусь. И вновь—нет его на собрании: расступились стены, сидят на бревнышках колхозники, дед Михаил Осипыч, осрамив деда Матвиенко, с сердцем каким говорит, что партия услышит...

«Чего я не слушаю!»—возмущается собой Петрусь.

— Нам надо добиться повышения урожайности!—говорит Ягло.

— Ага!—вскидывается Петро, слушая, как докладчик рассказывает про зяблевую вспашку, про машины.

«А почему про разведку молчит?—беспокоится Петрусь,—эх, чего мне Микола докладать не дал?»

Он ерзает на месте, тщетно стараясь обратить на себя внимание президиума.

Ягло уже сидит, кончив говорить. Микола важно поднимается за столом, вкось взглядывает на Петра.

— Слово по организации полевой разведки сейчас скажет Петро Хижний.

Все оглядываются на Петра. Он бледнеет, чувствуя себя каким-то голым.

— Иди вперед,—кричит Микола.

— Ступай, ступай!—толкают соседи.

Не слыша ног, подталкиваемый ребятами, Петро, упираясь, проходит вперед к председетельскому столу. Лицо его отяжелело от тугой нахлынувшей крови, даже смотреть больно. А народу-то сколько! И в голове Петра—ни одного слова... Он стоит, теребит полу пиджака.

— Говори, Хижний!—слышит он голос Ягло, с надеждой оглядывается.

— Не бойся, говори!

Петрусь решительно всхлебывает воздух,—тесные, ровные зубы его блестят,—и не может ничего сказать.

— Товарищи!—подсказывает кто-то звонким шопотом.

— Товарищи!—криком отзывается Петрусь.

— Граждане!—звенит шопот.

— Граждане!—повторяет Петрусь, судорожно стискивая полу пиджака.

И Ягло, и Микола, и ребята, выжидаючи, улыбаются.

— Принимая во внимание...— слышится смешливый шопот.

— Принимая во внимание...— сдавленным голосом откликается Петрусь, в ужасе думая: «Та що ж я балакаю?»

— Хи-хи,—глухим всхлипом встает на задней скамье.

И опять на всю залу, уже с другого конца, звенит острый шопот:

— Так и далее...

— Так и далее...— с трудом, прижмурившись говорит Петрусь.

— А-хах-ха!

— Ой-ой!

— Ихи-хи!—смеются, заливаются хлопцы и девчата.

И окна и зал—все меркнет в глазах Петра.

— Ха-ха-ха!

Микола отчаянно звонит в колокольчик, а у самого от смеха слезы катятся по щекам.

Смеющийся Ягло берет за руку Петра, проводит на место, садится с ним рядом, обняв его.

— Тише!—уже сердито вопит Микола.—Тише,—бо на вас, чертей, ниякого горла не хватае!

Спадает смех.

Ягло серьезно говорит вполголоса Петру:

— Брось, хлопчику, не журись! То ж с каждым було!

— Товарищи! Нам надо полевую разведку организовать,— кричит, перекрывая гул, Микола.

— Яку разведку?—слышится недоумевающий возглас.

— Возьмем лошадей стансоветских, члена совета и дадим своих комсомольцев. Они объедут степь: кто не переточил, не протравил семян—тот долой со степи!

— Ловко,—громко одобряет Ягло.

— И Хижнего обязательно в разведку послать,—кричит Микола.

Вновь головы оборачиваются к Петру. Вновь глаза его никак не оторвутся от пола, но уже отвалилась от сердца, проходит страшная тяжесть. Трепенув бровями, он видит участливое доброе лицо Ягло и смелеет.

От стола президиума обиженно выкрикивает очередной оратор:

— Ягло хорошо говорить—он служащий. А у меня вси хлиборобы. Як же я про них буду казать, що в них хлиб е? Вони ж мои родичи!

В лицо Петра бросается кровь. Но уже по-иному. В ослепительный миг встают Шкаруба, Маруська, пьяная орава Васьки. Подавшись вперед, Петрусь негромко бросает оратору:

— Неправильно!

ПЕСНЯ МОЕГО ДРУГА

Песня его начиналась так:
— Ветер войны хлестал в лицо,
Слышал я рев штыковых атак,
Трижды захлебывался свинцом,
Грызла меня окопная грязь!
Кровью память моя запеклась.

Трудная жизнь.
Свирепая жизнь.
Не отступай!
Держись!

Было о т е ч е с т в о:
— Бей! Карай!
Под руку ц а р ь торопил:
— Коли!
Б о г обещал за «работу» рай,
В братской могиле сажень земли.
Шли мы на смерть серой толпой,
Серой толпой слепой.

Страшная жизнь.
Свирепая жизнь.
Не отступай!
Держись!

Время спросило:
За что? и с кем?
Вышел из строя,
Погоны содрал.
Сразу обмяк на моем штыке
В сердце заколотый генерал.
Реки оттаяли.
Тронулся лед.
Шел по фронтам
С е м н а д ц а т ы й год.

Звонкая жизнь.
Горячая жизнь.
Не отступай!
Держись!

За февралем, за июлем вслед
Грянул Октябрь...
Повернув штыки,
Шли мы большой дорогой побед,
Серошинельные большевики,
Чтобы в д в а д ц а т о м, атакой в лоб
Кончить кадета и взять Перекоп.

Звонкая жизнь.
Горячая жизнь.
Не отступай!
Держись!

Вот мы у мира всего на виду
Тракторы водим. Стоим у станков.
В грохоте стройки мы дали труду
Хватку и мужество большевиков.
В буднях горячих сжигая года,
Знаем, зачем мы идем и куда.

Звонкая жизнь.
Горячая жизнь.
Не отступай!
Держись!

Время торопит, время не ждет.
Будет привал—отдохнем.
А пока
Властно равняет станковый ход
Трижды простреленная рука.
Годы проходят... Пускай! Не беда!
Лишь бы эпоха была молода.

Звонкая жизнь.
Горячая жизнь.
Не отступай!
Держись!

Песня его кончается так:
— Враг не накроет врасплох бедой.
Мы бережем для последних атак
Старый наган и задор молодой.
Голову выше! Героем гляди.
Слава тому, кто идет впереди!

Звонкая жизнь.
Горячая жизнь.
Не отступай!
Держись!

АННА КАРАВАЕВА

РОЖДЕНИЕ ВОЛИ

(Глава из повести)

Мелкие стычки за обедом бывали довольно часто. Но такого скандала, который начал хиленький дедунька, никто не мог ожидать.

С самого утра он следил за поведением председателя и его зама, которые очень оживленно читали некое письмо, как дедунька определил про себя, несомненно «казенной выправки».

Он неслышно присоединился к ним за обедом, кушал тихо, как мышь, обняв левой рукой собственную деревянную миску, из которой хлебал чуть ли не со дня свадьбы своей, когда зачал свой обильный, живучий род.

Как только Семен сказал: «так и порешим», тихий старичок прервал свою благолепную еду и обнаружился у самого локтя изумленного Семена.

— Это как же, милый, решили, А? Это что ж за решение такое без народа?—начал он, все повышая голос и стуча крепкой миской по столу.—Вы только послушайте, братики, что они, начальство наше дорогое, надумали!

— Слушайте!—зашикали неразливно-дружные дедунькины родичи.—Слушайте!

— Дожили, братики! За труды праведные заплатит нам начальство по пятой части, а остальные четыре—на технику... Сушилку-де фруктовую, консервный завод строить... На нашем хребте!

— Кто позволит?—взвизгнула Устинья.—Все части наши, до остатного грошика—все наши!

— Стой, стой,—угрюмо забасил Николай.—Надо по справедливости решить.

— Вер-рно!—зычно крикнула Устинья, размахивая ложкой.—Реви, реви, Николушка, требуй с них, дьяволов,—они на нашей простоте и в карман себе спустят.

— Ах-х—ты!—рявкнул «американец» и назвал Устинью зазорным словом. Она, как ужаленная, подскочила к Петре и, подставив к его носу культурный бабий кукиш, зачастила пронзительным контральто:

— Вокруг пальца обернуть хотите? Завод для фруктов? Нашим потом-кровью? А прибыля себе? А вот энтого не хочешь?

Устинья притронулась было к длинному носу американца и, вдруг зычно заревев, осела книзу: Петря завладел ее бордовыми кулаками.

— Цыц,—заорал он страшным, чужим голосом,—цыц, говорю. Молчать, проклятая ты рожа!

— Пусти,—вырывалась Устинья, но американец, остервенев, пригнул ее к земле и уперся заплатанным коленом в дюжую Устиньину грудь.

— Убивают!—завопила Устинья и укусила Петрю повыше колена.

— Подлюга!—охнул американец и разжал руки. Но дедунька уже мигнул своим, и старший его сын-бородач опустил тяжелый, как битюжье копыто, кулак на тощую спину американца. Петря жалобно взвыл и, скорчившись, привалился к Семену,—и тот, прервав оторопелое свое молчанье, бросился на разъяренного бородача.

— Ты! Отродье!

— Зато ты благородный!—притопывал лапоточками дедунька, показывая неизносимые зубы.—На вас же работай, от вас же и по шеям. Поучи его, сынок!

— Меня учить!—прохрипел Семен, сдирая со своих плеч потные клещи чужих рук.—Рубаху рвешь, подлец!—крикнул он—и, точно захлебнувшись в мутной тяжелой волне ненависти к этой колючей рыжей бороде и красному, отвратительно пахнувшему потом лицу, с силой ударил врага куда-то в мякоть, ниже груди.

— Убиец!—взвыл дедунька, а Устинья схватила Семена за подол рубахи.

— Держи-и!

— Да разнимите вы их!—как во сне донесся к Семену истерически-звонкий голос запоздавшей Шуры.

Не успев домыть рук, она толкнула на ходу мокрой ладонью задумчиво стоявшего Шмелева.

— Разнимай, чего стоишь?

Недослышав его ленивого возгласа «само собой перемелется»,—Шура потащила онемевшего от испуга Володю напролом в барахтающуюся орущую кучу. Володя, попав в эту парную воронку человеческих тел, вдруг точно сбросил свой испуг под чужие топчущие землю сапоги. Багровое, налившееся кровью лицо Семена, поваленного набок, его нога в грязном сапоге, скребущая широкую спину бородача, медвежье их сопенье—все это будто разверзлось перед Володей, как бездна,

возникшая из мрачного, противоестественного бытия, о котором он не подозревал. И распаленный обидой и отвращением, Володя присоединил свой ломкий юношеский голос к страстному окрику Шуры:—«Стойте, стойте, бессовестные! Всех ведь позорите, лютое вы зверье!»

Володя тоже крикнул что-то о позоре—и мгновенно забыл, оглохнув от стука собственного сердца. Подавленный открытием, он с горьким вниманием следил, как Семен, шатаясь и хрипя, неловко отряхал землю с колен.

Обозревая порванную на плече рубаху и потные всклокоченные, как неопрятная овчина, волосы Семена, Володя с боязливой гордостью подумал: «Такого стыда никогда не допущу!»

Семен поднял голову и взглянул на Шуру еще пьяными от борьбы, виноватыми глазами.

— Хорош,—кратко оценила она.

Под правым глазом Семена багровел огромный кровоподтек, след пудовых кулаков дедунькиного отпрыска, от виска к уху зияла рваная царапина, и кровь, в первую минуту показавшаяся Володе черной, вилась густой и жирной струей по щеке и шее.

— Вот, Шура,—пробормотал Семен, напрасно силясь принять заносчивый и гордый вид,—вот как за наши перспективы пришлось пострадать.

— Да и ты тоже его изукрасил,—холодно сказала она, кивая в сторону дедунькиного рода.

Там, как в улье, шло деловитое кипенье: бородачу делали перевязку. Зрители и помощники в стыдливой спешке очищали поле битвы. А дедунька Никодим Филиппыч, сладострастно осклабив свои хищные, совсем молодые зубы и плавно помахивая руками, точно управлял концертом, охранял лагерь от неприятеля.

— Глядите, братики любезные, как артельный начальник сына мово раскровянил. Где она, правда-то?

Оскорбленный вновь Петря ринулся с кулаками в дедунькин лагерь.

— Ах ты... старая шельма! Бесова ты кочерыжка... какую распрю завел... Да без тебя бы у нас ни один лист не шелохнулся, да без тебя бы—да мы бы...

Петря с пылу даже захлебнулся—и тут его с силой отбросило назад. Он обернулся, рассвирепев,—Семен крепко сгреб его за ворот рубахи, как драчливого щенка.

— Брось... Хватит... Нашел чем взять,—хрипло сказал он, держась другой рукой за свою раненую голову.

— Да я его, анафему!—опять начал было разъяренный Петря.

— Брось, говорю... и уйди подальше. А то в злобе я на руку тяжел...— и в налившихся кровью глазах Семена Петря вдруг прочел такую черную тоску, что, кажется, впервые в жизни послушно попятился от старого товарища.

— Вот оно наше житье!—взыграл дробный тенорок дедуньки.—Побьют, потом друг дружку взашей гонят. Адово место.

Ему ответил раболепный вой всего рода и подыгрывающие возгласы немалого числа недавних молчальников, которые, учтя решительность событий, перебежали в лагерь дедуньки. В числе перебежчиков был и Николай Иваныч.

— Нельзя больше, миленькие, так жить,—надрывался дедунька, помахивая желтыми, как репки, кулачками.—Изведут нас так здесь, беспременно изведут.

— Раньше ты корни подъешь, суслик зобатый!—гневно крикнула, перевязывавшая Семена, Шура, и ударила по самому больному месту: дедунька стыдился своей болезни.

— Бессовестная,—побагровел дедунька.—Я тут не виноватый, этим меня, может, бог учит.

— И не тебе бога переспорить, наглющая!—сочно, как свежепрорезанная дудка, взвизгнуло контральто Устиньи Колпиной. Она выступила грудью вперед, пылая носом и щеками, шумливая и бесстрашная, как разыгравшаяся стихия.

— Ефимка!—заорала она мужу, принесшему ведро воды Семену.—Куда лезешь, шестипалый? Мучителей наших ублажаешь, урод?

— Очнись,—пробовал было отшутиться Ефим.—Я—из уважения.

— Я вот покажу тебе «уваженье», к постели не подпущу. Жена я тебе или потаскуха?

Последнее худое слово про жену Ефим за свою жизнь слыхал много раз от обозленных ею соседок. Уж он-то знал, за что она это заслужила, но как всегда случалось при людях, он подтвердить этого никак не мог. Чтобы хоть сколько-нибудь смягчить унижение от ее наглости, Ефим уже приспособился выхватывать из ее речи те достойные слова, которые, как заблудшее цветочное семя, попадались в ней. И хотя Ефим хорошо помнил, что унизительное его положение в семье всем известно, желание показать, что его жизнь в общем все-таки идет правильно, было настолько сильно, что и сейчас Ефим с наивозможным достоинством ответил:

— Ясное дело—жена, спорить тут нечего.

Она торжествующе крикнула:

— Ну, так и поди сюда.

Но жалость к Семену, в сравнении с этим нехитрым, не постоянным обманом себя и других была настолько честным и прямодушным чувством, что тут Ефим ослушался и затоптался на месте.

— Иди к ним, иди,—горько крикнул Семен, отфыркиваясь под брызгами холодной воды.—Не ты первый фронт ломаешь.

— Да мне ведь и некогда, Семен Петрович,—с решимостью слабого сказал Ефим, но перед тем, как дать тягу, он нашелся хотя бы косвенно отвести обращенный к нему упрек.—Я ведь работать иду, а вон люди прохлаждаются.

И он, уходя, выразительно кивнул в сторону Николая, который растерянно жался к шумной стайке дедунькиного рода.

— Спасибо,—поняв, крикнул вслед Семен.—Вижу, вижу.

— За каким ветром погнался, Николай Иваныч?—вспылила Шура.—Степенный человек, а туда же в склоку ввязался.

— Брось, Шура,—утомленным голосом сказал Семен, качая забинтованной головой.—Этим их не проберешь.

Он всматривался в знакомые лица сухими и беспокойными, будто протрезвившимися глазами, как бы только теперь найдя место и время для оценок и открытий.

— Однако,—протянул, он бледно улыбаясь, Володе осунувшимся лицом.—Смотри, однако, секретарь комсомола, и твои птенцы там снуют. Эй, Валя, ты как попала? Чего же ты, в самом деле, смотришь, секретарь?

Спокойный его тон еще более усилил необычность обращения—оно призывало Володю действовать, произносить четкие полновесные, как хорошие зерна, слова, удивлять и покорять людей тем разумным и сильным, что заключено в них. Валя стояла за широкой спиной тетки и, неловко прижав голову к плечу, крутила угол грязного полосатого передника. Она вдруг показалась Володе такой заброшенной и беспомощной, что он на миг ужаснулся ограниченности своих сил,— эту разделяющую их тропку с блекнущей травой надо было одолеть, как бурный поток, в котором погибал утопающий. Нависшая над тропкой густая полуденная тень с недвижным и тонким узором листьев липы и такая же недвижная, точно прикрывшая все тишина, были ненадежны и опасны, как хилый мост с берега на берег. В стороне, на траве сидела Лиза и, закрыв руками лицо, беззвучно давилась слезами.

— Это она от испуга... Да и не поняла ничего,—бегло и горько подумал он и, чувствуя, как бремя решимости все сильнее сжимает его плечи, он нерасчетливо-громко крикнул:

— Валентина! Как ты к ним затесалась?—«Ух, как топо-

ром вдарил, дурак!»—пронеслась оторопелая мысль.—Валя! Отчего ты не с нами?

И не зная, что еще ей сказать, Володя тревожно заулыбался и с призывной силой замахал руками.

— Да я... мне тетенька так велела...—смущенно подходя к нему, сказала Валя.

— А ты своим умом живи,—ответил он строго, но тут же подумал с досадой, что слова эти он говорил ей по всякому поводу.

— Ты же в бригаде состоишь, а это дело, сама понимаешь, ответственное. Вот мы работаем...

Но тут в памяти Володи совсем некстати встало худое, длинное лицо Петри-американца с его скверной кривой палкой.

— Д-да... А когда работа идет дружно...—заговорил опять Володя, почувствовав внезапную вялость—доказательства дружной работы у него как раз и не было.—И вот ты, ясное дело, понимаешь...—начал он опять, уже совестясь и почти страдая, как будто обманывал ее.

— Да, да,—сказала Валя послушно. В ее больших темно-коричневых глазах, с тусклыми, как у теленка, зрачками, спало теплое доверие.

Лиза, точно встряхнувшись после своих слез, принялась убеждать Валю, обняв ее круглые, широкие плечи.

— Как-никак, а мы, молодежь, должны держаться вместе...

— Да, да,—еще покорнее согласилась Валя.

— Ах, Валечка, Валечка, что вы делаете?—грустно пропел голос Шмелева. Он стоял за деревом и неторопливо сыпал табак в бумажку.

Валя сразу выскользнула из объятий Лизы и растерянно остановилась, вся пунцовая, задыхающаяся.

— Нехорошо, девочка, тетеньку огорчать—вон она пошла, головку понурила.

— А что мне делать?—как во сне спросила Валя. Глаза ее страдали.

— Как «что»? Догнать тетеньку, извиниться,—настаивал Шмелев.

— Да я, что ж, я попрошу,—забормотала она, как бы изнемогая от бурной и непосильной игры внутри ее. Густой, точно запекшийся румянец, как печать, рдел на ее щеках.

Володя ревниво пожалел о прервавшемся разговоре, как о молодой гибкой березе, которая, выхоленная его руками, погибла под чужим топором. И, дрожа от досады, что допустил эту порчу, Володя сказал:

— Ну, насчет «извиненья» разным тетенькам—этого у нас не дождешься.

— За других не разоряйся, мальчик!—Шмелев, подмигнув, дохнул дымом.

— Я знаю, что делаю!—крикнул Володя, точно обожженный этой снисходительностью.—Нечего заигрывать.

— Очень мне нужно,—надменно щурясь, сказал Шмелев.—После этого случая я прекращаю занятия по твоему образованию. Вертись сам, дурак, коли своей пользы не понимаешь.

— А ты нахально не поступай.

Володя чувствовал, что совершает непоправимое дело, но странная сила, больше его, толкала его вперед:

— А Валентину, как некультурную, обхаживать тебе не к чему... Нехорошо...

— Обманешь, а не женишься,—ввернула Лиза.

— Эх, я совсем не в той плоскости, понимать же надо,—с досадой прервал Володя и осекся: Валя плакала, по-детски громко всхлипывая.

— Ну вот, пошло-поехало!—возмутился Володя.—Одна прорвалась, другая начала! Валь, а Валь! Перестань ты, ну! Мы тебя обижать не позволим, чудачка ты эдакая.

Он помолчал и решительно добавил:

— Говорю тебе—комсомол тебя в обиду не даст.

Но она плакала все сильнее, уничтоженная стыдом, что все открылось и ее со своей тайной точно раздели у всех на глазах.

— Ее за Николая бородатого выдают, а ей вон кого надо,—зашептала на ухо Володе Лиза.

Он молча кивнул головой и больше не говорил о комсомоле.

— Что с ней делать-то?—обеспокоенно шептала Лиза.

— Ничего, пусть одна выплачется,—задумчиво ответил Володя.

Взявшись за руки, оба в размышлении смотрели на плачущую девушку, как будто видели ее в первый раз. Солнечное пятно знакомого полуденного оттенка, как свеже-разлитый желток, мягко сияло на ее темнокаштановой макушке. Ее полосатый передник был вымазан землей, такой знакомой и родной им каждой щепоткой, как материнская ладонь. И как раз все это знакомое, как броня, скрывало под собой темную, загадочную жизнь, для которой у них, как для тяжело-больного не было лекарства.

— Скажем ей—пусть Николаю откажет?—еле слышно шепнула Лиза.

— Нет, не то,—отмахнулся он, а девушка в наивном испуге подняла русую бровь. Ее длинные, загнутые вверх ресницы вдруг напомнили ему маленькие шелковистые перья, и он умиленно пожалел ее.

«Совсем она еще девчонка. Что она без меня? Несмышленыш, да и сирота»,—думал он, как старший и опытный человек, забывая, что и сам он тоже сирота. Он любил ее уже второй год—и за последнее время решил про себя, что только ее и мог полюбить. Начав засматриваться на девушек, он все же избегал многих из них. Он боялся этих веселых, слишком разбитных девушек—многие казались ему и злыми. Ни одна, например, кроме Лизы, не приметила в свое время его первых новых сапог, и только Лиза тогда же заступилась за него, когда раздались смешки над его также новой рубахой, желтой, как цветы полевой редьки.

И сколько раз потом он мог убедиться, как она добра, проста и отзывчива. Такую девушку стоит оградить от подобной слезной судьбы, когда страдающий человек не в силах рассказать свое горе. И уж, конечно, не мать Лизы, вдова-солдатка от германской войны, полуслепая женщина, должна была заняться этим, а он, Володя Наркизов. Вчера еще у него не было этой заботы, но не это было удивительно, а то, что он не подумал об этом раньше.

«Уж мне-то это стыдно»,—подумал он дальше, совестясь встретиться глазами с Лизой.

— Пойду...—неожиданно громко сказала Валя и, вытерев глаза тылом руки, тяжелой походкой пошла домой.

— Трудно бывает нашей сестре,—вздохнула Лиза, теребя вьющийся кончик косы.—Хоть какая свобода, а нам все равно страдать.

— Этого не должно быть!—горячо сказал Володя и сжал ее узенькую девичью руку.—Но имей в виду: и я могу страдать. Например, сейчас мне Шмелев от образования отказал. Понимаешь, что это для меня значит?

Девушка немного подумала и обратила к Володе веселое лицо с задорно сморщившимся носиком.

— Вот и не значит ничего... Твой Шмелев—эдакий редешный рассол против сахара пошел. Чем только он и прельстил?

— У него семилетка, Лизочка.

— А ты выше бери—к Андрею Матвеичу обратись, он же с тобой разговаривал, чего-то тебе обещал.

— Верно!—ударил себя ладонью по лбу Володя.—Верно! Он мне обещал.

Разговор с Никишевым на рассвете со всеми его гордыми и сладкими предчувствиями, с такой силой встал в его памяти, что Володя с бешено застучавшим сердцем подскочил, закружился на месте и повалился на траву, катаясь и дрыгая ногами, как молодой разыгравшийся зверь.

— Ой, я дура-ак... Ой, чудачище! Про такого человека забыл... Он же книжки пишет—и все про жизнь!.. Про жизнь—вот здорово!—И Володя, вскочив на ноги, бурно обнял девушку.

Никишев и Баратов, придя с реки, застали уже совершенно очищенное поле сражения, мрачного донельзя Петрю и Семена с забинтованной головой. Дедунькин лагерь, как оказалось, после боя уже недолго мозолил глаза.

— Их, надо полагать, смутило, что я дальше скандала не стал раздувать,—поохивая, рассказывал Семен. Далее он помрачнел и стал жаловаться, что «за людьми некогда следить».

— Вспомнился мне, товарищ комиссар, наш крейсер в семнадцатом году,—вдруг оживился Семен.—Как мы каждого человека на особом счету числили. И ведь не путались, а, Андрей Матвеич?

— Да. Сложный, но верный был счет.

— И как мы тогда считать поспевали—не только как кто сделал, но и о чем думает и как при случае себя поведет.

— А вот Петря Радушев, ваш американец, находит, что у вас совсем кулаков нет.

— Да, распустился у нас народ,—опять помрачнел Семен и замолк, увидя быстро идущего Володю. Тот шел, расправив грудь и плечи. Его лоб и щеки и только что смоченные водой и зачесанные назад волосы блестели. К обещанному разговору он приготовился, как к некоему рубежу своей жизни.

— Андрей Матвеич, вопросы я вам должен буду задавать именно сейчас, так как сегодня мы вроде как бы поссорились с товарищем Шмелевым... и он отказал мне от образования.

— Вот как! Что же теперь делать?

Володя встретился взглядом с карими смеющимися глазами пожилого человека, а улыбку его умного подвижного рта оценил как крайнюю насмешку над своей глупой речью. И оробело спросил:

— Да... и с чего ж теперь начинать?

— Правильный вопрос, товарищ Наркизов. Жаль только, что образование, от которого тебя отлучили, тебя привело только к этому вопросу. И как понять, Семен Петрович, тактику вашего «заведующего культурной революцией»? Подумай-ка, по его вине человек не знает, с чего начать. А, как тебе это покажется?.. Тебе же, товарищ Наркизов...

И тут Володя, весь внутренне дрогнув от свежей, как щекотка лядяной ключевой водой, радости, увидел устремленный на него строгий и благожелательный взгляд.

— Тебе же советую начать с истории и труда.

«Пойми вот его!—вихрем пронеслась испуганная мысль в голове Володи.—Начать с истории и труда... За что тут ухватишься?»

От этой резкой смены чувств у Володи вспотел лоб.

— Мы тут, Андрей Матвеич, извините, отстали—так я что-то не пойму...

Никишев взглянул в его большие глаза, искрящиеся испугом и жадным любопытством, и ощутил в себе уже давно неиспытанный острый трепет пропагандиста—взрывателя целины.

— Ах ты, герой мой, герой!—сказал он, озабоченно шутя.— Послушай вот сначала, как идет наша жизнь.

И Никишев начал с самого рассвета, не забыв про первые солнечные растеки по еще сизой после ночи траве, про особенную пронзительную прохладу от реки, что бывает только в эту пору; не забыв про птичьи пересвисты и переклики в садах и в каждом дворе, про хлопотливые стуки открывающихся навстречу утру дверей, окон и ворот, про рассыпные, как ягоды на поляне, восклицания и разговоры и вторящее им мычанье, ржанье, блеянье, про первый спозаранок и боевой, как труба грохот телеги, и чью-то песню, радующуюся привычному и каждый раз новому пробуждению, и вступлению в день, в работу, в мир.

— Это целая инструментовка симфонии на тему: природа, человек, труд,—негромко сказал Баратов.

— Ты угадал,—сказал Никишев и глазами похвалил его.— Это делаю я, товарищ Наркизов, для того, чтобы показать тебе, что над любым таким утром вы не властны.

Володя не понимал еще, к чему он клонит речь, но доверие, которым дарили его, и так необыкновенно рассказанная (ясно, для него же) каждодневная их жизнь,—все это поднимало его в собственном мнении и сообщало уверенность, что и окончательный вывод он, Володя, хорошо поймет.

— Выходит, утро такое нам ни к чему, несмело сказал Володя.

— Именно так,—одобрил Никишев,—утро прежде всего вам, молодежи, не помогает, не побуждает вас работать, как вы это могли бы. Отчего? Оттого, что утром этим распоряжается бесконтрольно ваш американец.

И отсюда начались для Володи совсем понятные дела.

Люди от шестнадцати до двадцати двух-трех лет изо дня в день позволяют распоряжаться собой, как будто некоторые из них не комсомольцы, а до сих пор еще бесштанные мальчишки, сосущие собственный палец. Как беспечное стадо под властным окриком американца, они идут на работу, тоскуя и

проклиная худосочный его тенорок и неразлучную, кривую палку. Они «выполняют» его опостылевшие всем «уроки» и «приказы». Всем им невдомек, что для молодых и сильных людей такая работа позорна. Бедные несмышленыши! Им и невдомек, что за какие-нибудь сотни верст такие же юноши и девушки из ударных бригад выходят со знаменем на работу.

Володя ахнул.

— Со знаменем? Да ведь его же только можно в праздники брать!

— Американец не даст?

— Определенно не даст! Он его даже запирает. Нечего, говорит, задарма сатин трепать, да и от частого употребления он выцветает, рыжеет, а рыжему, говорит, сами понимаете— далеко до красного.

— Эх вы... коммунистическое юношество! У себя ни в ячейке, ни в бригаде не хозяева.

— Трудно теперь по-другому повернуть, Андрей Матвеич. Ребята, хоть и ругаются, а к такому способу уже привыкли.

— А ты раздуй в них протест, разбуди мысль. Ты думаешь, что ты, как секретарь, только покрикивать должен? А?

— Нет, что вы!.. Конечно, я должен... будить мысль.

И тут Володя понял, что сказал очень полновесные слова, что надавал этому требовательному человеку с мягким голосом и упрямым ртом таких обещаний, как никогда и никому. Никишев рассказывал о комсомольских бригадах на новостройке, а Володя, слушая, представлял себе, как комсомольские секретари будят мысль. Он уже точно слышал свой уверенный голос, подбадривающий таких же, как он, несмелых и отсталых ребят. С какой надеждой они смотрели на него! О, уж он-то, Владимир Наркизов, обнаружит ошибку, как свежую занозу под кожей. Володя раздваивался в собственном представлении: то он был в наставниках, то опять, недовольный собой, ловил чей-то взгляд, хватался за каждую руку, которая казалась ему дружеской, и точно брел в сумерках неверным бродом, который мог привести в шальную водоверть.

Когда Никишев спросил, читал ли он, что написано Лениным о социалистическом соревновании, Володя, как сраженный, ответил еле слышно:

— Нет, не читал.

— А что Ленина читал?

— Читал про его жизнь. В календаре.

— Так. Поэтому зачем вам тут понадобились ударные бригады и как они родились—ты и не знаешь.

— Что от этого должна быть польза—понимаю. А про «зачем» и «как» мы вообще не задумывались.

— Так, так. Значит, я не зря советовал тебе к вопросам труда присоединить историю.., Семен Петрович!

Семен, ослабев от раны, задремал у стены.

— Семен Петрович. Вот тут молодой человек не знает истории.

— Что-о?—испугался Семен.—Где история?

— Не «где», а у вас здесь молодые люди не знают истории, а ты благодушествуешь. Не вспомнишь ли твою речь на крейсере в семнадцатом году?

— Какую речь, товарищ комиссар?

— Проснись. Твою речь о том, почему ты ненавидишь дворянство и буржуазию.

— Помилуй, Андрей Матвеич, до того ли тут? Об урожае заботы одолели.

— Повтори свою речь на крейсере, Семен Петрович. Никакой урожай не дает тебе права забыть о ней.

Семен начал неохотно, но потом разошелся. Кончил он, когда уже зазеленело небо на востоке.

Едва он замолк, как Володя встал перед ним, и точно забыв о разнице лет, сжал его плечи молодыми цепкими пальцами:

— И ты все про себя держал такое богатство? И ты смел, у тебя духу хватало молчать про это?

На другой день за ужином Володя объявил о комсомольском собрании.

Известие это было встречено с явным удивлением.

Он стыдливо подумал: «Что значит привычки-то нет».

Он первый пришел на песчаную площадку перед конторой, с неясной боязнью отвергнув более знакомый всем пригорок.

Стоя за худоногим столиком, он напряженно следил за тонкой и редкой цепочкой человеческих фигур, неспешно идущих к площадке.

— Скорей вы, скорей,—внутренне кипя, шептал он.

Многие, конечно, не явились.

— Где они?

— Купаться ушли.

— Нет, иву резать для дудок.

— Не беда,—сказал Володя с небрежной уверенностью, обрадовавшей его самого.—Мы для таких специальное собрание устроим. Повестка дня у нас сегодня: во-первых, о нас,

как об ударниках, во-вторых, вечер воспоминаний—часть историческая, и в-третьих, как же должны работать наши ударные бригады. Докладчик первый—я.

По первому вопросу Володя выступил сокрушительно. Он прежде всего объявил, что ни одного настоящего ударника среди молодежи нет. До того довело всех это позорное положение, что даже он, секретарь, поддался никудышным настроениям.

— А почему нам надо работать,—закончил он звенящим и упругим голосом,—почему это надо, докажет нам вечер воспоминаний..

— Его надо особо устраивать, вечер-то,—сказал чей-то сомневающийся голос.—А то все вместе, не поймешь.

— Это наша воля вспоминать когда хотим,—вспыхнул Володя.—Может как раз побольше надо! Не все так понимают, как ты.

«Что это я кричу?»—спохватился он про себя и сказал спокойнее и проще:

— На конференции же ругали всех, кто работает, как говорится, по шаблону. И мы не будем работать по шаблону... Поэтому слово даю товарищу Коврину. Он нам расскажет в основном то же самое, что говорил у себя на крейсере в семнадцатом году.

Семен вышел к столу. Из-под забинтованного лба глаза его казались особенно блестящими и зоркими.

В первом ряду Семен увидал сына. Васенька сидел у Лизы на коленях, свесив маленькие загорелые ноги. Его широкие черные брови, почти сходясь у переносицы, шевелились, как два беспокойных пушистых крыла. Глаза его любопытно и зорко блестели—казалось, он ждал от отца захватывающе-веселой игры.

«Наверно опять за орехами лазил,—подумал Семен, взглянув на свежие царапины на детских икрах.—Неуемный какой, сорванец. Да ведь и один он весь день, без присмотра».

Семен исподлобья охватил крепкую фигурку сына тайным любующимся взглядом и повернул речь в неожиданную сторону.

— Дорожку эту видите?

— Видим!—ответил дружный хор.

— Я по ней купаться бегаю!—прокричал Васенька.

— Верно, сынок. А вот я тут в девятьсот пятом году, когда мне десять лет было, я по этой тропке от чужой бабушки спасался.

Перед Володей как бы вновь возникла низкорослая стару-

шечка в пестрой шали, барыня-помещица Буслаева. В восемнадцатом году, в день национализации ее имения, помещица Буслаева умерла, но Володе все казалось, что она еще жива, шуршит шелковым платьем и таится где-то как плесень.

Не выпуская из цыплячьих сухих ручек цепочки, на которой бежала, тявкая, белая поджарая собачонка, помещица Буслаева гналась за десятилетним Сенькой. Он бежал к осенней, вздувшейся от непогоды реке, отчаянно мечтая скрыться под ее черной ледяной шкурой, потому что за барыней Буслаевой топал взвод солдат.

— Ловите его, он вора освободил!

Да, Сенька, подобрав ключ к замку арестантской, выпустил на волю избитого стражниками человека, о котором узнал от отца, что избитый человек хотел для крестьян «хорошей жизни».

В воду Сенька, действительно, бросился. Он выплыл неподалеку за стогами, забился в сено и пробыл до вечера, стуча зубами от холода и безысходной жалости к себе, к неизвестному избитому человеку и к тому, что совершалось наверху. Когда затих конский топот, Семен тихонько выбрался в село. В старой беседке над обрывом сидел его однолеток, бабушкин внук.

— А! Ты что, не утонул?—закричал он, тараща пустые, как стеклянные бусы, голубые глаза.—Я вот офицеру телеграмму пошлю, он на тебя кандалы наденет.

Прошло немало дней, пока Сенька перестал страшиться офицера. Боясь показаться на улицу, он страдальчески возился на полатях, а на ночь даже залезал в печь.

Летом семнадцатого года Семен матросом-большевиком приехал в отпуск и первым подписал заявление крестьян, что они более «аренды не плательщики». Барыня стучала костылем и грозила вызвать внука. И в девятнадцатом прискакал и он, казацкий есаул, со своими донцами, и казацкие лампасы заалели по всей деревне. Бабушкин внук-наследник сидел под окном экономии, нынешней колхозной конторы и курил длиннейший чубук, смотря, как безобразничали его донцы.

— Погодите, мерзавцы!—кричал он деревенским.—Еще вернусь! Всех вас, поганых, поснимаю со своей земли!

Вернуться ему не пришлось. Но Володе чудилось, что стена позади его все еще отдает отвратительным теплом пьяного тела донского есаула.

С дрожью глядел Володя на осеннюю траву и казалось ему, что она увяла с тех пор, как смотрели на нее страшные остеклело-голубые глаза пьяного наследника.

— А где он, есаул этот?—прервал Семена Костя. Его остроносенькое лицо напряженно хмурилось.

— Есаул, как сказывали, в Париже.

— Так что нескоро сюда доскачет?—допытывался Костя.

— Ну, если на самолете, так пролетит меньше суток.

— Вот как!—изумился Костя.—А с чего есаул полетит к нам, если наши его давно прогнали?

— А как нам воевать придется?—поддразнил Семен.—Их-нёго брата, есаулов да графьев там хватит. Сладкой жизни они не забыли. В случае чего, из этого вот Парижа на конях да самолетах принесутся наши глотки резать.

— А мы не пустим!—вызывающе крикнул Костя и даже топнул.—Ну-ка, сунься он к нам. Мы ему пропишем!

В его округлившихся глазах Володя увидел схожую с его собственной качку, бурю вихревых мыслей.

Город Париж, оказывается, мог иметь ближайшее отношение к яблоневому саду, как соседская изгородь. Трепет листьев на старых яблонях, кусты, сгибаемые вечерним ветром, глухое шевеление теней среди скоплений зелени, зыбкая воронка песку, поднятая ветром с дорожки, летящее, как парусник, белое облако на неверно-розовом небе—весь этот каждодневный привычный мир вдруг оказался подвижным, меняющимся на глазах. Он устремлялся вперед, вслед за ветром, жил широко и шумно и угрожал памятью о коварных сапогах есаула, топтавших эти тропки и травы. Костя Шилин, которого он, Володя, за последнее время считал пустым и глупым человеком, оказалось, сумел разгневаться по-боевому. А как мало они, молодежь, знали своего председателя! С мальчишек заметили его враги и он их, и не раз они сходились лицом к лицу. Он ощущал зловонное дыханье их ненависти и видел в их глазах беспросветную судьбу, которую готовили они для него и всех других, ему подобных. Есаул приказал донцам расстрелять его где-то вот тут же, возле экономии, может быть, вот у этого дерева. Он стоял со связанными руками, его стиснутые зубы светились в вечерней полумгле, а длинные ленты его матросской бескозырки вились и рвались по ветру. Крестьяне с зубьями и косами отняли его от донцов.

И она, молодежь, как и другие, допустила, что били этого человека такие, действительно, «отродья», как грубиян Корней, дедунькин бородач, которого все обегают из-за его дикого нрава и пудовых кулаков.

Когда Семен, отвечая кому-то, сказал, что «застаивать грудью трудящееся дело его учила партия», Володя встал рядом с ним и с вызывающей злой печалью сказал:

— А мы что застаивам, ребята? Мы ведем себя как гости-объедалы, попили, поели и ушли, а крошки за нами собаки подберут. Я, секретарь, заявляю: довольно нам расти как трава, терпеть на себе чужие ноги.

Он взялся за голову и сжал ее руками, точно охлаждая пылающие в ней мысли, и оглядел притихших ребят ясными, отчаянными глазами.

— А разве так не было? Мы делали потому, что нас толкали в спину, будто мы наемные, а не хозяева. Вот Семен Петрович про партию говорил, чему она учит. Меня вот, такого, который даже Ленина не читал, разве партия будет уважать? Ясное дело, не будет. Да и я по земле нашей слонялся как гость, я забыл, что для нас она заработана, ее такие, как Семен, грудью застаивали.

Он помолчал, передохнул, как бы готовясь поднять большую тяжесть, и просто сказал:

— И я был ничем не выше вас, ребята. И меня толкали в спину, так как я был без воли.

Он вдруг встряхнул головой и выбросил вперед молодые гибкие руки.

— Но мы можем, сила у нас есть! Мы своей волей создадим бригаду, обязуемся работать, как надо. Хотите меня в бригадиры?

— Хотим!—непроизвольно крикнул Костя, увлеченный необычным видом и речью секретаря—недавнюю ссору с ним он тут же забыл.

— Хотим!—крикнул он еще раз, торжествующе посматривая на других, как самый находчивый.

Кивнув Косте, как старший, понимающий намерение с полуслова, Володя спросил с насильным спокойствием, чтобы не так бросался в глаза заливший его щеки румянец:

— Кто желает записаться в комсомольскую бригаду?

— Я!—сказала негромко Лиза, смотря на него большими преданными глазами.

— Вот здесь,—указал он и посторонился, давая ей место и впервые с ней, с девушкой, которую целовал в лесу, он обменялся зорким взглядом товарища и соратника.

Я СЛАВЛЮ НАШИХ РЕБЯТ

Не железо, не медь, не руду,
Не вещей бесконечный ряд—
Я славлю руки,
Отданные труду.

Я в ногу с живыми
Людьми иду:
Я славлю наших ребят!

Кто видел как, строятся города,
Как основы старья
Под лопатой трещат,
Тот знает, что значит
Закон труда,
Тот будет со мной
До конца всегда.
Я славлю наших ребят.

Встают Днепрострой и Магнитострой,
Их ставила ярость наших бригад;
Я слышал, чьи глотки
Крикнули: строй!
Я слышу твой голос—
Главный герой.
Я славлю наших ребят.

А вы, ползущие стороной,
А вы, оглядывающиеся назад,
Бросьте шутить за моей спиной,—
Шестая часть мира
Идет со мной.
Я славлю наших ребят!

ИВАН ШУХОВ

КОНТР-АТАКА

Глава из романа «Ненависть»

Ветхий верх пастушьей юрты был усыпан зрелыми звездами, а в дымоходе застрял плоский, холодный месяц. Пахло овчинами и птичьим пометом. Очаг давно потух. Аульная беднота, пастухи и лежачие—джетаки сидели вокруг забытого очага тройным, наглухо замкнутым кольцом. Лица их слизывал и тушевал сумрак. Они сидели в окаменелой неподвижности и ненарушимом молчании, словно сейчас должен был раздаться сытый байский голос и почетная голова барана упасть на цинковое блюдо, подставленное к его ногам. Их острые, оголенные локти смыкались, как звенья цепи, и напряженный покой ник над ними. Они сидели, запрокинув головы, и зрелые звезды с новорожденным месяцем опускались все ниже и ниже. Месяц веселый, как глаз оперившегося беркутенка, пронзительно светил в дымоходе, и над грудой старых пастушьих сундуков, оперенный его блеском, щурился такой родной, степной и понятный Ленин.

Ленин! Ты глядишь на молчаливых джетаков, пастухов и подпасков из аула Кара-Гат, и они глядят на тебя. Ты слушаешь отрывистую, взволнованно-запутанную речь пастуха Аблая, и вместе с тобой его слушают эти молчаливые люди. Ты думаешь—какой хитрый лоб у бая по имени Наурбек и как ловки, сильны, неотразимы его ручные беркуты. Сто буланых байских кобыл захлебываются от радостного материнского ржания. Ты слышишь, Ленин, их глухой топот каждую зорю, каждый закат, когда возвращаются они к байской юрте с заозерных пастбищ, и вместе с тобой в тоске и ненависти прислушиваются к чужой радости эти люди. Непогодь понесет над степью неведомые листья. Дождь зашумит назойливый, злой и нудный, а подпаски, покинув голодную юрту, пойдут стеречь чужие табуны. Они пойдут стеречь чужую радость под обнаженным суровым небом. Они пойдут навстречу ехидному ветру севера. Они будут сжимать в тоске и ненависти свои посиневшие кулаки, и вместе с ними пойдешь ты, такой простой, степной и понятный Ленин.

Подпасок Ералла смотрел в прищуренную прорезь глаз

портрета, оперенного блистающим светом месяца, и слушал, как говорил Аблай.

Аблай уже стоял на ногах. Его короткие сильные руки уже метались над головой, как мечутся ястребиные крылья. Аблай говорил так:

— Я видел за балкой всадника в лисьем малахае. Всадник скакал в аул Джой и говорил встречным новость. Он говорил так: «Джетаки, пастухи и подпаски из аула Кара-Гат не знают, что делать. Сильные аксакалы [1] отобрали из колхоза всех своих лошадей, коз и баранов. Бедняки сидят в пастушьей юрте вторую ночь. У них нет хлеба, и они не знают, что делать».

— Он врет!—крикнул подпасок Ералла, и все повернули к нему головы.

— Мы знаем, что нам делать,—еще громче закричал пастух Бектурган.

— Ие!—хором ответили люди из сумрака.

— Мы знаем, что делать, и мы не пойдем к Наурбеку,— поднялся самый старый из пастухов по имени Койча.

Тогда вместе с громовыми людскими криками на очаге взорвалось сочное ликующее пламя. Оно яростно забушевало, поднимая розовые листья сухого ракитника, и на мгновение затмило блистающий рог полумесяца, потушив зрелые звезды.

— Мы знаем, что делать!—кричали люди, и лохмотья их бешметов отсвечивали на костре, как отсвечивают злые лезвия нагретых под халатами ножей.

— Пусть он сам выгонит завтра табуны за урочище Кургасык.

— Сам!

— Пусть он сам стережет от зверя косяк буланых!

— Ие!

Аблай стоял над пылающим очагом. Он стоял с широко распростертыми руками, словно хотел перепрыгнуть остроязыковое пламя. Он был теперь высок и прям, как степная веха. Маленькая пастушья юрта, казалось, сорвалась с места и понеслась над притихшей полуночной степью. Она понеслась в безумном кружении вихря, и гортанные крики, сливаясь и разрастаясь, походили на призывный зов пастушьего рога, на зов, извещающий об опасности. Тогда вскочил и, вместе с пастухами возбужденно размахивая руками, закричал, путая свой язык с казакским, Роман:

— Сам. Сам паси!

[1] Аксакал—белобородый, почетная борода.

— Вот это здорово! Это я понимаю,—крутилась около очага Линка.

— Жюлдастар! Товарищи,—примиряюще поднял правую руку пастух Аблай.—Жюлдас...—хрипел он срывающимся голосом.

Но люди не слышали. Люди кружились, яростно потрясая обнаженными костлявыми руками, и, словно стараясь перекричать друг друга, надсадно и протяжно выли.

— Не пойдем.

— Сам пасет. Сам!

— Жюлдас,—крикнул Аблай и почувствовал, как в ушах зазвенели кузнечики.

Люди оторопело смолкли, осеклись. Они настороженно подняли головы и медленно опустились на рваные кошмы. Аблай вышел вперед, ближе к очагу. Пламя медлительно начало опускаться из-под дымохода, и там опять заблистал месяц, холодный и чистый, как собачья слеза. Подпасок Ералла сидел, забыв про туго сжатые кулаки. Он смотрел в глаза Аблая и вслушивался в его речь с жадностью немого. Он разжал закоченевшие кулаки и первым из всех сказал, когда кончил говорить пастух Аблай:

— Вместе с русскими пастухами нам будет хорошо.

Потом поднялся сухой и медлительный старик Койча. Он оглядел сидящих вокруг очага и повторил за подпаском:

— Будет хорошо.

Все качнулись и сказали:

— Ие.

— Товарищи казаки,—поднял руку Роман,—вместе мы—сила. Вместе мы не отдадим колхоза. Вместе мы—нас много. Мы не выйдем в поле. Мы не выйдем в общем и целом. И нас не посмеют задеть они...

Тогда поднял руку комсомолец Бектурган. Он огляделся и сказал:

— Один Ленин и все мы вместе.

Он посмотрел на портрет вождя, прикрученный к решетчатой стенке юрты, и опустился на землю.

Два секретаря—Линка и казак Койча—в две руки писали взволнованные протоколы одна на русском, другой на казакском языках. Аблай стоял с Романом и не знал, что ему говорить. Он глядел на загудевший очаг, и в открытых глазах его отсвечивало остроязыковое пламя. Люди смотрели на Аблая, и Аблай смотрел на людей.

Пастухи, подпаски и джетаки из аула Кара-Гат молчали—они не знали, о чем говорить.

На коленях секретарей перешептывалась с притупленными загнанными карандашами замученная бумага.

Говорить было не о чем...

Лампа, выпучив воспаленный совиный глаз, задыхалась в едкой копоти. Треснувшее стекло покрылось бархатными лоскутьями сажи. В школьном классе было тесно и душно, как на пятачковом сеансе районной кинопередвижки. Уродливые тени судорожно взвивались под низким потолком, падали на острые степные шапки казаков, на буйные русские папахи и лихие фуражки. На столе президиума поднималось огромное ведро с желтой болотной водой, и вода пахла птицей. Народ все прибавлялся, теснился, переругиваясь с тихой злобой.

Трахомный Онисим сидел верхом на рассохшейся пожарной бочке, что стояла около школьного крыльца, и кричал проходящим:

— Слыхали? Киргизы на наших комсомолах залежи перепахивать хочут. Вот пахарей, слава богу, отыскали!

Он вытягивался, приложив ладонь к низкому, вдавленному лбу, всматривался в посиневшую степную сторону и выкрикивал:

— Вон видите, уже напахали—черно.

— Черно?—ехидничали мужики.

— Комсомольцы залежи подняли,—кричал Онисим, ерзая на бочке,—десятин сто сплошняком легло!

Он повертывался к мужикам и корчился от смеха, безысходного, как сухой кашель.

Казаки сидели впереди, на партах, по-домашнему подобрав под себя кривые ноги. В горьком сумраке лица их казались круглыми, приплюснутыми. Они сидели строго и неподвижно, как сидели только раньше в байском юрте на поминках.

Собрание второй час билось в поту, в неистовой перебранке, в охриплых криках, и никем не замеченная лампа стремительно начала меркнуть.

— На даровую землю немаканных азиатов не пустим!—визжал Ларя Нашатырь.—Факт.

— Только пусти—они наробят.

— Киргизу кумыс лакать да по гостям шататься—ладно. Он тебе не дурак—землю рылом ворочать.

Аблай взволнованно теребил козырек русской фуражки. Ему казалось, что огромная туша Силантия Пикулина мечется под потолком, пробивается сквозь тугие звенья плеч на огромных ходулях. Роман стоял рядом с Аблаем, прямой и высокий. На его багровом потном лбу слиплись волосы, голос охрип, надорвался. Роман стучал карандашом по жестяной ручке лампы:

— Граждане! О чем спор, товарищи! Силой мы никого не тянем. Мы одни, в общем и целом...

Опять вскочил на подоконник Силантий Пикулин, сорвал с головы бархатную шапку и тяжело замахал длинными рукавами бешмета:

— Оно всем известно. Его зачала породистая англичанская свинья гражданина Окатова. Рупь сорок за случку! Он на осенях всю массыю хуторских свиней мог покрыть!

— Факт!—завизжал Ларя Нашатырь, спрятавшись за спину старшего Куликова.

— Он был оставлен для приплоду, тот общественный боров. Это я могу сейчас заявить,—поднялся и сразу же сел старший Куликов.

— Советская власть стоит за культуру,—сорвался с подоконника Силантий Пикулин и, подскочив вплотную к Роману, затряс пухлыми кулаками.—У меня их сколько ты хочешь справок. Вот чего я, граждане. Я тебе не кулак. Я тебе не индивидувал. Мне контролку не приписывали—бог миловал, спасибо не на чем...

— Факт!—опять взвизгнул Ларя Нашатырь.

— За того борова полное бы тебе ослобождение. Племенной налогов, смотри, не платит. Про таких свиней декреты написаны.

Роман откинулся назад и вдруг со всего размаха ударил кулаком по столу. Консервная банка, в которой были налиты чернила, лихо подпрыгнув, шмыгнула на пол. Лампа задохлась, вспыхнула и потухла. Сухо треснула скамейка, и мгновенная тишина была оглушающей, как взрыв.

В темноте Роман задел локтем за согнутую руку Аблая и, зажмурившись, крикнул:

— Молчать! К порядку!

В дверях торжествующе вспыхнула лампа. Линка несла ее над головой с величественным спокойствием. Мужики осторожно сторонились, давая ей дорогу, и выжидающе молчали. Роман огляделся, сунул в карман карандаш и, качнувшись, поперхнулся словом. Но его опередил Аблай. Он быстро вывернулся из-за стола и, возбужденно размахивая руками, закрутился около передних парт, резко повышая голос.

— Он худой, Пикулькин,—кричал Аблай.—Знаим я. Ишо худой, так наш бай Наурбек. Как прищел Пикулькин в наш бай, так говорил. Говорил так: «Уй бай, уй пурмой!—захватил руками голову Аблай.—Пропадай наша—вся в артель пошла. Казак—да пошел, урус—да пашла. Бедняжка пашла, середняшка пашла, адин мы остался...»

— Ие, ие!—грянул разноголосый хор казаков.

— Так вот, так вот!—суетливо запрыгал около Аблая подпасок Ералла.—Пришла она, она,—ткнул он пальцем в сторону Силантия Пикулина,—пришла, кумыс пила, баран кушала, а бай сказал: «Помагай». Она сказала: «Помагаим!» Она вор! Она дурной!—закричал Ералла.—Баран кушала, а сам сказал—пастух украл, артель украл. На што так?

— Граждане!—выпрямился Роман.

— Разрешите, разрешите,—поднял обе руки Силантий Пикулин, протискиваясь к столу.—Разрешите за ради бога, мужики и граждане.

— Лишаю! Молчать! Не даю слова,—надсадно крикнул Роман.—Лишаю и баста.

— Видали?—снова прыгнул Силантий Пикулин на подоконник.—В своем, дескать, обществе и рта не разинь, а киргизу воля! Ладно!—Сурово поджав губы, опустился он на парту.

— Дожили!—заревели в один голос братья Куликовы.

На табуретке вырос бобыль Климушка. Он протер слезящиеся глаза и, выпятив грудь, рванул бороду.

— И воля! Толкуй, товарищ киргиз, толкуй и кумекай. Я, едрыть твою мать, тоже скажу. И мне запрету нет...

— Варнакам теперь первое слово.

— Пьяницам море по колено...

— А покойный Абрам Похлебкин все-таки тебя со сметаной поймал на собственном погребу. Было!—злорадно захлопал в ладоши трахомный Онисим, петушась вокруг Климушки.

Снова загремели, зарычали парты. Со свистом, ауканьем, ревом и визгом поднялась и заметалась задняя половина схода.

Казаки вместе с комсомольцами хуторской ячейки оцепили президиум и негодующе гудели, сжимая наглухо замкнутое кольцо. Кто-то уронил ведро. Водой окатили юлящего около стола парнишку, и взрыв хохота прорвал опадающий, суматошный гвалт. Кандидат комсомола, маленький веснущатый Кенка в обнимку с подпаском Ераллой вертелись около Романа и во всю глотку кричали каждый по-своему:

— Лишай их!

— К чорту!

— Не давай им пикнуть, кулакам чортовым!

К столу за Мироном Викулычем и бобылем Климушкой опасливой, неуверенной походкой подошел Михей Ситохин—большой любитель песен, скупой на слово и крутой на руку мужик. Он пробрался на сторону Романа и пробасил в самое его ухо:

— Ты меня запиши обратно, Романша. К себе, говорю. Так.

Он склонился над столом и нараспев стал диктовать Линке:

— Так. Две лошади. Один сосунец. Паров у меня полторы десятины.

Братья Куликовы еще долго петушились в дверях, надрываясь, орали о каких-то постромках. Силантий Пикулин задыхался от желчного кашля. Толпа неистово ломилась в узкие двери, словно спугнутая хлынувшим пламенем пожара. С овечьей дурью крутилась толпа в узком коридоре, жадно рвалась на улицу, и глухая злоба гудела, как пущенный вхолостую барабан молотилки. Под окнами вызывающе зачирикала гармошка.

Роман оглядел присутствующих строго и испытующе. За комсомольцами стояли в безмолвии бородачи и трое пожилых казаков в невероятно изодранных бешметах.

— Итого двадцать девять хозяйств,—облегченно вздохнул Роман, взмахнув списком.—Выходит, из них одиннадцать казакских, и...—он запнулся, беспомощно оглянувшись на Линку, и смутился, спутавшись в счете.

— Восемнадцать,—подсказала Линка.

Роман хотел повторить, но ребята громко захохотали. Мирон Викулыч, комкая в кулаке свою бороду, вздохнул прищурившись:

— Запарился.

Самовяз стрекотал глухо и неистово. Он выбрасывал на гладко подстриженные, жесткие грядки жнивы тугие снопы. Они все яростнее, все упруже махали крыльями. Казаки спешились, побросали лошадей не меже и гурьбой гнались за трактором. Они окружили прицепную машину, они кидались к снопам, недоверчиво ощупывали их, тянули шпагатные вязки, и глаза их заплывали от изумления. Так гонялись они за трактором несколько кругов и потом, когда на соседнем клине были пущены две лобогрейки, поскидали с себя теплые бешметы (с которыми не расстаются степные люди даже в одуряющий зной) и бросились следом за колхозниками к тучным снопам черной осоки, припасенной для вязки жнитва. За казаками один за другим, неуверенно, с оглядками начали отделяться от толпы и русские. Бабы на ходу подбирали неувядаемые подолы воскресных юбок и, сверкая оголенными икрами, легко и ловко перехватывали травяными опоясками набухшие горсти подкошенного хлеба. Капитон Норкин бросил своего горбунка, заломил на висок картуз и тоже взялся за вязь. Вязал он бойко, проворно и подмигивал девчатам, бахвалясь:

— Умей так сноп затянуть. Это не сноп—огурчик,—подбрасывал он его на вытянутых руках.

Бригада Аблая в составе пяти аульных комсомольцев стала на вязку снопов вместе с бригадой Луни. Отсутствие производственной сноровки впервые вышедших на уборку казаков внушало серьезное опасение Аблаю. Внутренне он даже был убежден, что им, пожалуй, трудно будет устоять против шести лучших русских вязальщиков, репутация которых твердо была упрочена долголетней практикой на горькой поденщине. Это были отборные жнецы, мастера серпа, прослывшие на степную округу и некогда кочевавшие по постатям дальних отрубов. К казакам относились они со скрытым враждебно-ехидным предубеждением, видя в них до смешного слабых и заранее обреченных на поражение соперников. Луня косился на серьезно-строгого и сосредоточенного на какой-то одному ему ведомой мысли Аблая и, перемигиваясь с беспощадно спокойными, преисполненными сознанием собственного превосходства мужиками, он кривил сухие губы, тронутые иронической улыбкой. Украдкой он оглядывал выжидающих, омертвелых на меже казаков и, чуть покачивая головой, мычал:

— Да-а-а-а, поглядим, посмотрим...

Хлеб был густ, темен и тяжел. Спутанный ветром, он разметался по полосе и, одурманенный хмелем созревания, вылег. Это усложняло работу машин, и после пробного заезда решено было косить полосу только с трех сторон, так как западную сторону вязать лобогрейками было невозможно. Машинные косы с глухой яростью обжигали буйные космы стеблей под самые головки, а местами совсем вхолостую щебетали поверху—так плотно лежал праидвленный ветрами и собственной тяжестью до звона наспевший хлеб.

Бригады поделили между собой все три стороны поровну. Волнение, которого не могли скрыть казаки, скоро передалось и бригаде русских. Сам Луня без-толку суетился около машин, вертел новые «косоножки», позабыв о торчавших во рту окурках, и поминутно пересчитывал туго протянутые к бедру травяные вязки.

Невозмутимо спокойной и подобающе недоступной была только одна Кланька. Она стояла на меже подбоченясь, и огромные бедра ее лоснились на солнце, как бока выкупавшейся лошади. Сноп вязок висел у нее за спиной, вытянув упругие птичьи шеи. Кланька расточительно дымила огромным окурком, поднятым на дороге, и не отвечала на смятенные окрики своего бригадира, относясь к нему с явным презрением и недоверием.

Пронзительный свист погоняльщиков, приглушенный щелк кнутов и яростный свист пущенных в работу машин вспугнули подорожников. Лобогрейки поплыли, разрезая взволнованный

прибой хлебов тяжелыми взмахами своих крыльев. Первые три круга вязальщики нетерпеливо кружились по межам, а потом, разбившись по звеньям, заняли свои места, и началась вязка. Люди, вытянув над головой зеленые пояса вязок, падали на спутанные горсти хлеба, ловко перехватывали их поясами и туго перетягивали под резким нажимом колена. Было такое впечатление, будто бежали они следом за машинами, одержимые смятением, и падали на горячие горсти пшеницы, точно боялись выпустить из-под рук подстреленную трепетную птицу.

Луня метался на округленном выступе полосы, легко подбрасывал на вытянутых руках снопы, любуясь собственной вязкой. Казаки работали молча. Первое время у самого Аблая часто рвались вязки, он нервничал, путал снопы, не успевал заправлять колосья, выбился из своего звена и, растерявшись, начал отставать от ребят, успевающих за машиной. Но потом, отдышавшись, расправил вязки, и работа пошла уже ровнее и увереннее.

Луня, охваченный ликующим волнением, скоро почувствовал тупую боль в спине и втайне непрочь был уже присесть на сноп и захватиться папироской. Но машины в неумолимом стрекоте кружились, кружились без запинок, без остановок, не поперхнувшись ни одной неполадкой. Лица стариков побагровели от пота, беготни и надсадной натуги. Липкий, соленый пот заливал глаза, склеивал веки, и рты их, стянутые жаждой, полны были горького, одуряющего полынного запаха. Они чувствовали, как заметно слабели и подсекались ноги, как тяжелели руки, как вырывались из них непослушные вязки, и Луня, задыхаясь, ругал не ведая кого и за что.

Климушка проскользнул мимо него.

— Погнали! Дорвались тоже,—крикнул он, махнув рукой в сторону лобогреек.

Но Луня ничего не ответил, хотя и сам теперь искренне хотел, чтобы задержала машину какая бы там ни была неполадка— все равно, только бы скорей эта желанная передышка, без которой, он чувствовал, силы ему изменят, и через круг-два он уже не станет успевать за машинами. И тут он вспомнил о казаках. Он вытянулся и увидел их, мелькающие по ту сторону полосы, обнаженные головы и бронзовые руки, вытягивающие упругие пояса вязок. Мысль о том, что там, по ту сторону полосы пошла работа быстрее и чище, мысль о том, что к концу работы он пойдет со своей бригадой пораженный и осмеянный гортанными голосами победителей,—эта мысль на мгновение привела его в состояние, близкое к безысходному стыду обнаженного на людях человека. Правда, он тут же уцепился за кон-

чик скользнувшего в его сознании оправдания: «Ну что ж, скажем мы в случае чего,—размышлял он,—жнецы мы первой руки,—правильно. С серпом нас не перетягаешь. А за машиной дело для нас непривычное, немолодое»... Но и это оправдание так же стремительно погасло в его сознании, как и вспыхнуло.

— Не сдадим, гражданка!—подмигнул он Кланьке, сверкающей оголенными икрами.—Не сдадим!—кричал он и, задыхаясь, падал на новые горсти хлеба, все туже и яростнее перетягивая их зеленой опояской.

Казаки по пояс обнажили свои меднокожие тела. Они крутились по жниве, как заведенные, словно их порывистые движения были высчитаны и строго предопределены проникновенным глазом. Украдкой, на бегу, они тоже косили ревниво узкие глаза на противоположные стороны полосы, и каждый из них боялся думать о своем поражении...

Снопы, сонливые и сытые, лежали в беспорядке, словно свиные туши, и было приятно оглядываться на пройденный путь, густо усеянный трофеями этого горячего наступления. А стена хлеба все отступала, откатывалась дальше и дальше в глубь полосы. А ослепительное многоликое солнце плыло на юго-запад, и косые тени вырастали, призывая прохладу уже блуждающего неподалеку вечера.

Первым не выдержал Климушка. Второпях он разорвал подряд пять вязок и, злобно сплюнув, коршуном налетел на Луню.

— Э-это што такие распорядки!—заревел он, захлебываясь гневной слюной.—Азиятам, им хорошо. Поставили орду на ветровую сторону—добро орде...

— Одна сатана,—махнул рукой Михей Ситохин и умоляюще поглядел на Луню.

— Одна-а,—передразнил его Климушка.—То на ветру горсть, то под ветром. Там она горсть, сжатая, сама под вязку лезет.

— А ты меньше толкуй,—осуждающе кинул ему Луня.

Климушка долго еще крутился на месте, плевался, неизвестно зачем связывал комли вязок и, заметив неубранную свою постать, разбухшие, поднятые ветром горсти пшеницы и обогнавших его товарищей, вдруг бросился на первую горсть, поднял ее на вязку, и снова снопы один за другим полетели из его поцарапанных старческих рук. Но сколько Климушка ни напрягал последних своих сил, сколько он ни рвался вперед—скоро понял, что все попытки его нагнать Кланьку будут бесплодными. Он уже совсем было озлобленно и пристыженно хотел бросить вязки, выматериться и убежать с полосы, но в это время его вспугнул знакомый оклик:

— Пристала ваша,—сказал Ералла,—отставай ваша.

— Я те, азият, поизгаляюсь,—замахнулся на него вязкой Климушка.

— Не ругай,—погрозил ему Ералла и, ощерившись, спросил:—Помогим ваша? Карашо?

Климушка опять хотел выругаться, но обидного слова ему на язык не подвернулось, и, отдышавшись, он пробормотал:

— И то... хоть бы на вязку горсть положить.

Ералла выдернул из-за пояса Климушки вязку и положил на нее первую горсть. Потом он отскочил в сторону и словно отдал команду:

— Завязывай!

Климушка перетянул сноп. И через несколько минут работали они уже дружно и молча, заметно подавшись вперед. Так они нагнали Луню, перегнали двух стариков, путавшихся в пышных горстях пшеницы, и не могли настичь только одну Кланьку. Попрежнему шла она бойко и быстро вдоль шеренги горстей, ловко перехватывая их вязками, и, оглядываясь на отстающих, презрительно плевалась. Вдруг приглушенный стрекот лобогреек оборвался и замер. Гортанный окрик просек лиловую прохладу вечера.

Луня выпрямился, разбросал руки, и к ногам его повалились вязки. Кругом лежала обнаженная жнива, и тучные снопы разбрелись по ней, подобно овечьей отаре.

Луня протер глаза и оглядел противоположную сторону, на которой работали казаки. Он прикидывал ладонь козырьком ко лбу, приседал, вытягивался на носках, покачивался из стороны в сторону и с тревожным недоумением оглядывался на мужиков, онемевших над недовязанными горстями хлеба. Климушка стоял с приподнятым на вытянутых руках снопом, ошеломленно прислушивающийся и растерянный.

Кланька поставила ногу на последний затянутый ею сноп и медленно поводила плечами, точно готовилась пуститься в пляс.

Бригада Аблая с ликующим визгом, свистом и ауканием летела на сторону Луни. Казаки колесом крутились по жниве, кувыркались через головы, торжествующе размахивали вязками.

Луня испуганно поглядел на Ераллу. Ералла прищурился и сказал, указывая на казаков, бросившихся на помощь отставшей бригаде:

— Она карашо вязай. Она победила. Она прищла помогай ваша.

Луня медленно опустился на сноп, точно оглушенный ударом.

В. ГУСЕВ

РАЗГОВОР МОСКОВСКОГО КОМСОМОЛЬЦА С АМЕРИКАНСКИМ ГОРОДОМ ФИЛАДЕЛЬФИЯ

Обанкротилась Филадельфия—третий по величине город в САСШ.

Я с завода АМО рабочий,
Я на заводе загружен очень,
К тому же—молодые мои года,—
И дальше теплого города Сочи
Не путешествовал я никуда.
Но о тебе я слыхал немало,
Рядом с тобой шумел океан,
Ты небоскребы свои вздымала
к звездам,
к небу,
в тучи,
в туман.
И—украшение звездного флага! —
Ты и не думала обо мне,
После Нью-Йорка и Чикаго,
Третья в Америке по величине.
По улицам бегали юркие форды,
Гудели сирены в вечернем огне,
Катались банкиры, довольные, гордые,
Третьи в Америке по величине.
Скользили лакеи—верх
старанья!
Дамы купали губы в вине,
Гремели оркестры в твоих ресторанах
Третьи в Америке по величине.
Маклеры делали верное дело,
Тихи заводы. Биржа крепка.
И ты, вероятно, на нас глядела
И, ты, безусловно, на нас глядела
Что называется—свысока!
Дескать,
где-то,

в прошедшем времени,
Грязны,
невежественны,
дики,
В одноэтажной своей деревне
Чахнут московские большевики.
А у меня, мол, все сыты, одеты,
У каждого счастье,
квартира,
камин.
И сам президент обещал, что это
Будет во веки веков.
Аминь!
Но прошли времена! Не воротятся!
В плаче,
в грохоте
и в огне
Идет по кварталам твоим безработица
Первая в мире по величине.

И, голодая во здравие хозяина,
Больных укачивая детей,
Чернеют рабочие твои окраины —
Первые в мире
по темноте.

Автомобили спят на стоянках,
На пристанях твоих нету огней.
Ты становишься, американка,
Первою в мире по тишине.
Прочно забиты кассы глухие.
Учителя—молодые, седые
Просят милостыню при луне.
Ты обанкротилась,
Филадельфия,
Третья в Америке по величине.

Зимнее утро встает над Москвою,
Над заводом моим,
надо мною.
Идут в цехах упорные бои,
И выезжают, любуясь собою,
Молодые автобусы твои.
Шоферы веселые моторы заводят

И—на работу без лишних слов,
И улыбаются им заводы
Светлыми окнами новых цехов.
И по асфальту бегут они скоро,
А по утренним улицам,
чорт возьми,
В полном составе шагает в школу
Все население старше восьми.
Скрипят в Сокольниках крепкие
лыжи.
В парках культуры—народу
тьма.
Вот только дома у нас —
времени ниже,
Ниже пятилетки у нас дома.
Но разве этим нас остановишь?
Не может Москва двухэтажной стоять.
И вот предлагает нам Каганович
Слегка
белокаменную приподнять.
Мы принимаем это заданье,
Мы работаем, сил не щадя,
И превращается в сотни зданий
Большевистская мысль вождя.
Мы рушим хибарки, которые
ветхи,
Домам прибавляем этаж и два,
Так поднимается в рост пятилетке
Молодая моя Москва.
Что ж, конференция,
подводи итоги!
В стройках итоги гремят
велики,
Это по ленинской дороге
Идут московские большевики.

А я вот сижу, и так я думаю
(И кое-кого эта мысль
потревожит)—
В филадельфийских трущобах
угрюмо
Сейчас заседает компартия тоже.
Ну что же, что тянется фашист-
погромщик!

Компартия Америки на посту.
И голос ее все громче,
громче,
И силы ее растут,
растут.
Она проходит сквозь годы глухие,
Знамя развертывая свое.
Твое спасение,
Филадельфия,—
Московское будущее твое.
Поднимут ребята знамя над
городом
(Не так уж минута эта далеко.)
Они, вероятно, встряхнут тебя
здорово,
Они, безусловно, встряхнут тебя
здорово,
Как полагается большевикам.
И сразу ты сделаешься веселее,
Улыбка появится на лице,
Когда начнется переселение
Из рабочих окраин —
в центр,
И будут смеяться наши ребята,
Когда под конвоем,
пешком,
в тишине
В тюрьму проследует твой
губернатор,
Третий в Америке по величине.

Ну, а дальше—готовь квартиру.
Я отпуск возьму и в порядке
буксира,
С парой-другой таких же парней,
Подамся на ту половину мира
Помогать перестройке твоей.

К. ГОРБУНОВ

ЛЕНЬ

В гуще ковыля давно отыграли свои громкие свадьбы пернатые таборяне. Подростив выводок, они снялись со становищ и уплыли в полуденную сторону, простившись со степью взмахами бесчисленных крыльев...

Осенняя тишина целый день томила пустынную равнину. К вечеру внезапно засвистел резкий ветер. Потоки его, крепко прогоркшие прелым полынком, стремительно несли обрывки тончайших нитей паутины, пенились белыми пузырьками позднего одувана. Одинокий покатун тронулся с места и неуклюже закувыркался ежистыми колючками по дороге, совровождаемый легкими струйками пыли. Дружно шелохнулся выгоревший ковыль. Насколько глаз видит, помчался степью рыжеватый вал, где-то на горизонте плеснулся он о голубой берег, и сухой шелест этого прибоя послышался у шалаша.

Жук—небольшой черный пес—вскинул голову и, тревожно поиграв ноздрями, заскулил. В дрожащих подвываниях так понятно звучала тоска, что Лушка оторвал бездумные глаза от костра, огляделся вокруг... Ничего особенного. Прямо перед ним повис на железном крючке треножника котелок с картошкой. Языки пламени суетливо облизывают с его боков жирный нагар. Немного левее сгорбатилась крыша шалаша, истлевшая от зноя и непогоды. На колышке у входа уныло опрокинут вниз горловиной кувшин с отбитой ручкой. В обруче калды, скрученном из тонких жердушек и лыка, пестреют разношерстные спины телят. Возле шалаша лениво разлеглась дорога, вдалеке она, несколько оживившись, взбирается на склон кургана. Вершину кургана тяжело нахлобучило чугунное облако, обагровленное со щербатого края холодной ржавчиной заката. Окрест, под стынущим осенним небом, раскинулась дикая степь. Ветер, гнетущее одиночество. Скоро приползут со всех сторон белесые сумерки, и от них, как от дыма, будет пощипывать у мальчишки глаза, першить в сдавленном горле. Все по-старому...

Но Жук не унимается,—припав на передние лапы, лихорадочно царапает землю. Из-под когтей брызжет в ноздри пыль, корешки трав, собака брезгливо фыркает и чихает вперемежку с воем. Подозрительно держится и стадо. После вечернего во-

допоя телята обычно лежат, старательно жуют жвачку. Сейчас все они на ногах, сбились в круг: головами—друг к другу, хвостами—к ветру. Белоснежная Резвуха, задиравшая подруг даже ночью, забилась в самую гущу косяка, понуро свесила к земле голову. Сдержанная и спокойная Красуля без надобности хлещет хвостом по рыжим крутым бедрам. Вожатый стада—пестрый Галах стоит на отлете. Положив морду на жердушку, бычок печально смотрит вдаль огромными, синеватыми глазами; на широком лбу его, там, где пробиваются рога, вздулись, будто от глубокого раздумья, жесткие бугорки.

— Жук,—позвал пастущонок,—ты чего на мое сердце тоску наводишь?—Голос у Лушки, от постоянных криков на пастьбе, хриплый, точно простуженный.

Пес подполз на брюхе к хозяину и оскалился, скроив подобие смущенной улыбки. Лушка ободряюще потрепал его ершистый загривок.

— Чай не первый день нам в степях сидеть.

Что может ответить Жук? Да, не первый день несет он свою хлопотливую службу... Годовалым телятам утомительно пастись в общем стаде, к тому же коровы забодают—и молодняк угнали на все лето в луговую степь. Для охраны этого живого богатства отрядили взрослые люди маленького, состарившегося Жука и—не по летам широкоплечего Лушку; телятам сделали калду, Лушке и Жуку—шалаш.

Каждый рассвет встречается ударами кнута. Восток пугливо бледнеет от громовых раскатов. Жук, зябко стряхнувши холодную росу, бежит в калду, озабоченно снует в ногах стада, помогает выгонять его на пастьбу. В полдень степь молчаливо изнывает от зноя, земля суха и горяча... Доведенный жарой и слепнями до исступления, неразумный телок ударился, задрав хвост, куда глаза глядят. Надо нестись стрелой и притворно яростным лаем, прыжками перед самой мордой заворачивать беглеца обратно. Едва приляжешь после этого, жарко высунув язык,—знакомо слышится приглушенная команда:

— Жук, ищи!

Значит, хозяин заметил по колеблющимся верхушкам, как продирается сквозь разнотравье осторожный дергач.—Подкрадывайся к нему, да чтоб собственного дыханья не было слышно.

Степная призрачная ночь сдержанно дышит под звездами тысячами робких шумов и шорохов. Жук бодрствует на клочке сена у калды, чутко слушает шопоты ночи и, в случае надобности, отвечает угрожающим рычанием.

Сладкие часы отдыха выпадают лишь после вечернего водопоя, пока не смерклось. Можно лежать, подставив бок лас-

ковому веянию от костра и дремотно прищуренным оком наблюдать загадочную игру пламени, нюхать остро пахнущий дым. Хороши еще дождливые дни: не надо беспокоить стадо. В полутемном углу шалаша грезятся, под мягкое шуршанье в крыше, сытные обеды и беззаботные утехи далекого детства. Но много ли дождей летом в степи?.. Очень тяжела собачья жизнь! Однако Лушка не может пожаловаться: изо дня в день Жук честно выполняет свои повинности, только сегодня вот не может совладать с собой,—в коричневых глазах мерцают огоньки испуга, хвост поджат. Что же поделаешь, если смутная тоска обуяла сердце.

Ветер загустел. Ковыль колотится головками о землю. Курган, нахлобученный облаком, похож на огромный гриб, мрачно выросший от земли до неба.

Тревога собаки незаметно передается и Лушке. С затаенной грустью смотрит он на дорогу, курящуюся пылью. Скоро ли можно двинуться по ней впереди стада к родному Агапкину и окинуть прощальным взором покидаемое пастбище? В эти часы улицы села оживлены. С граблями и вилами на плечах возвращаются с гумен молотившие люди. Они веселы и говорливы от сделанной работы, предстоящего ужина и отдыха. Трубы курят сладковато-сизые кизяки, пахнет разогреваемой пищей. Замигают в сумерках первые огоньки, от околицы тронет за сердце тихий всхлип гармошки, и поплывет в темнеющее поле задумчивая песня. Поужинать бы горячей лепешкой с парным молоком, покрутиться со взрослыми на посиделках, а потом выйти на берег речки, вдохнуть полной грудью ночной туман и—спать, спать на сеновал, под теплый тулуп! Впросонках услышишь, как шевелятся за стеной на шестах куры, сопят две овцы; напоследок стукнет мать засовом запираемой на ночь калитки... Здесь же лютует ветер, шумит трава, щемит сердце одиночество.

Лушка решительно тряхнул головой—так, что закачались черные лохмы на огромной барашковой шапке, подбросил в костер охапку сена. Пламя вымахнуло над котлом, медный блеск разлился на обветренном и курносом лице пастушонка.

— Жук!—нарочно громко позвал он.—Нельзя, дело строгое, обчественное.

Собака насторожила уши. За шалашом, на дороге послышался дробный стук колес. Подросток посмотрел на свой календарь, что маленьким частоколом расположился возле костра и просветлел: из семи палочек шесть надломлены—нынче суббота; должно быть подъезжает бригадир скотного двора дядя Обросим Толоконкин, везет хлеба; возможно, останется ноче-

вать и утром—тут радостно торкнулось в грудь Лушкино сердце—скажет:

— Ну, погоним показывать правленцам нашу заботу.

Колеса смолкли. Пастушонок проворно вскочил, и радость погасла, зачадив дымком огорченья. Из-за шалаша показалась лысая фыркающая морда чужой лошади. Лушка вздрогнул: лошадь разнуздывал Перфишка Бардин.

— «Сейчас драть будет», перепугался парнишка.

В детстве Перфишка упал с телеги под колеса и на всю жизнь остался со следами увечий. Красный шрам перекосил ему верхнюю губу, а сросшаяся сломанная нога стала короче. При каждом шаге Перфишка порывисто опускает левое плечо и поднимает правое. От шрама кажется, что он все время улыбается калечеству своему безжизненной, нехорошей улыбкой. Девушки и ребята нелюбили его за уродство, а, главным образом, за отцовскую кляузность и злопамятство в характере и дразнили трегубым. Он старался купить расположение водкой, синим картузом и витиеватыми речами, кои перенял из плохих книжек и от городской родни. Но это не помогало. В конце угощенья приятели старались улизнуть, а девки о нарядах его отзывались: «корове и бархатное седло не к лицу». Весь холостой век скоротал парень озлобленно и одиноко. При сватовстве не спасло и богатство отца: родня долго и бестолково околачивалась в домах, где были невесты; напоследок остановились на длинном и костлявом перестарке. Незадачливая женитьба не принесла почета среди пожилых и увеличила насмешки молодежи. Уродство мешало Перфишке мстить взрослым обидчикам, оставалось срывать всю злобу на ребятишках. Сначала преследовал только того, кто кричал ему вслед унизительное прозвище, впоследствии возненавидел все непоседливое и верткое племя малышей. Страшная кара обрушивалась на каждого встретившегося подростка. Затрещина была бы пустяком,—Трегубый не бил, а истязал: задирал маленькие волосики на затылке, «показывал Москву»; чугунными ладонями жал виски, допрашивая: «спелый арбуз, трещит?»—и прекращал пытки лишь после того, когда жертва, изошедши воем, полумертвой грохалась к его ногам.

Недалеко от Лушкина стана Перфишка для опыта посадил на дикой земле картошку. Утром Лушка выкопал несколько корней, и сейчас именно эта картошка варится в котелке. Хозяин возвращается, вероятно, с осмотра своего клина, воровство, конечно, обнаружено; вор налицо. Униженно молить о пощаде бесполезно, и Лушка стоял, затаив дыхание; нелюдимо поблескивая потупленными глазами; беда нагрянула так неожиданно, что мысль о бегстве не успела даже возникнуть.

Повернувшись на пятке здоровой ноги, Перфишка заковылял к костру. На безбровом лице его сияет равнодушная улыбка. Лушка знает ей цену: улыбаясь таким вот образом, парень схватил прошлой зимой на улице ни в чем неповинного пастушонка и драл за уши до тех пор, пока из мочек не брызнула кровь; в заключение натер уши снегом и пригрозил:

— Всем зябликам будет такая мука.

Перфишка приближался, похлопывая кнутовищем по сапогу. Невольно взглянув на рубцы, остающиеся от ударов на пыльном голенище, Лушка сцепил зубы, прошептал:

— Ни за что не сознаюсь.

Против ожидания, истязатель миролюбиво предупредил:

— Небось, не трону! По банным дням я людей не мучаю, будет всем прочим известно.

Подойдя вплотную, снял как перед взрослым картуз, насмешливо поклонился:

— Мухе-ягоде, сердешное представленье!

Лушка не ответил, у него подрагивали тонкие губы.

— Чего гордишься, если я до тебя первый снизошел?— упало сверху ему на голову.

— У меня имя есть,—глухо отозвался пастушонок. К чему отвечать на всякое прозвище?

— Имя!—воскликнул Перфишка, презрительно прищурясь.—Какое твое имя? Нистожность и рабство. Так, для отлики от мира животных только, истинная правда.—С трудом опустился на корточки, бесстрашно взял из костра тупыми пальцами уголь. Чмокая губами окурок, бубнил:—До Лукьяна недорос, Лукашка,—утомительно, вот и кличут тебя по бабьи—Лушкой.—Парень оглядел нескладную фигуру пастуха и заключил:—Как перед господом, правильно делают. Морда у тебя подносом, а нос граммофоном. Фасад демисезонный, словно у девки на выданьи: зад толстый, а ноги в заду короткие. Откровенно говоря, как хошь, так и клади. Что!—зычно заржал он,—резкая копия с масляной карточки?

Похабства в характеристике Лушка не уразумел, однако заподозрил в ней такую обиду, что, задохнувшись от собственной храбрости, сдерзил:

— Какое ни на есть—имя, другие вплоть до женихов с прозвищем гуляют.

Намек был прозрачный, но Перфишка ограничился благодушным кивком на кнут, зажатый подмышкой.

— А все-таки робко трепещешь.

— Тебя во сне и то испугаешься.

— Определенно,—согласился парень.—Я мрачный... Скушные мечты у тебя здесь...

— На гармошках не играют.

— И дикие волки должно быть воют по ночам?

— Ручные здесь не водятся,—и пастушонок, осмелев от первой, прошедшей безнаказанно дерзости, добавил, притронувшись к уху.—Другой человек хуже зверя.

— Помнишь еще?—самодовольно осведомился калека и заговорил, сладострастно наблюдая, как бледнеет лицо парнишки.—Это допотопный факт, что иной человек—кровожадней зверя. Вообразительно, решил я возрастить плоды—картошку и мечтаю ее кущать. Волк пробежал—не тронул, лев прошелся—понюхал только. Непреложно! Скажи мне теперь, беспощадный кулик, какой это сукин сын выдрал на моем участке двадцать курней?..

— Не двадцать, а только пять,—неожиданно для себя угрюмо признался Лушка.—Вот она, варится в котле. По штукам перечти и возьми, если жалко.

— В сыром естестве отдай. Слышишь?

Лушка молчал, сам томясь своим молчанием. Перфишка утешил:

— Ладно, жри. Сказал—не бью, и твердый факт. Вернешься в деревню, за все перетерпишь. Изображу я для зябликов новое мордованье. Называется—снятие со Христа плащаницы. Нравится?

Из котелка густо валил пар: вода выкипала. Кожура верхней картошки ядрено треснула, обнажив рыхлый желток. Набить бы рот его густо-посоленной, горячей мякотью, да разве полезет в горло кусок при Перфишке. Лушка украдкой глотал голодную слюну. Трегубый в упор смотрел на него серыми, холодными глазами, придумывая какое-то погубительство.

— Страшно тебе тут живется?

— Скоро дядя Обросим приедет, хлеба привезет.

— Ни в коем разе. Они теперь сами жрут, а народ для них физически подыхай. Матери твоей, скажем, за все лето куска не брякнули, а тебя—малую дитю—политически в степь на растерзание сослали.

Лушка знал, что матери выдавали за работу зерно, о ссылке своей держался тоже особого мнения, все же выжидал с ответом, стараясь разгадать, куда ведет лютый мучитель. Тот, осторожно оглянувшись, вполголоса продолжал:

— Ныне в степях большого страх знобит, не то что малолетка. Сказывают, повелась здесь отчаянная зверуга: восемь

ног, три башки. Безусловно. Жила семьсот годов на горе Афон и щипала травку, а как теперь и там пошли колхозы, то житья ей не стало и сошла та зверуга на землю. Чуешь?

— Мало ли что болтают,—уклонился Лушка.

— Привирают,—охотно согласился рассказчик,—науку на колхозных собраниях превзошли... Да ведь если две башки и то тяжело... Увидела она, что на земле тоже советский факт и заскучала. Ходит в расстройстве по ночам, встретит человека—хрясь и голова напрочь. Непрекословно!

Он помолчал, чая насладиться впечатлением. Лушка скучающе шевелил палочкой угли в костре.

— Сел бы ты сейчас со мной на лощадь,—неожиданно предложил Перфишка,—и домой. В бане бы нежно помылся, постригся. Поди нечистот расплодил, опять же волосы не текущего дня: что у монаха.

— Как придет зима—отмоюсь и подстригусь.

— Непредвиденно. Если живность сохранишь, так они тебя двор чистить запрягут. Поедем, что ли?

Пастух недоверчиво покосился, а искуситель продолжал:

— Я в страсти прихожу, когда разнервят, а по нутру—жалостливый. Гляжу, мальчишку в запустенье привели... Завтра праздник.

Праздник... В читальне целый день веселая толчея, приедет кино. Один только день побыть на людях, встретиться с приятелями, а после—опять сюда. Неужели за все лето не заслужено это удовольствие? Встать завтра рано утром, надеть чистую рубашку, новые ботинки... Ботинки! Лушка в замешательстве поправил шапку. Под рукой, в тулье зашуршала знакомая бумажка и вернула к жизни.

В конце зимы в кооператив привезли пять пар подростковых ботинок. Желающих купить их оказалось много больше. Чтобы не делать среди колхозников раздора, кооператив передал обувь комсомольской ячейке. Четыре пары распределили комсомольцы самым нуждающимся школьникам, а пятую, что побольше и самую нарядную, оставили при ячейке. На другой день секретарь Осярка Горюнов—парень, сам знающий толк в форсе—вызвал Лушку на комсомольское собрание и обратился к мальчишке с такой речью:

— Лукьян, тебе тринадцать лет и ты полное дитя революции. Три года батрачил ты в подпасках на кулацкую часть населения, но теперь колхозная система нарушила такое противоречье. Твоя огромная теория и практика животноводства подсказывают тебе, что молодняк нельзя пасти в общем стаде. Всесторонне обсудив вопрос, ячейка решила, Лукьян, дове-

рить тебе на все лето охрану подшефных телят. Хороший нагул скота и его целость—значит хорошая про нас слава. Погубишь хоть одну голову—враг ударит в ладоши. Держись, Лукьян!—воскликнул Осярка и, передохнув, продолжал:—И мы решили дать тебе авансом за твердую службу вот эту маленькую премию.

При гробовой тишине, оратор достал из стола ботинки и вручил их Лушке. Хром отливал черным глянцем, пышно пахла хорошо проделанная кожа и блестели металлические застежки. Парнишка прижал к груди обеими руками подарок, а секретарь закончил:

— Ходи в этих ботинках по ярким следам комсомола. Попасешься—будет тебе от нас главная отлика: ты получишь тот комсомольский билет, о котором усиленно мечтаешь, невзирая на твою молодость. Крепко помни про наш наказ. Теперь иди домой и обдумай всесторонне свою задачу. У нас начинаются сейчас закрытые дела, про которые ты будешь знать, когда получишь тот билет.

Кто-то восторженно кричал над ухом Лушки, хлопал по плечу, а он, потрясенный всем происшедшим, молча прижимал подарок, и слезы накрапывали с его дрожащих ресниц. Захваченный торжеством не меньше Лушки, Осярка взял его за руку и вывел на улицу. Он, как во сне, покорно следовал за ним, так и не сумев ответить ребятам ни одного слова благодарности за устроенный для него светлый праздник.

Дома Лушкина мать Елизавета—женщина худая, смолоду пожелтевшая от лощадиного батрачества на богатых,—без слов приняла ботинки и отнесла за перегородку в сундук. Выйдя из чулана, сердито заправила под платок первую поседевшую прядь и вновь набросилась на чугун, протирая его толченым кирпичом, разговаривая с посудиной:

— Вот и ты, сирота, в люди вышел и начал сам себя обувать. У вдовы—мозоль, а сирота на вершок выше. Вот и не погасли ночные мои думы.

Бросив чугун, подбежала к сыну, привычно крикнула:

— Пожри да спать ложись!

Лушка не стал ужинать, не лег спать; смотрел на лампу, губы его беззвучно шевелились, грудь распирало гулкое ликованье сердца. Если бы в эти минуты начали заряжать при нем самую большую пушку, то и это не вывело бы его из сладкого забытья. Скоро сядет он на скамейках рядом со взрослыми ребятами разбирать дела всего колхоза, поднимет руку за то, что нравится, и против того, что сочтет ненужным, может попросить даже слова и высказаться, а все будут молча слушать.

Когда мать, почему-то забыв погасить лампу, улеглась спать, Лушка взял бумажку и по памяти записал речь, произнесенную Осяркой; некоторые, наиболее высокие слова, при переписывании, врезались в голову на всю жизнь. Он подпорол у шапки тулью и спрятал запись. В тоскливые минуты одиночества в степи доставал бумажку, перечитывал; это утешало его...

Вот и теперь, при обдумывании коварного предложения Перфишки, бумажка шуршанием своим напомнила Осяркину речь, что решило исход внутренней борьбы.

— Ходи по ярким следам комсомола,—пробормотал Лушка.

— О чем ты?—полюбопытствовал Перфишка, падкий на всякую вновь услышанную заковыристость.

— Горюю, дядя Перфил, кто скот наш будет беречь, если домой уеду?

— Нисходительно наплюй. С тебя спросу по росту.

— А потом что?—вызывающе осведомился пастушонок.

— Помчимся в баню.

На всякий случай Лушка отступил несколько шагов и, выпрямившись насколько мог, заговорил, бесстрашно глядя прямо в лицо врагу своему:

— Вот я скажу, что дальше будет. Повезешь ты меня по всему селу и будешь крепко держать, чтоб не спрыгнул. Всякому встречному и поперечному покажешь на меня и закричишь: «Вот какой ваш колхозный пастух, глядите! Бросил телят, убежал. Пропадете с вашими порядками»...

— Явно все с голоду подохнете!—грубо оборвал Перфишка.

— Сперва тебя задавим!—отчаянно гаркнул Лушка.

Трегубый поднялся, с неуклюжей поспешностью взмахнул кнутом.

— Только выполз, а зубы, как большой обнажил.

Жук ощетинился, зарычал. Лушка отбежал в сторону и, приостановившись, продолжал кричать:

— Ты не смей, слышь! За картошку можешь бить—никому не скажу, а за это не смей. Нажалуюсь. Тебя за это вдогонку за папашей пошлют. Ты лучше уезжай без греха.

Ожесточенно матерясь, парень заковылял к лошади. С телеги, потрясая кнутовищем, грозил:

— Превосходно! Ты у меня заявись в село,—я над тобой восхищусь. Опыты со смертельной каруселью произведу. Будьте покойны!

Вздрагивая от возбужденья, Лушка без сожаления провожал взглядом дымящую пылью телегу, слушал затихающий перестук колес. В костре защипело, он бросился к своему вареву

И во-время: вода выкипела и чугунный котелок угрожал треснуть. Разостлав в шалаше мешковину, пастушонок вывалил на нее разомлевшую картошку, снял с колышка кувшин и пошел за водой.

На склоне оврага покоится огромный белый камень. Вековые морщины его густо запорошены пылью, отдыхавшие птицы покинули на нем серебреные гривенники помета с присохшими пушинками. Из неведомых глубин с земли звонко булькает у подножия камня прозрачный, знобящий зубы родник. По желобку, выстланному толченой галькой, вода льется в круглый водоем, а переполнив его, стекает через край на дно оврага; там неумолчно болтающим ручейком извивается среди ярко зеленеющих лезвий осоки и пик чакана в человеческий рост. Нога на бережках ручья мягко утопает в поседевший от древности мох. До поздней осени солнечно горят на склонах оврага крупнейшие ромашки.

Лушка нагнулся с кувшином к водоему и тут же отпрянул. В зеркальной его глубине безрадостно отразилось мутное небо, ползли по нему тучные облака, клубясь белой дымкой. Отраженье так неумолимо дышало стужей и несчастьем, что сделалось страшно. В овраг нечаянно залетел шальной порыв ветра, шумно шарахнулся по осоке, загремел чаканом и подстерегающе затаился. Сверху просыпалась на лицо и руки горсть крупинок толченого риса.

— Снег!

Позабыв набрать воды, Лушка единым духом вымахал со дна темного логова. Много изменилось вокруг за время разговора с Перфишкой: ветер захолодал еще больше, небо помрачнело и грозило вот-вот ударить непогодой.

— Скорей, без оглядки—домой, к людям, пока не нагрянула в степь ночь, пока не погасли последние мерцания света.

Но у шалаша остановился, на сердце сделалось легче. Пунцово лоскутится догорающий костер, обжитой кажется утолченная вокруг него земля, Жук радостно увивается в предчувствии ужина,—это говорит о том, что на становище проведены долгие недели, месяцы и ничего не случилось плохого. Лишь несколько минут назад сидел на корточках человек у костра, правда неприятный, злой, а все же человек; говорил, размахивал руками, остался после него крохотный желтый окурок, вдавленный в землю. Значит, не совсем еще затерялся Лушка в степи, не на всегда оторван от людей,—скоро встретится с ними и заживет такой же полной жизнью, как и они. А что если ночью разбудит знакомый возглас дяди Обросима:

— Вставай, телячий хранитель!

Лушка поднял увесистый кнут и, широко размахнувшись, ударил по земле. В студеном воздухе хлопок не раскололся на всю степь, а замер около ног, но все-таки ободрил.

— А ты говоришь, страшно!—пристыдил пастушонок собаку, и даже досадно ему стало, что убежал из оврага, не набрав воды.

В шалаще разломил через коленку последнюю окаменевшую горбушку, меньшую половину бросил псу, другую стал жевать сам, прикусывая похолодевшей картошкой. Покончив с ужином, зарылся в шумном сене, подогнув колени к подбородку. Стало тепло, даже жарко. Жука в эту ночь не выгнал на дежурство, а оставил при себе.

За шалашом гуляет ветер. В щель между косяком и дверью видно, как выхватывает он из-под треножника рдеющие угли; обжегшись, бросает, снова мчит, и они беззвучно гаснут на лету в надвигающейся темноте. Ночь просачивается в шалаш, а вместе с нею—опять тоска и обида на близких людей.

«Ходи по нашим следам... На людях не очень я нуждаюсь в хороших твоих словах. Ты сюда наведайся, здесь их скажи... Хорош и дядя Обросим: знает, что хлеб весь, погода к зиме,— и глаз не показал. Бригадир! Стащили волки со скотного двора двух ягнят, а он рядом спал. Говорили—сменить надо, нет, застоял Иван Андреич—«простим последний раз». Зря не сместили долговязого...».

Память требовала справедливости. На дворе осень: как и в прошлом году, вероятно разогнали всех ребят по селам проводить кампании, а Осярку—в первую голову... Правда, до работы дядя Обросим не охоч, но разве сказано им за лето хоть одно грубое слово? Тяжелая его ладонь не раз опускалась на вершинку, и это были не побои, а молчаливая ласка. На слова бригадир скуп, зато если расщедрится, так за несколько часов беседы чувствуешь себя выросшим на пять лет. В те немногие ночи, когда оставался Обросим на стану, перебывал Лушка вместе с ним на царской войне, в германском плену, бил белых, громил помещика. Только неожиданное что-нибудь могло задержать его очередной субботний приезд, может захворал... Они не позабыли, помнят, конечно. Придет утро, взойдет солнце, и растают ночные страхи...

Успокоившись, Лушка тянется слухом за посвистами ветра в просторы степи, делается все легче и легче и, незаметно для себя, покидает шалаш. Идет он уже вдоль дороги по направлению к селу, а рядом, согнувшись, медленно двигается мать. Она широко шаркает свеже-шумящим веником, сметает с дороги пыль. Рой прохладных пылинок из-под веника обдает его

лицо. День жаркий и от брызг не холодно, приятно освежают они вспотевшее под шапкой лицо. Странная работа матери удивляет, хочется спросить—зачем она ей далась? Язык не слушается, и Лушка помимо своей воли передвигает тяжелые ноги. Шалаш остался далеко позади. Дорога подбирается к остову кургана; перекинувшись через него,—резво сбегает вниз, снова тянется по равнине. Солнце западает, становится холоднее, а мать все метет. Пылинки начинают беспокоить, попадают за ворот, стекают, как бы растаяв, по спине и неприятно щекочут кожу.

«Ты что же,—с трудом выговаривает Лушка,—на весь свет подрядилась работать?»

«Кому-то надо»,—коротко отвечает мать, не разгибаясь, и продолжает шуметь веником.

Кажется Лушке, что идет с матерью целую вечность, не помнит, когда начала она мести, не знает, скоро ли кончит. Веник не шумит уже, а пронзительно взвизгивает голыми прутьями. Пыль вылетает из-под него облаками, порошит в лицо, залепляет глаза. Мать метет, метет. Дороге не видно конца...

Наяву дорога, проколесив за курганом несколько километров, вливается прихотливым ручьем через ворота околицы в широкую и прямую реку агапкинского прогона. За плетнями маячат сараи, грузные силуэты стогов сена и соломы, дальше начинают попадаться окраинные убогие избенки, амбары. В темноте все это расплывается, теряет формы и напоминает развалины древнего городища.

Ни огонька, ни собачьего лая. Жизнь теплится только в середине села, на площади. Вокруг обезглавленной церкви, приспособленной под склад зерна, ходит невидимый страж и глухо бубнит колотушкой. Окна бывшего поповского дома скупо цедят желтоватый свет, умирающий в темноте, возле завалинки. В просторной канцелярии колхоза семилинейной лампешки еле хватает на освещение стола да передней стены; дальние углы заполонили пухлые тени.

Председатель Иван Андреич Кошкин спит, неловко привалив голову на спинку стула. Кошкин настолько мал ростом, что если смотреть на него от порога, то увидишь из-за стола лишь лысую голову. В кольце лампы одиноко пасется по недописанному листу бумаги зазимовавшая муха. Встретив на пути своем очки, она перебралась было на председателеву лысину, но спугнутая скрипом двери—исчезла в потемках под потолком.

Вошел рослый бригадир скотного двора Обросим Толоконкин, вечно озабоченный молчаливым разрешением внутри себя

каких-то важных вопросов, которые нельзя доверить окружающим. Синие глаза его рассеянны, движенья медлительны и часто невпопад. Кажется, что все выполняемые дела считает Обросим нестоящими и если относится к ним серьезно, так для видимости, дабы не раздражать людей.

Бригадир нерешительно потоптался у порога, раздумывая—будить спящего или неслышно выйти вон? Наконец осторожно приблизился к столу, натужно кашлянул. Встрепенулся лист бумаги,—маленький председатель не пошевелился. Обросим прикоснулся к его плечу пальцем и боязливо отступил, будто тронул задремавшего опасного зверя.

— Председатель!..

Тот вздрогнул, начал протирать ребром ладони красные глаза, точно надуло в них ветром с песком.

— Умен!—вымолвил он, близоруко рассматривая позднего гостя.

— Не дурак,—степенно подтвердил Толоконкин.—После отца парнишкой остался, однако хозяйство не нарушил.

— Мало бил тебя покойник,—ядовито пожалел председатель.

— Не скажи,—в прежнем тоне ответствовал бригадир.—Любил вкладывать, ты его знавал.

— Значит богатство большое оставил, коли привык вертопрашить.

Ехидная журба была непонятна. Задумчиво лаская седые украинские усы, Обросим попросил разъяснить:

— К чему все это?

— А все к тому, к старому: съели мы с тобой пуд соли, успели за это время облысеть, а ты в уме так и не прибавил. Сколько раз говорил: береги корм! Норму сыпь, не жалей, а зачем на шапке уносишь?

— Дык, Иван Андреич...

— Не дыкай, а слушай,—как по сердитой книге отчитывал Кошкин.—В колхозе триста душ, если каждый, после замески лошадям, по щепоти...—Он не дочитал фразу до точки и оторопело потянулся к очкам: что считать обрывком сна?—муку на шапке или то, что она быстро тает под его недовольным взглядом.

— Это же снег,—добродушно сообщил бригадир.

— Снег?

— Света не видно, с ног валит.

Несправедливое обвинение в бесхозяйственности не омрачила даже тенью обиды голос Толоконкина. Ну что же, как бы думал он снисходительно, на то и председатель, чтобы дело—не в дело ворчать.

За окном плакался ставень и лилось вдоль стен шуршанье, будто истекало сухой листвой большое дерево.

Председатель заломил руки—сладко потянулся. В подтверждение своей правоты Обросим снял шапку и сразмаху хватил ее о козырек высокого валенка. Нерастаявшие снежинки, мелкие капли посыпались во все стороны, угодили в лампещку. Стекло негодующе крякнуло, еще гуще зачадил трепетный язычок огня.

— Стоерос,—укоризненно качнул головой Иван Андреич.

— А новое купим,—беспечно утешил бригадир.—Сколько ему цены? В колхозе триста душ—полгроша на душу обойдется.

Но председатель снова уже раскрыл свою книгу:

— И везде у нас так, в каждом деле. Другим первопуток—нам горе. Отъездили по-летнему—сюда колесо, туда оглобля. Топчи, ломай: не наше, общественное... На скотном дворе ноги повыдергаешь...

— Прибраны колеса, Иван Андреич...

— Колеса прибраны, так дровни не готовы, вязки поломаны...

— И вязки починили. Я вот о телятешках немного расстраиваюсь.

— Какие еще телятешки?

— Да отгонники же,—невозмутимо пояснил Обросим,—которые с Лущкой. Цена им не велика, а все-таки жалко: живность.

Маленький председатель начал медленно багроветь, краской зарделась даже лысина.

— С-слушай,—заикаясь просипел он,—если ты пришел меня развлекать, так неурочный час выбрал и плохой предмет... Я ж утром настрого распорядился—пригнать.

— Такое дело,—смущенно развел руками бригадир,—сам не рад. Ты приказал, а меня без приказа на моченые яблоки, признаюсь, позвало. Влез в погреб—гляжу—батюшки! Переводина надломилась. Я под нее—соху, а сохе надобна яма. Вылез за лопатой, вижу—подувать стало. Ну, думаю, управлюсь да поеду... А после обеда разморило с устатку, скажи ты на милость—ни рукой, ни ногой...

Кощкин прыгал перед ним, потрясая крохотными кулачками:

— После рюмочки—моченые яблочки! За яблочками—обед, а перед обедом рюмочка... Ты что говоришь, кому?! Ведь с нас шкуру сымут за это дело!

— Именно,—подтвердил мужик, взирая на гневного своего

начальника сверху вниз, как большой лягаш на расходившуюся дворнягу...—Шибко народ шуметь будет, особенно Тереха, он крикун. Чего же теперь... Ну, виноват, говорю.

Председатель выдохся. Мелкими шажками отбежал к окну и остановился, вглядываясь в темноту. Там куралесила непогода. Что-то смутное бешеной лавой мчалось мимо, всклокочив седые гривы; шарахалось о стены, гремело ставнями; тихо позванивало вздрагивающее стекло.

— Значит и Лушка в степи?—послышалось от окна.

— Где же ему быть. Ребятишки—не печаль, их хватит: у меня непрошенный, немоленный четвертый явился. Вот скотная задача, действительно трудная.

— Немедленно поезжай,—ледяным голосом приказал Кошкин.

— Верная погибель, Иван Андреич Мое предложение—до утра обождать, ночи все равно с воробьиный нос осталось.

— А утром?

— Утром, что ж,—замялся бригадир,—как народ, так и я... Конечно, шкура кажнему мила.

— Народ, народ... Нашкодил не народ, а ты.

Председатель повернулся от окна. Лицо его спокойно, только под кадыком напряженно бьется синяя жилка.

«Вот стоит,—размышлял он,—один из близких моих помощников, содеявший преступление. Можно орать на него, топать ногами, стращать наказаньем. Хватит ли этого, чтобы на утро отшелушилась с него шкура безразличия и даже некой иронии в отношении к порученному делу? Вряд ли... Теперешнее легкое смущенье сменится, может быть, растерянностью,—так это не от сознания вины, а от боязни наказанья. Нет, одной суровостью не разворошишь мужика».

Кошкин осушил платком вспотевший лоб.

— Как только забрезжит, поехать тебе, хочешь—не хочешь, придется. Кстати, приведи ко мне Осярку.

— Это правильно,—согласился бригадир...—Он комсомол, скотный шеф. Он Лушке ботинки подарил, ему и забота.

— Комики,—горестно прошептал председатель,—когда вас людьми сделаешь?

Увидев, что Толоконкин занес на порог ногу,—остановил:

— Постой!

Догнал его и, схватив за руку, потащил к столу. Мешковатый бригадир безропотно следовал за ним, как грузная баржа на причале за бойким буксириком.

Запрокинув голову и уставив круглые очки прямо в седоусое лицо Толоконкина, Иван Андреич говорил:

— Слушай, Обросим, слов нет,—хозяйство ты хорошо знаешь, если захочешь, но я охрип кричать на тебя целую жизнь. Отомкни мне миром один замок, а потом мы с тобой будем доругиваться остаток жизни, или без крика разойдемся в разные стороны. Выросли мы с тобой вместе...

— С империалистской тоже не врозь бежали,—с некоторым удовольствием напомнил тот.

— Вот, вот,—уцепился Кошкин,—с этого и давай. Бежали вместе, а по-разному. Я—чтоб здесь новые порядки наводить, а ты артиллерийский хомут прихватил...

— Я же его порешил потом,—вставил Обросим...

— ...И всю дорогу планировал,—не слушал председатель,—как будешь поветь чинить; о повете ты на ночь говорил, как сказку, чтобы заснуть скорее. Вот в чем беда наша. И теперь: «телятешки, мальчишка, живность»... Дьявол.—завопил он,—ты же знаешь, что это не барахло, а дорогое наше добро. Ведь если бы твой теленок или мальчишка мерз в поле, так ты за сто верст пешком пошел бы. Понимаешь. Если бы даже взорвался погреб—и то пошел бы. Что ж это такое, а?

— Не хорош—другого назначьте,—помрачнев, ответил бригадир.

— И волынку о другом с азов заводи? А ты подохнуть, что ли, таким собрался, Обросим?

— Ну, в темницу сажайте, коли так,—совсем уже отчаянно предложил он.

— Так ведь там тебя кормить надо, а здесь хоть на хлеб зарабатываешь... Без шуток, куда это годится?

Бригадир, тяжко вздыхая, долго терзал усы, затем заключил:

— Казенная вещь.

— Что это такое?

— Очень просто: казна-матушка,—Толоконкин умоляюще приложил руки к груди.—Прошу, Иван Андреич, отпусти ты меня. Завтра хлопот по горло, поспать надо.—Надев шапку на кулак, стукнул по груди, впервые за весь разговор повысил голос.—Не мучай, говорю! Что я с собой сотворю, сам казнюсь. Валяется клок сена,—поднять бы да конюху холку нагреть, не тут-то было: лень. Знаешь, лень!

— Ну да, свой погреб дороже. Зачем же к нам прищел? Уходи тогда.

— Это ты брось! Это я знаю—зачем пришел. А вот лень. Ночей не сплю, борюсь: она меня, я ее, а она опять меня.— Ноги бригадира подгибались, видимо, впервые исторгал он свои сокровенности.—Вот и подумай. Если уж я совсем нуль без палочки, тогда что же... Тогда гони, такая значит будет мне цена.

Оба продолжительно помолчали. Толоконкин нашаривал что-то в глубоких карманах полушубка, сердито сопел, может быть порицая себя за то, что устыдился резонов. Иван Андреич, потупившись, перекладывал с места на место подписанный лист бумаги.

— Тут еще—новая забота: агроном в устроительных чертежах напутал, придется в район ехать.

Обросим шумно выдохнул тяготившее недовольство собою, с прежней уравновешенностью заметил:

— Интеллигенция, одним словом: путает, что в поле, что на бумаге.

— Ты при мне этого не говори,—строго отрезал Кошкин,— я об ней другого мнения держусь.

— Известно, надел очки, прошел в партию. От крестьянства оторвался совсем, только и знаешь—зудишь нашего брата.

— Я в тех очках свет увидел и тебе советую.

— Себя ты ко мне не приравнивай. Ты особь статья: рос— ни пуха, ни пера; нынешние повадки, как одежду на голое тело надел... А у меня, как-никак, хозяйство было...

— Ну, знаешь,—ответил Кошкин,—можно поспорить, это другая тема для длинного разговора.

Обросим поспешно отступил к выходу:

— Вот мне и некогда его вести. Значит первым делом— Осярку.

Он ушел, а председатель остался коротать последок ночи с невеселыми своими думами.

Лушкин сон оборвался очень неожиданно. Чтобы утихомирить бушевавшую мать, он попросил:

«Тише ты шаркай!»

Она повернулась к нему и, вместо ответа, смазала по лицу мокрым холодным веником. Лушка открыл глаза. Над ним сидит Жук и, тихонько скуля, лижет щеки, губы. В шалаше голубовато-рассеянный свет. Трудно определить—тянутся ли все еще вчерашние сумерки или светает. Ощущение холода связало сон с действительностью, особенно озябли руки, они нестерпимо зудели от колючих муращек. Натягивая варежки, пастушонок нечаянно взглянул на дверь: у притвора возвышалась пирамидка снега и острой вершиной своей тянулась вверх по щели. Покатую крышу шалаша и стенки обтекал глухой шум, резко просекаемый свистом.

Лушка толкнул дверь. Она рванулась наружу, точно пытаясь взлететь, но, удержанная петлями, брякнулась о перед-

нюю деревянную стенку. Знакомые глазам несколько метров земли у шалаша неузнаваемы: выбоинки и бугорки сравняла пенящаяся поземка, из-под нее сиротливо торчали концы сбитой треноги. Даль вихрилась чадом, в сувертках его творилось распутное гульбище бесноватых. Проносилась, очертя голову, бесконечная орда взъерошенных призраков. Трепыхались и хлопали на ветру лоскуты рваных одежд, дымно стелились во след распущенные косы. Вприпляску мчались своры пьяных музыкантов,—звякали медными тарелками, выли на дудках, гнусно хрипели в губные гармошки. Сверху на весь этот ералаш шумно рушились какие-то столбы, своды. В белом прахе мгновенно возникали и кувыркались визгливые волчки.

«Метет!»—испугался Лушка.

Если тащиться домой вместе с косяком, то занесет последние приметы пути, пока доберешься. Бросить все и, захватив Жука, мчаться к людям, в тепло. Паническая мысль мелькнула на один только миг. Вслед за этим очень ярко представилось, как непривычно итти по улицам, не слыша за собой многоногой поступи стада. Навстречу выбегут из домов встревоженные хозяева, в один голос спросят:

— Где ты растерял наших телят?

На крыльце стоит Перфишка; страшно улыбаясь, указывает на него пальцем:

— Все подохнете!

Ведь для этого Трегубый и уговаривал вчера поехать домой, чтобы потом вволю поиздеваться над ним и людьми, доверившими парнишке большое дело.

Вечером вызовет в ячейку Осярка, при всем собрании подкорит:

— Разве для того дали мы тебе ботинки, чтобы ты быстрее бегал в них от стада?!

Множество глаз вопьются в Лушку, ожидая ответа.

Позор столь страшно противоречил мечтам, которыми дышал пастух, что, казалось, милее очутиться без всякого прикрытия в самом кипятке метели. С той минуты он больше не сомневался. Решение не покидать телят вросло в него просто и крепко, как руки, ноги—до того привычные, что даже не всегда их ощущаешь.

«Продрогли наверно,—со страхом подумал о телятах, а может разбрелись даже»,—и опрометью кинулся к калде.

Припав грудью к жердушке,—стоял по колено в рыхлом сугробе, напряженно разглядывал запорошенных телят. Сосчитав, облегченно вздохнул: «Тридцать один, в целости».

Подошел Галах и, утробно мыкнув, дохнул в лицо теплом. Тут Лушка почувствовал, что ветер прохватывает до костей сквозь утлую одежонку. Почти вплавь—бросился сквозь буран обратно в шалаш,—там сорвал с себя пиджак, начал обертывать грудь опорожнившимся от провизии большим мешком. Ожидать приезда дяди Обросима больше нельзя. Чтобы не заморозить телят, надо гнать их домой сейчас же. Лушка не думал—пробьется ли через пургу и что станется с ним, с телятами, если покинут его силы в середине пути?—главное—скорее гнать, а как—не важно.

— Вот и готово!—известил он Жука, туже затягивая подпояску вздрагивающими руками.—Ты еще кнут бросил бы... пастух! За свое добро—один ответ, за обчественное—вдвойне. Такие дела.

Вернувшись к калде, с трудом распахнул ворота, крикнул:

— Выходи!

Но телята ждали условного хлопка, хлопнуть же не было никакой возможности.

— Возьми,—послал тогда пастушонок Жука.

Пес ринулся с хриплым лаем в калду. Первым, недовольно косясь на ветер, выступил Галах, за ним осторожно следовала Красуля и тянулся весь табун с присмиревшей Резвухой в хвосте. Выбрав место, где предположительно проходила дорога, Лушка подождал косяк и двинулся вперед. Позади мужественно шествовал маленький Жук, подгоняя отстающих; он, не колеблясь ни одной секунды, отдавал свою жизнь рискованному замыслу хозяина.

Ветер и снег били прямо в лоб. Лушка шатался под их ударами, закрывал лицо от ожогов; порою останавливался, чтобы, отвернувшись от ветра, вздохнуть полной грудью, для бодрости пытался взмахнуть кнутом.

— Шагай—пошагивай!

К его лицу приближался широкий лоб тоже приостановившегося Галаха, сквозь иней ресниц успокаивающе мерцали большие глаза бычка. Лушка двигался дальше. Щеки затянуло тонкой ледяной коркой и покалывало каленными иголками, в каждый укол стремительно въедалась острая соль, заставляя скрипеть зубами от боли. Пастушонок решил пятиться, повернувшись спиной к ветру. Угадывать направление стало труднее, зато на виду телята, и отдыхало измученное лицо.

Пора уж появиться бы знакомому кургану. Лушка все чаще останавливался, разглядывал из-под руки даль, но ничего нельзя было понять в густой мгле, из которой бешено роился сухой, жалящий снег.

Так шел пастушонок час, два, может быть больше... Тяжелеющее тело уже подгибало ноги, будто замотанные туго портянки набиты в середине мягкой ватой. Казалось, что и в голову наливалась холодная муть, что с шипеньем кипела вокруг. Постепенно охватывало безразличие—куда итти, зачем, лишь обрести бы скорее где-нибудь тишайший уголок и на один только миг присесть, дать отдых каждому суставу, кричащему об усталости...

Вдруг он почувствовал, что нога не находит за спиной опоры—и кувыркнулся вниз. Паденье не испугало, а даже обрадовало: наконец-то не надо больше итти. Сидел, отплевывая набившийся в рот снег, лениво вытряхивал его из рукавов. Над головой отвесно возвышался бурый, слегка припорошенный снегом обрыв.

«Крутой Дол,—узнал Лушка, вспомнив глиняные берега глубокого оврага, размытые дождями.—Эх, куда принесло, почитай за версту от дороги».

Неохотно попытался было карабкаться вверх, но опять скатился, смытый шквалом ветра, при паденьи потерялась варежка, обнаженную правую руку ломило. Он уполз за выступ и, выбрав местечко, где нет ненавистного снега, лег, привалившись спиною к обрыву. Здесь было тихо, голая глина выглядела совсем по-летнему и—будто струилось от нее тепло.

«А ведь телята наверху остались»,—вспомнил пастух. Даже эта мысль не заставила его двинуться с места. Сладкая истома налила все существо. Представлялось, что сделано все возможное, а теперь придет кто-то большой и сильный и обо всем позаботится. Все же, для очистки совести, крикнул, не поворачивая головы:—Жук, сюда гони!

Пес с готовностью отозвался сверху. Вскоре с левой стороны показался на отлогом спуске Галах. Вожатый сполз в овраг почти на хвосте, круто упираясь передними ногами, и привел косяк прямо к Лушке. Телята окружили его полукольцом, остановились.

«Хорошо бы дать им сенца, да и мне под бок положить,—думал Лушка—Все, что ли?.. Резвухи опять нет, отбилась.—Он умилился, услышав обрывки лая Жука:—Заворотит. Умный и старый, не выдаст...А то дядя Терентий страх сердитый...»

Умиленье наполнило сердце и от того, что вот лежит он и отдыхает, отдыхает... Никакие силы не заставят его подняться с места. За него работает Жук: носится среди вьюги, заворачивает Резвуху; холодно не ему—Лушке, а Жуку, Резвухе. До слез радовался даже тому, что дядя Терентий—хозяин Резвухи,—самый сутяжный в колхозе человек, и в случае про-

важи теленка сживет со света не только пастуха, но и бригадира Обросима, председателя Ивана Андреича, соседей.

«То-то шума будет», — безмятежно усмехнулся Лушка.

Обрывки мыслей щевелились мерно и неохотно, как засыпающие перед зимой пчелы:

«И пусть ругается дядя Терентий. Прыгает, руками машет... смешной. Я не железный. Отдохнуть надо... да, да. А Резвухи все нет. Пусть нет. Жук пригонит. Пригонит...»

Зажал руки коленями, откинулся. Над ним, почти касаясь влажными губами лица, свесилась дышащая парная морда Галаха.

Зимний рассвет незаметно проник через посиневшие стекла в колхозную канцелярию. Тени в углах растаяли и поблекнул огонек все еще горевшей на столе лампешки. На улице зябко скулила метель. Через пазы ползла в избу стужа, мохнатой плесенью оседала на сосновом пластиннике.

Маленький председатель сидит все еще на прежнем месте. Лицо его язвится рябинками, будто ошпаренное когда-то зарядом бекасинника, но огромный лоб чист, а лысая голова отливает розоватой полировкой. Очки мещают понять—спит председатель с полуоткрытыми глазами или напряженно смотрит на дверь.

Рядом с ним, уронив голову, горестно сгорбилась женщина. Лица ее не видно, из-под платка выбилась седая прядь волос и упала через руку и угол стола. Женщина очень худа: над лопатками выпукло пузырится спинка овчинного пиджака. На лавке, опершись руками и подбородком на падог, сидит древний старик Сильвестр Вохрушин,—мелко трясется, и плывут по дряхлым щекам его одна за другой крупные слезы; деду вряд ли что надо от жизни, привела его сюда, поседевшая вместе с ним, привычка—послушать, о чем говорят на миру. По горнице беспокойно рыщет высокий чернобородый мужик, иногда—приостанавливается и, глянув исподлобья на председателя, судорожно сжимает тяжелые кулаки. В углах и вдоль стен жмутся еще несколько человек,—боязливо перешептываются, будто возле покойника.

Перед столом суетливо толчется лядащий мужичонко Терентий Галкин, прозванный за непоседливость Плясунком, и твердит Ивану Андреичу одни и те же слова:

— Доработались, зовется!—Синеватые губы его и общипанная бородка жалобно дрожат.

Окаменевший председатель молчит, в ожидании чего-то.

— Ты мне скажи, доработались или нет?—повторяет Тереха.

Не спуская глаз с двери, Кошкин склонился к женщине, скороговоркой бросил:

— Главное, вида не теряй; ты же старая колхозница.

Она не ответила.

— Дедушка Сильвестр,—поинтересовался председатель,—какого числа в прошлом году снег упал?

— На Кузьму и Демьяна,—прошамкал он.—А ныне месяцем раньше.

— Ты брось отлынивать!—надрывался Тереха.—Я такой член или нет?!

— Ну?—воззрился председатель, как бы впервые заметив его.

Плясунок стукнул по столу кулаком.

— Отдай телку!

В горнице сделалось тихо. Люди подвинулись из углов вперед.

— Сейчас родить буду твою телку,—спокойно пообещался Иван Андреич.

— Не смейся,—угрюмо вставил чернобородый,—тут плакать впору.

— А он что, насмех пристает?—Председатель оглядел всех колхозников, остановился на каждом в отдельности, как бы прикидывая, кому какое сказать слово.—Я не заставляю Тереху Галкина отвечать вместо меня за весь колхоз, такой ответ—мое дело. Но я не собираюсь подставлять свой лоб под каждую шишку, которую полагается носить другому. С телятами прошляпил бригадир скотного двора, его мы и заставим их выручать. Надо подождать. Он сейчас будет здесь.

Тереха метнулся к людям.

— Чего там ждать! Народ, что молчите? Последнюю живность волку в зубы! Дедушка,—подскочил он к Сильвестру,—где порядок?

— На небеси, сынок,—ласково ответил старик.

Сизоносый мужик в чапане отозвался:

— Для того писались, чтобы здесь их завести.

Плясунок снова уже надоедал перед столом:

— Ехать надо! Слыщишь, что ли?..

— Обязательно,—подтвердил Кошкин.

— Кому-то пострадать за обчество,—откликнулись справа.

— На то председатель есть!—выпалил сизоносый давно приготовленную фразу.

Иван Андреич открыл для чего-то ящик стола, с хлопком задвинул его и увесисто ответил:

— Председатель есть на то, чтобы давать правильный распорядок, а вы—исполнять. Вот я и даю: если Терехе не хочется ждать бригадира, пусть заложит Малыша и едет немедля к стаду.

Мужик раздвинул плечом соседей, испуганно юркнул к порогу.

— Сунься, кому жисть не дорога.

У двери столкнулся с бабами, дружно ввалившимися в горницу. Впереди, размашисто передергивая углы серой шали, шла полная красноармейка Марфа Пуговкина:

— Пропали телята!—пожаловался ей Тереха.

Она, даже не взглянув на него, широко зашагала вперед. Бабы, как неотступный выводок, последовали за ней.

— Ты за столом развалился!—завопила Марфа в лицо председателю,—а у моей Красульки волк последний бок лупит!

— Мы те выдернем из-за стола на вольный свет!—еще злее поддержала другая.

Кошкин, невозмутимый и находчивый перед мужиками, на сей раз поежился и тоскливо оглянулся по сторонам, как бы ища поддержки. Рука в замешательстве вертела в столе ключ и тот звонко стрелял по нападавшим.

Сидевшая рядом женщина поднялась. Кто-то прошептал:

— Лизавета.

Худая, с желтыми болезненными пятнами на скуластых щеках, она выпрямилась и сказала бабам:

— Телку дерет! У меня снегом последнего сына заносит,—голос у нее каркающий, как после бессонной ночи.—Над кормильцем могильный горб растет и не знаю, где крест поставить.

— Каждому свое,—ответила Марфа.

— Вот он и мой!—рванула Елизавета на груди полушубок.—Кусок мяса, ножик в сердце! Своим молоком поила, а у тебя об коровьем забота. Стыдно! Шли, чтоб радости пополам, а при горестях терпеть.

— Не хочу!—сквозь слезы завизжала Марфа.—Поезжай, очкастый сыч!

Бабы напирали. Чернобородый угрожающе перегнулся через скрипнувший стол, неопределенно прогудел:

— Придется тебе ответить...

— Сейчас,—ответил Иван Андреич. Поднявшись на цыпочки, впился через головы людей в открывшуюся дверь и облегченно вздохнул.

— Насилу разыскался!—объявил ему вошедший Обросим Толоконкин.

— Ага!—набросился на него взъерошенный Тереха.—Сейчас мы тебя спросим...

Люди отхлынули к порогу. Обросим, точно подхваченный водоворотом, вертелся среди них, тщетно пытаясь пробиться к столу. С лица его смыло вчерашние невозмутимость и безразличие, бригадир обескураженно признавался:

— Ну, виноват... Ну чего же теперь? Куда деваться?..

Вслед за ним показался комсомольский секретарь Осярка Горюнов, в кожаной ушанке и стеганом пиджаке, подпоясанном широким ремнем.

Парень отличался от всех ребят в ячейке начитанностью, бойкости и предприимчивости у него—хоть отбавляй; в общем он приносил немало пользы колхозу. По молодости Осярка несколько переоценивал собственные достоинства: держался самоуверенно, даже с надменцей, черную работу любил сваливать на других, своим же уделом считал большие масштабы; дерматиновый портфельчик его всегда набит доотказа громковещательными резолюциями, набросками капитальных планов, большинство коих составлено, к сожалению, преждевременно.

— В чем неувязка?—спросил комсомолец, и в тоне вопроса слышалось: «Ну вот я и пришел, сейчас распутаю все ваши мелочишки».

Председатель молча вышел из-за стола, поманул за собою парня и скрылся за печкой, оставив бригадира держать перед колхозниками ответ.

За печкой оказалась соседняя небольшая комната, холодное обиталище мышей. В углу стояло, свернутое на шесте, запыленное вишневое знамя; на полу валялось несколько старых рогожек и полуразбитых ящиков.

Иван Андреич плотно прикрыл дверь, взял Осярку за пуговицу пиджака, тихо сказал:

— Они правы, конечно: каждый шел сюда не за тем, чтобы терпеть... Ты им, Осип, докажи, как заботится комсомол о пастухе.

— Можно,—с готовностью согласился секретарь.—Все в порядке. Дали премиальные ботинки, выписали газету, а когда провожали на пастбище—вручили ряд нужных брошюр. Это не при старом руководстве—у нас все записано,—и начал расстегивать портфелишко.—Как вернется—утвердим в ячейку...

— А если не вернется?—перебил председатель.

Комсомолец, как бы не расслышав, старательно колупал капризный замок. Иван Андреич сокрушенно покачал головой.

— Ох-хо-хо, гляжу я на тебя два года: умница ты, много хороших слов научился говорить, бумагу за троих изводишь...

— А что?—вскинулся парень, приготовясь обидеться.

— Ветра много в голове, вот что. А еще поезжай-ка сейчас с Обросимом за Лукашкой.

Осярка отпрянул, прихватив подмышку так и не расстегнувшуюся сумку.

— Ну знаешь, в такую!.. Рядовых работников, что ли, для этого нехватит?

— Одно знаю, на таких делах люди проверяются,—неумолимо добавил Кошкин.—Работников, конечно, хватит, но, как партиец говорю, я боюсь проводить Обросима без верного глаза: может вернуться с полдороги, наговорит до небес—и взятки гладки.

— Тебе же известно—я составляю теперь план объединения четырнадцати колхозов...

— Не болтай!—раздраженно оборвал Иван Андреич и начал медленно краснеть.

— Я не могу,—попытался разжалобить Осярка, кивнув на хромовые свои сапоги, никак не приспособленные к степным путешествиям в метель.

— Валенцы дадим.

Осярка ухватился за последнее:

— Иван Андреевич, ты пойми! Я не трус... А если что случится?... Мне ведь в будущем году учиться надо ехать...

— Никуда ты не поедешь!—холодно отказал маленький председатель и прислушался.

За переборкой воцарилась тишина. Говорил кто-то один, гнусаво и просяще. Весь подобравшись,точно готовясь к прыжку Кошкин распахнул дверцу...

Народ стоял в канцелярии молчаливым полукругом. В середине, перед дедушкой Сильвестром согнулся в полупоклоне Перфил Бардин, совал в дрожащие руки старика смятую рублевую бумажку и просил:

— Смиренно возьми, дедушка, и не рыдай. Определенно. У меня такая манера. Кто твою немощь пригреет?

— Балаган!—хихикнул Тереха, увлеченный зрелищем.

Взволнованный Перфишка в каком-то исступлении вертелся среди людей на пятке здоровой ноги, забрасывал вопросами и сам отвечал на них, убедительно прикладывая руки к груди и кланяясь.

— Кто в нонешней холодной жизни пригорюнится об старике? Ни одно должностное лицо. Моя правда! Где последний вздох телка? Погас—все видят. Как вам прозябать теперь на земле? Так вот: кто роскошной щедростью—рупь, кто полтинник. Я вперед иду навстречу власти! Кто за мной? Вызываю!

К нему подбежала, пылая возмущеньем, Елизавета. Вырвала из рук деда бумажку и бросила ее к Перфищкиным ногам.

— Без подачек проживем!

Трегубый поднял рубль, бережно расправил.

— Потуши гордость, тетя Лиза. И об тебе забота нужна, для того тебя в артель добровольно пригнали. А у вас что? Погибель! Резкий факт в лицо бросаю. Твоего юношу политически заморозили. Кто теперь к вам пойдет? Бежать от вас надо. Возьми рупь, а то подохнешь.

Не вставая с места, дедушка Сильвестр притронулся к его плечу падогом.

— Парень, негоже делаешь. У народа горе, а ты травишь. В те поры, когда отца в холодные края провожали—мир тебя по-младости пожалел. А ты что? Негоже.

Перфишка возопил:

— Граждане, избирательные голоса! Чем я оскорбил? Взаимопомощи учу. Что у вас творится? Людожорство! Вчера еду по степу, а у шалаша младенчик тети Лизы прозябает и с голодной натуры пальчик сосет. Плача, умоляет: «Подвези, дядя Перфил, домой, ноги отнялись». А у меня на возу перегрузка—сам пешком шлепаю. Ударила меня бессильная слеза. Куда, отвечаю, посажу я тебя, зяблик? На, говорю, тебе, колхозник, последнее от единоличника, и пожертвовал ему собственную краюху.

— Врешь!—заорал вдруг Осярка.—Среди комсомола трусов нет.

— С голоду—это неправильно,—заметил чернобородый.—Мы тоже свое самолюбие имеем. Об мальчишке заботимся, и ботинки ему подарили.

— Ну-да,—с готовностью подхватил Перфишка,—а я о чем говорю? Уютные ботинки в сундук спрятали, а в горьких лаптях в степь прогнали!

Увидев председателя, закричал ему,точно желая обрадовать:

— Где же ваше братство, товарищ председатель!? Гибельный позор. Судное дело. Об этом надо в газету писать. И найдутся грамотные добровольцы, напишут.

Кошкин неторопливо направился к нему, но на третьем же шагу сорвался: скакнул, ловя на лету падающие очки.

— Иди!—просипел он, багровея, и схватил его за руку.—Иди отсюда вон!

— За что?—уперся Перфишка.—Разве теперешнее государство учит не говорить правду, как же оно может понукать массами?

— Вались вон,—кричал Иван Андреич. Откуда-то из глубины этого тщедушного человека прорвался оглушительный го-

нос:—Или вслед за папашей хочешь на теплые мурманские воды прогуляться?!

— Уходи от греха, Перфил,—предупредил чернобородый.—Дело, как говорится, наше, и ты в него не мешайся.

— Жалельщики!—заголосила Марфа.—Жалел бы, когда я у папашки твоего на огородах спину ломала.

Осярка распахнул дверь, вырвал у Перфишки рукавицу и, выбросив ее вон, приказал:

— Куси!—при этом стукнул зубами, будто в ознобе.

— По каким статьям,—начал было Трегубый, но бригадир Обросим нажал плечом и вытеснил его за дверь.

Старик подвинул падогом ближе к себе забытую Перфишкой бумажку, заключил:

— Так и бывает, две собаки из одного дома дерутся, а чужая не лезь, а то шерсть полетит. Закрой дверь, Обросим.

Осярка поднял над головой руку. Молодое, немного дерзкое лицо его пылало румянцем отчаянной решимости.

— Предложенье! Мы трудностями не дадим волынить. Еду на выручку! Зову последовать за собою бригадира скотного двора.

Около него засуетился Тереха.

— Я же говорил, без меня охотники найдутся...—Приник к плечу комсомольца.—Родня! куда ты в голяках. Вот они—валенки, тепло, печка,—и запрыгал на одной ноге, стаскивая серый сапог.

Их заслонил бригадир Обросим Толоконкин, необычно охваченный смятеньем.

— Так же и мне слово. Меня не вызывайте...

Упругий вал снега и ветра ударился об избу. Что-то, загудев, тяжело обрушилось на чердаке. Над головами людей отрывисто дрогнул потолок.

— Кажись, дымоход обвалился,—испуганно заметила красноармейка. Нетерпеливо простонав, Елизавета опустилась на лавку:

— Да скорее же!...

Обросим сбивчиво выдавливал из себя слова, стараясь не пропустить минутной тишины:

— С думами борюсь. Всю ночь думал. Когда же мы переборем лень к общественному добру? Перфишка об чем язвит? Скотный бригадир промахнулся, так и всему нашему делу конец. А мы не допустим. Я надумал. В жертву себя приношу, в жертву!—самозабвенно повторял он.—Отцы, птицы—голуби!—готов пострадать за вас. Вот я какой.—Бригадир нелепо раскинул длинные руки, точно приготовясь пойти на распятие.

— Ну, развел страданье насмех людям!—недовольно поморщился Кошкин, занимая свое место.—Запрягать надо.

Председатель успокоился, общая взволнованность его не трогала. Опыт заранее подсказывал ему, чем кончится вся эта канитель: будут колхозники шуметь, валить на чужую голову трудную повинность, а потом взорлят от какого-то неизбежного толчка; за три года случалось так неоднократно. Сегодняшние события лишний раз подтвердили уверенность председателя. Она только дважды колебнулась в нем: при нападеньи баб и в ссоре с Перфищкой.

Все повеселели, оживились. Чернобородый рассоловел и, покачиваясь как пьяный, взволнованно повествовал:

— Обчая сила, дедушка! Где там одному сломить. Как мы тогда встали в ряд, как в тридцать кос—ж-жахнули,—куды цветы, куды ягоды! Луг в один день ветром сдуло.

У красноармейки Марфы появился большой каравай хлеба. Она совала его Обросиму:

— Допрежь накормите, с хлебом и жисть придет.

Несколько баб натягивали на Осярку тулуп. Одежина потрескивала подмышками.

— Тихонько, родные, тихонько,—страдала хозяйка,—последняя,—а сама прихорашивала сзади складки подола.

— Готова подвода!—яростно возгласил появившийся Тереха.

Колхозники двинулись гурьбой к выходу. Впереди шел Обросим. Глаза его, обычно рассеянные, горели торжественной озабоченностью. Бригадир внешне прикрывал ее говорливостью, быстротою движений. Он молодо сбежал по ступенькам.

Тереха украдкой вручил ему посудину с водкой:

— На-ка для резвости. Мальчишка запасной тулуп в плетюшку бросил... Да запахнись же ты.

Обросим зычно распорядился:

— Волоки хвороста и сена, да побольше!

— Зачем это?—удивился Осярка.

— Зелен,—подмигнул бригадир.

В другое время эта пренебрежительность кровно обидела бы секретаря, но в данном случае он смолчал. Последние десятки минут на него повлияли благотворно: парень поскромнел, стал деловитей, будто вырос.

У крыльца стояла запряженная пара: рыжий, с поджарыми боками мерин Малыш и тучная матка Грачиха—в корню. При каждом шорохе снега степные лошади прядали ушами, косились. Ветер неистово трепал их гривы и хвосты, раздувал у мужиков чапаны, бабы торопливо обдергивали веявшие подолы.

Принесли хворост и сено. Сборы, по сути дела, закончились. Однако Обросим медлил: долго копался в упряжи, вдобавок, явно без надобности, нырнул под брюхо мерину. Осярка, томясь задержкой, похлопывал рукавицами, припрыгивал.

К возку, опираясь на падог, медленно подошел дедушка Сильвестр, снял шапку и сказал:

— Ну, Обросим...

Тот живо выскочил из-под лошади, также обнажил голову. Они стояли друг перед другом, исполненные строгостью, волосы их пересыпало снегом. Старик низко поклонился, притронувшись голыми пальцами к сугробу.

— Прости, христа-ради.

— И меня прости, на всяк случай,—бултыхнулся бригадир, а поднявшись, встряхнул русым кружалом.—Тут об семье позаботьтесь, если чего. А я за народ—с радостью, куда ж теперь денешься.

— Бросьте представлять,—нахмурился Осярка.

Дедушка осуждающе посмотрел на него.

— Одно дело здесь плеформа, другая статья вот тут обстоятельство.—Старик ткнул палкой в сугроб, словно загадочные эти «плеформа» и «обстоятельство», объясняющие поведение его и бригадира, таились зарытые у ног под снегом.

— Понял?—осведомился Обросим и лихо прыгнул в плетенку.

Осярка не постиг дедовой премудрости, да и некогда было. Лошади без позыва дернули. Бригадир с размаха плюхнулся на вязанку сена.

Из канцелярии выбежал в одном пиджачке председатель и залился:

— Эй, погоди! Ты, смотри, лошадей у меня не запори—вы такие! Казенное, значит,—гони.

— Не маленький,—отмахнулся бригадир кнутовищем, что-то вспомнив, натянул вожжи, закричал председателю в ответ:—Скажи там конторщику, чтобы трудодень не позабыл мне выписать. То-то! Вы такой народ: не мое, общественное, значит—за здорово живешь без копеечки.

У околицы от плетня к плетню вздымалась алебастровая запруда, а там, за ней вихрились холодные смерчи. Лошади грудью вломились в сугроб. Снег из-под оглобель хлестнул в плетюху, как волна через борт лодки, взвился вслед за полозьями. У седоков на минуту захватило дыханье. Когда выбрались, Обросим откинул воротник тулупа, припал к уху спутника, стараясь перекричать непогоду:

— Вся артель, а мы—две за нее жертвы. Вот тебе—сердце и бог, вот тебе дедушкина загадка.

— Теперь понял,—кратко ответил Осярка,—но не согласен.

— Найди другое слово, если умен!—подзадорил бригадир.

Секретарь был спорщиком не из последних и нашел бы, что возразить. Лушка, например, где-то замерзал, потому что не бросил тридцать одного теленка, из которых лично ему не принадлежал ни один. Ни о какой добровольной жертве тут и речи быть не могло, наоборот, мальчишка, вероятно, делал все возможное, чтобы спастись. Его, Осярку, заставило переломить минутную трусость не чувство жертвенности, а желание насолить Перфишке. Спасая стадо, он, конечно, постарается остаться невредимым. Но ввязаться в спор не хотелось. Сейчас... Осярка больно прикусил губу, вспомнив позорное свое поведение перед Иваном Андреичем... Сейчас без лишней болтовни надо выполнять поручение, сделав же, скромно отойти в сторону и не бахвалиться, как раньше.

Обросим держался по-иному: каждый рывок ветра будто вдыхал в него долю вьюжного озорства. Мужик возился в плетюшке; потряхивая вожжами, бодал Осярку локтем в грудь.

— А ну, докажи, коли не согласен!

Когда за спиной стали тонуть в дымной мороке очертания гуменных стогов, он придержал лошадей. Скрутил из длинной осоки жгут, завязал узлом на хворостине и воткнул ее в сугроб.

— Вот и любо: направленье не потеряем; Лушку не найдем, так наши телеса по этим приметам отыщут.

Секретарь не выдержал:

— Боевая задача—по этим заметкам обратно добраться.

Бригадир заломил шапку.

— Э, смерть страшна за царя, а тут сказано: на мирское дело жертвую!

Осярка крутил жгуты, как бы стараясь проворством рук ускорить медлительный путь. Обросим держал подводу прямо против вешки, и как только начинала скрываться она,—ставил новую.

Село, вместе с близкими людьми, с каждодневными заботами, со всем, что заполняло жизнь, будто кануло бесследно в глубины мутного половодья. Только возок, подобно утлому ковчежцу, настойчиво пробивался сквозь взбаламученные хляби. По сторонам, через головы путников, шумно перекатывались седогривые валы, шлепали в лицо хлопьями студеной пены, обдавали колючими, как толченое стекло, брызгами. Хляби, коварно расступив-

шись, давали путь вперед, за спиной же смыкались поспешными всплесками. Бестолково метались вокруг сонмища птиц, злорадно посвистывая над ухом белыми крыльями. Все же позади оставалась узкая лазейка, отмеченная маячками вешек.

В ложбинах теплее, но мятежнее, лошади вязли по брюхо. Взбираясь на пригорок, ободранный ветром до травы, животные тяжело дымили боками. Первым под ударом непогоды замялся горячий, скоро выдохшийся Малыш. Грачиха тоже встала, повернула к седокам притомленную морду. Она бережливо тратила свои силы и взгляд ее говорил: «Не я виновата в задержке, помощник у меня глуповат».

— Ну, отдохните,—ласково разрешил Обросим.

Перекличка между ним и кобылой звучала совсем по-домашнему. Обросим беззаботно весел, на лице даже подмерзшие усы шевелились от оживления.

— Осип, ученая ты голова, скажи: отчего мне так легко? Дорога наша не простая, дохлая дорога, а меня песни подмывает петь.

— Гони, гони,—заторопил комсомолец,—отдохнули уже... Я тоже не трушу.

Обросим тронул пару.

— Не беспокойся, смерть, при случае, не объедем. Тебе и не полагается грустить: молодежь в нонешней жизни, как—под гору на салазках. А я—шаг шагнул и след полон пота, вздохнул и клок волос выпал. Кажется мне, что я восемь тысяч годов прожил. Не знаешь, почему?

— В читальне хватит вечером наговоримся.

— А я знаю!—похвалился бригадир.—Не ученый, а знаю. Два раза только себя так чуял: когда с фронта бежал да как в артель писался. Теперь третий...—Он прогремел в самое ухо парню:—Лень была! Семьдесят семь ночей не спал—все думал, а не семьдесят восьмую вырвалась из меня нечистая сила и улетела. Легко мне стало, Осип, пострадать. Теперь дорога моя ровная, до самой новой думы. Но, ходи, птицы-голуби!

Грачиха шарахнулась круто вправо.

— Не балуй!—осадил ее Обросим.

Кобыла упрямо мотнула головой и снова легла на правую оглоблю. Мужик сердито рванул вожжу. Не помогло. Он дал лошадям успокоиться, но как только тронул вперед, корневая подалась в прежнюю сторону. Бригадир взял кнут, впервые полоснул ее по сытому заду. Она вздыбилась на месте. Обросим сразу изменился в лице. Ловя какой-то ускользающий мотив, растерянно перебирал вожжи, потерявшие для него и лошадей прежнее звучание. Седок чувствовал себя как музыкант,

внезапно утративший слух во время игры. Обросим нежно упрашивал, ругался... Кобыла непреклонно утвердилась в непонятном решении. Малыш не участвовал в борьбе: подавался за корневой, когда та ворочала вправо, вместе с ней вздрагивал телом при ударах кнута.

Обросим выпустил вожжи, тоскливо спросил:

— Что ты будешь делать?

Осярка понял, что кураж и лихость у мужика наиграны. Не сгусток воли, а слепая обреченность толкнула его поехать; за промах свой, за ленцу выдумал чудак откупиться мученичеством; недаром раскидывал в правленьи перед колхозниками руки, точно предаваясь пилатовым приспешникам. Следующее обращенье еще больше встревожило секретаря.

— Вот и приехали!

Около полозьев начал холмиться наметаемый снег. Остывая, подрагивали лошади.

— Всыпь ей до горячего!—посоветовал Осярка.

— Ну раз нейдет,—пожаловался кучер и покорно добавил:—Так вот и гибнут.

Секретарь встал, за спиной у него взмыли огромными крыльями полы тулупа. Искорки гнева тлели в его глазах, он жестко сдавил плечо бригадира.

— Слушай! Ты брось Христа обыгрывать. Словами шути, а дело делай!—Нечто от Ивана Андреича жестко громыхнуло в его словах.

— Разве обратно попытать?—неуверенно предложил Обросим.

— Не смей!—обозлившись прикрикнул Осярка.—Следи за вешкой, под уздцы поведу!—и единым махом выскочил из возка.

Через минуту от него донеслось.

— Гляди-ка сюда!

Обросим не успел еще подбежать к нему, а он уже окунулся без слов в омут метели, вправо, куда так настойчиво звала Грачиха. Возле нее и дальше, в сторону убежавшего Осярки, снег заметно ноздрился множеством круглых лунок, какие остаются в земле после выдернутого частокола.

Секретарь появился из пурги, закрывая прихваченное ухо, по-мальчишески в однодышку сообщил:

— След! Сгореть на этом месте—табун недавно прошел! Замести как следует не успело... Рискнем, что ли?!

Обросим раздумывал одно только мгновенье, с вернувшейся бесшабашностью махнул рукой.

— Айда! Семь смертей не бывать...

Осярка сам схватил вожжи. Метель хлестала теперь в щеку. Грачиха без напоминаний старательно месила снег, уверенно вела за собою Малыша.

Парень толкнул своего спутника.

— Слущай!

Сбоку, из снежной мглы и сумятицы к ним долетел вопль гибнущего зверя, зовущего в последней надежде на помощь на чужом для человека языке. Он, слышнее, возник снова, воющей струей высоко полился над голосами бурана.

— Господи, крест!—широко размахнулся бригадир на правое плечо.

— Это же собака будет!—определил секретарь. Кувыркнулся из возка, побежал, призывая:—Жук! Где ты, Жук?!

Черный, крутящийся комок вырвался из мутного кипятка, хрипло захлебываясь от счастья, скакнул на грудь, оборвался—упал на бок. Осярка схватил его, прижал. Старый, маленький пес карабкался из рук, просился вперед.

— Дядя Обросим, сюда!..—В тот же миг секретарь кувыркнулся под обрыв, куда получасом раньше слетел Лушка.

— Давай тулуп!—Откуда-то из преисподней услышал Толоконкин.

На дне оврага, за уступом скучились телята. В самой гуще их, около приунывшей Резвухи, стоял на одном колене Осярка, придерживая сонную Лушкину голову. Потом вырвал тулуп и, широко расстелив его вверх шерстью, положил пастушонка; помня когда-то вычитанное из плаката, начал поднимать и опускать его руки.

— Это все пустяки,—сказал Обросим, вышибая из посудины пробку,—на-ка вот, поважнее.

Секретарь растерзал на груди пастушонка одежду, сорвал онучи; захватывал полные горсти снега и, обильно поливая их водкой, сильно тер ему лицо, грудь, ноги—до тех пор, пока не заструилась из-под ладоней горячая испарина.

— В горло,—вмешался Толоконкин.

Лушка поперхнулся и сморщился. Комсомолец далеко отбросил опустевшую бутылку.

— Что ты тут делаешь, малыш?—спросил бригадир, слезливо взирая на левую его щеку, что мертвенно отличалась от пылавшей правой.

— А вот, гоню,—слабо отвечал парнишка.—Там Резвуха отбилась. Догнал, что ли, ее Жук?

— Лушка!—изумился секретарь.—Зачем ты, не щадя жизни, погнал? Почему не ждал нас на стану?!

— Домой хочу.

Осярка опомнился, свирепо накинулся на Обросима:

— Заворачивай телят, христослав! Чего стоишь.

Комсомолец завернул пастуха в тулуп и, прижимая к груди драгоценную свою ношу, стал подниматься наверх, туда, где над головой его занималось яснеющее небо.

Толоконкин гнал телят, рассеянно бормоча:

— Дети не резон, хватит их, а вот учиться у них трудов стоит.

Обратно ехали молча. Резво рысили лошади. Еле успевали за ними продрогшие телята. Осярка правил. Обросим придерживал на Лушке тулупы,—он своим еще укрыл пастущонка. Когда замаячило в просветлевшей дали село, секретарь повернулся и нравоучительно произнес:

— Не с того конца ты начал лень свою ломать: иная жертва только землю унавозит, подумай-ка...

— Вас, чертей, надо разумшись бегом догонять,—сумрачно ответил Обросим.

— Умереть успеешь, драться умей,—добавил секретарь.

Бригадир промолчал. Он думал.

ПЕСНЯ О БРАТЕ

После боя на привале
Был убит и брат и конь,
Умер брат,
А мне оставил
С громкой песнею гармонь.

Я беру гармонь, играю,
Песня сердцем не забыта.
Как братишку за сараем
Расстрелял отряд бандитов.

Кучерявый и веселый
На коне летел галопом,
Белых бил в стенах и в селах
И под диким Перекопом.

Щекотало ветром знамя,
Бодро шел в походы конь,
В тесной сумке за плечами
Брат всегда возил гармонь.

Бабы в селах,
Девки в селах,
Девки сладкие, как сливы,
За один кивок веселый
Горячей бойцов любили.

У деревни на привале
Разведет отряд огонь,
Брат из сумки вынимает
Пестрозвучную гармонь.

Только как-то на поляну,
Где бойцы лежали в ряд,
Как гроза, стремглав нагрянул
Из степных бродяг отряд.

А земля была сырая,
Ветер дул со всех концов.
Закопали за сараем
В яму тесную бойцов.

Не был я в боях открытых,
Только знаю,
Крепко знаю,
Эти песни не забыты,
Эти песни мы играем.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Пьеса в 3-х действиях

Действующих лиц—21
Мужских —14
Женских — 7
Взрослых — 8
Молодежи —13

Время действия: 1917—1920 годы.
Место действия: крупный промышленный центр, фронт, снова крупный промышленный центр.

Декорации:

Общежитие съезда. Кулуары съезда. Здание б. прогимназии, в первом этаже которого—райком большевиков, во втором—квартира Савранского. Токарный цех. Баррикада. Глухая железнодорожная станция. Лес.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Гливенко Анна Сергеевна—секретарь большевистского райкома, интеллигентка, 51 год.
Мельников Василий Егорыч—рабочий-большевик завода Омлей, 32 года.

Алексеев Саша —17 лет
Маркина Паня —16 лет
Лешка —14 лет
} рабочая молодежь завода Омлей.

Савранский Леонид —18 лет
Поздняк Соня —16 лет
Руднев Михаил —17 лет
Игорь —16 лет
} члены кружка учащихся-социалистов.

Евсеев Митя —16 лет
Ивушкина Зина —16 лет
} молодежь на глухой ж.-д. станции.

Величкин—большевик, председатель завкома, 36 лет.
Егор Семенович—крестьянин, 55 лет.
Начальник зеленых.
1-й
2-й
} зеленые.
Нинка
Гармонист
} в отряде Савранского.

Шурыгин — сподвижник Савранского на съезде.

1-й
2-й } делегаты комсомольского съезда.
3-й

Рабочая молодежь, юнкера, зеленые, красноармейцы, делегаты комсомольского съезда.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена первая

Здание с вывеской «Женская прогимназия К. А. Саврачской. На подъезде первого этажа другая вывеска. «Р йком РСДРП (большевиков)». Улица слева не видна, по ней идет демонстрация. Смеркается. Слышна «Марсельеза», возгласы толпы.

Подымается стена во втором этаже. Комната Савранского. Вечер. «Марсельеза» удаляется, замирают гомон, крики. В комнате Савранский и Игорь. Савранский пишет.

Игорь *(высунувшись в окно)*. Что? Предпочитаю пить кофе и заниматься утренней гимнастикой. Что? Взяли? *(К Савранскому.)* Какой-то огород взяли.

Савранский *(написал несколько строк, к Игорю)*. Послушай, это будет воззвание! Западно-европейская молодежь... с первых своих шагов... начала пламенную проповедь мира и братства народов против кошмара наших дней—войны. Наши молодые искренние и правдивые товарищи по ту сторону границы поняли, что война ведется деспотами из-за своих шкурных интересов. Война—это смерч, превращающий в груды развалин города, села и фабрики. Война несет одичание и озверение всему миру. Она... нет, не то! И вот наши товарищи с Запада зовут нас протестовать против этого вопиющего зла. Молодые, отзывчивые сердцем, выходите с криками: «долой войну», «долой международных хищников», «мир хижинам — война...»

Входит Михаил, бросает кипу листовок, устало опускается на стул, следом за ним вбегает Соня с несколькими листовками.

Соня *(восторженно)*. Товарищи! Ну, как у вас? Я расклеила целую сотню! Все шло прекрасно, только в одном месте натолкнулась на какого-то дядю: стоит не уходит. Я к нему: «Товарищ, подержи ведерко!»—«С удовольствием, барышня!»—берет ведерко. Прочитал, пришел в ярость. «Кто это вам велел такие гнусные воззвания расклеивать?»—«Почему же они гнусные?»—«Гнусные—это вам наверное большевики подсунули».—«А вы кто, не меньшевик ли?»—«Да, социал-демократ, и должен вам сказать, что вы попали в руки..» *(Хохочет.)*

И г о р ь *(кусая ногти)*. Не понимаю, чему ты рада? С твоей работой справился бы любой дворник.

М и х а и л *(добродушно)*. Нет, я вот чего не понимаю. Зачем в течение года занимались Марксом и Плехановым? Меня весь день гоняли с какими-то бумажками. Полюбуйтесь... *(Указывает на прорванный рукав)*. Искал некий завод и в нем некоего Мельникова, облазил все переулки, увы, безуспешно. Ну, Анна Сергеевна! Поведать бы ей мои испытания! Начать с того, что уже в трамвае я забыл название этого завода. *(С усмешкой.)* Какое-то чудовищное название! Хорошо, что еще древнюю историю проходил. Завод не то «Помпей», не то «Бомбей». Спрашиваю какого-то рабочего. — «Вам, говорит, наверное Омлей надо? Так он будет третий налево». Свернул налево, действительно, дымит! Однако на завод не пропустили. Подозрительно, я бы сказал, даже посмотрели и сказали: «Мельниковых у нас здесь тыща, а вы, молодой человек, лучше шли бы отсюда, у нас, кстати, и трамвай до центру ходит. Опять же рабочие жалуются, что польта пропадают». *(Смеется.)*

С о н я. Сознавайся, ты наверное всю дорогу эрфуртскую программу изучал. Ты по рассеянности, может быть, какую-нибудь прачечную за завод принял?

М и х а и л. Нет, определенно дымилось... Определенно помню, что труба.

Соня смеется.

И г о р ь *(равнодушно)*. А я отказался.

С о н я. Как? Как отказался?

И г о р ь *(желчно)*. Так, просто отказался. Унизительным считаю... да, считаю унизительным. И затею Анны Сергеевны тоже считаю...

С о н я. Кстати, вот, вот и она...

Входит Гливенко.

Г л и в е н к о. Товарищи, я к вам пришла на несколько минут. Положение очень серьезно. Я пришла, прямо скажу, только для того, чтобы отругать вас. Ну, куда это годится? *(Михаилу.)* Мельников мне сказал, что ты у него не был.

С о н я. Анна Сергеевна, не усматривайте злого умысла, причина—его обычная рассеянность. Он по дороге эрфуртскую программу изучал и позабыл название завода.

Г л и в е н к о. Разумеется, я виню прежде всего себя, я мало уделяла вам внимания, плохо вас воспитывала. Мы занимались с вами книжками, а вот, когда потребовалось перейти к делу...

И г о р ь. Дело делу рознь.

Гливенко. Нельзя пренебрегать делом, даже если оно на первый взгляд кажется невзрачным, мелким. Если оно служит делу партии.

Игорь *(едко)*. Почему бы районному комитету не нанять скаутов или дворников? Я лично мог бы собрать нужную для этого сумму.

Гливенко. Скажите, какой щедрый! Однако так еще никогда не разговаривали в кружке.

Игорь. А это потому, что вы перестали считаться с нашими запросами. Сколько я могу судить, даже в подполье учащуюся молодежь использовали в качестве пропагандистов, а не разносчиков.

Гливенко. Глупости! Надо думать о запросах революции, а не о каких-то своих глупых запросах. Учащаяся молодежь...Подполье... Милый мой, таким, как ты, в подполье лифт требовался, на лифте в подполье спускались.

Общий смех.

Михаил. Привык огрызаться в гимназии и воображаешь разговор с инспектором. Твоя привычка мыслить желчью, Игорь, на этот раз оказывает тебе плохую услугу, в гимназии она свергает основы и потому революционна, в данном случае она начинает попросту... смердеть.

Игорь. Подумаешь, оскорбил! Небось так же думаешь, а мужества нехватает. Я привык...

Гливенко *(перебивая)*. Не фырчи, ну кому интересно, к чему ты привык? Интересно то, к чему сейчас, сегодня, нынче привыкать надо, голова! *(Ко всем.)* Что? Резко? Не нравится? Так вот, хотите еще несколько теплых слов скажу на прощанье?.. Меня ждут. *(Пауза.)* Я думаю, что мужества вам, действительно, нехватает и еще нехватает рабочей молодежи. Подумайте об этом! *(Уходит.)*

Савранский *(взволнованно)*. Замолчите!.. Действительно, что делается там! *(Указывает на окно.)* И чем занимаемся мы здесь! Миллионы юношей пробуждены к сознательной жизни, они жаждут действия, они ждут лучшего будущего. Кто, если не мы, должны их повести? Или вы думаете, что им интересно быть свидетелями ваших упражнений во взаимном препирательстве? Товарищи! Именем всех лучших традиций кружка, именем всего, что нас связывает, я зову вас выйти в открытое море борьбы.

Соня. Леничка, восхитительно!

Игорь. Конкретней.

Савранский *(с жаром)*. Конкретней—на том заводе, куда не попал Миша, именно на заводе Омлей работает друг моего детства Саша Алексеев.

Игорь *(язвительно)*. Не сын ли твоей кухарки?

Савранский *(с ожесточением)*. Да, представь себе, угадал... Через него необходимо связаться с рабочей молодежью завода. Я предлагаю сейчас же выбрать делегацию. Я думаю, что выражу единодушное мнение кружка, твое, Миша, твое, Соня...

Соня. Да, да, конечно!

Савранский. И твое, Игорь, что мы сумеем загладить наш сегодняшний провал и не только себя отдадим борьбе, но и поведем тысячи раскованной рабочей молодежи.

Соня *(хлопает в ладоши)*. Леничка, чудно, чудно! *(Обнимает его.)* Товарищи, первая кандидатура, конечно, моя. Возражений нет?

Михаил. Разумеется, хотя бы по одному тому, что поиски этого Омлея не менее трудны, чем поиски земли Ханаанской, и делегатам потребуется... развлечение!

Соня. Вторым я предлагаю Мишу в доказательство, в доказательство, что я на тебя не обиделась. Затем Игоря, чтобы он не сидел как бирюк.

Игорь. Нет, извините, без меня!

Соня. И наконец Леню, при условии... что он прочтет новые стихи. Леничка, читай стихи!

Савранский. Не могу.

Соня. Леня! Новые свои!

Михаил. Читай, старик!

Савранский. Подождите. Дайте вспомнить. *(Встал, закрыл глаза, читает.)*

Я сегодня проснулся ослепительно ясный.
Ослепительно смело я кричу, плачу:
Я плачу тебе гневом, мир насилья ужасный,
Кто со мной и за мной, становися к плечу.
Храм, который мы выстроим, будет пурпурно-алый,
В нем не будет проклятий и мучительных слез,
Мы войдем в него гордо, современные галлы,
Будем черпать ладонями счастье из грез.
Не боимся мы бури, не сломает она нас.
Ананасы в шампанском мы в бокалах взорвем.
Вместе с ним мы взорвем и лишим тебя сана.
Старый, гнусный, плешивый, исторический гном.

Соня. Чудно, чудно! *(Бурно аплодирует.)*. На завод, на завод, товарищи! *(Берет под руку Савранского.)*

Все поднимаются, идут к выходу.

Занавес

Сцена вторая

Завод. Цех. Гудок. Идет Величкин с ведерком, наклеивает объявления. Уходит. Из глубины сцены выходят рабочие, располагаются на завтрак.

1-й рабочий *(увидел объявление)*. Стой! Новое! Прочтем. *(Читает.)* «Ко всем рабочим завода Омлей. Воззвание». К нам, стало быть, воззвание. «Товарищи рабочие. Злейшие враги свободы—немцы—терпят поражения на западном фронте...»

2-й рабочий. Слыхали.

1-й рабочий. Постой! «Наши доблестные союзники теснят врага. У кайзера Вильгельма теперь одна надежда—посеять в России смуту, поссорить нас с союзниками, заключить позорный для России сепаратный мир...»

3-й рабочий *(отрываясь от еды)*. Насчет мира что-то, или я ослышался?

1-й рабочий. «Агенты кайзера разлагают фронт, разжигают гражданскую войну. Свободный народ в эту тяжелую минуту испытаний должен сплотиться воедино вокруг Временного правительства. Свободный рабочий, помни—наш завод работает на оборону. Дирекция и фабричный комитет приняли решение об удлинении рабочего дня *(поднял палец)* на два часа и обращаются к тебе с призывом—мужественно работать, чтобы довести войну до победного конца. Да здравствует Временное правительство! Да здравствует учредительно...» *(Принимается за завтрак.)* «Друзья» пишут.

2-й рабочий. Друг Величкин сочинил!

3-й рабочий. А что ему в конторе делать,— стихи писать.

1-й рабочий. Такими воззваниями только смуту и сеют.

2-й рабочий. Сам пишет, сам небось и клеит. Выбрали такого, соловьем за рабочих пел, а теперь вишь, какие штучки отмахивает.

3-й рабочий. Дай-кось мы свою резолюцию положим. *(Вынимает карандаш, плюет на него, сосредоточенно пишет.)*

1-й рабочий *(жуя)*. Ну-ка, что написал? *(Читает.)* «Прибавить четыре часа дирекции и конторщикам, а также временному правителю Величкину». *(Дружный смех.)*

Из цеха выходят Саша Алексеев и Паня.

Алексеев *(тихо)*. Придешь ли вечером?

Паня. Куда?

Алексеев. На курсы.

Паня. На курсы? Приду.

Алексеев. Ждать ли?

Паня. Не надо, я еще домой сбегаю.

Алексеев. Ты смотри не подведи... *(Быстро поправляясь.)* Пропустишь одно занятие, трудно будет тебе потом.

Паня. Я приду. *(Алексеев задерживает ее руку.)* Пусти!

Подходит Мельников.

Мельников *(Алексееву)*. Он твою деталь опять забраковал.

Алексеев. Кто?

Мельников. Кто? Мастер. Это, брат, тебе твоей получки на семечки не хватит. *(Проходит дальше.)*

Бежит Лешка.

Лешка. Саша, Паничка, новость слыхали? Наша революция кончилась.

Алексеев. Что ты порешь? На митинге опять что ли был?

Лешка. С сегодняшнего дня контрреволюция настала!

Алексеев. Надо тебе, Лешка, на митинги перестать ходить, ум за разум зашел!

Лешка. Курсы-то наши, курсики закрыли!

Алексеев *(вскипев)*. Как?! Кто закрыл?!

Лешка. Величкин! Ума не приложу, где вам теперь, Паничка, свидание назначать? В парк, наверное, не решитесь со мной пойти? Зарезал меня Величкин. Помогите мне ему месть учинить.

Паня. Что ты плетешь, Леша?

Алексеев. Ты это выдумал? Правда?

Лешка. А вот Величкин идет. Спроси!

Подходит Величкин.

Величкин *(подает Лешке клей и кисточку)*. Вот расклей в своем цехе, пострел. Да живо!

Лешка. Не буду я вам нынче клеить.

Величкин. Что с тобой нынче?

Лешка. Не буду! Зачем курсы квалификации закрыли?

Алексеев. Андрей Петрович, правду он говорит, будто вы курсы квалификации закрыли?

Паня. Правда это?

Величкин. Приходится, приходится, ребятки. Будете встречаться в парке.

Паня. Величкин! Объясните, почему закрыли курсы?

Стыдно после этого вам на митингах о свободе говорить, если вы нам курсы урезаете.

Величкин. Заказы! Завод переходит на оборону. Побьем немцев... тогда...

Паня. Довольно обидно, Андрей Петрович, знаете, мы с этим не согласны.

Алексеев *(вспылив)*. Тебя рабочие не для того выбрали. Это понимать надо!

Величкин. Ну, ну, не хамить. Вот вам объявление, расклейте! *(Тычет им объявление. Алексеев не берет, Паня тоже; Величкин всучивает его Лешке, уходит.)*

Лешка прочел объявление, потом сделал из него голубя, с остервенением пускает. Возвращается Мельников.

Мельников *(Алексееву)*. Да... А что же ваши курсы по квалификации? Или ты не ходишь на них?

Алексеев. Нету. Василий Егорович, курсов. Крышка им.

Мельников. Как так?

Алексеев. Величкин закрыл.

Мельников. Величкин? Ну, а вы чего смотрите, молодежь?

Алексеев. Он что-то про оборону говорил, заказы получил, на оборону. На курсы нам администрацией час давался, так им теперь часу жалко.

Мельников. Ну, а вы чего смотрите, молодежь?

Лешка. Что ты, Василь Егорыч, смеешься что ли? Кто нас послушает? *(Убегает.)*

Мельников. Ну, стало быть, так вам и надо. Стало быть, правильно поступил.

Алексеев. Обидно это от тебя, Василий Егорыч, слышать.

Мельников. А чего обижаться. Кто кого сможет, тот того гложет. Это такая пословица есть.

Алексеев. Я тоже пословицы знаю: не до шуток рыбке, когда крючком под жабры хватают.

Мельников. А ты не жди, пока крючком зацепят. Величкин—он кто? Он за это жалованье получает от хозяина; так что ему про оборону говорить. А ты свой взгляд имей, небось не один. Слыхал про союз молодежи?

Алексеев. Слыхал, да только не знаю, где он.

Мельников. А ты узнай.

Алексеев. Стой, Василий Егорыч, я один такой союз знаю, это где у меня мать в прислугах, там ученики собираются, говорят, книжки читают, социалисты. Только у них наверное свои запросы. Страсть не люблю, которые с гербами. Я их до свободы немало покалечил.

Возвращается Лешка.

Л е ш к а *(шопотом)*. Саша, там гимназисты пришли: «Кто, говорят, у вас из молодежи главный?» Хотят о союзе поговорить. Пойдем! *(Тащит его. Помолчав.)* А барышня-то какая... симпатичная...

М е л ь н и к о в. Ступай, ступай!

Алексей вытирает руки, уходит с Лешкой. Возвращается с Савранским и Соней. Лешка с умилением смотрит на Соню.

С а в р а н с к и й. Ну вот, Саша, теперь что же? Теперь надо соединиться по примеру западного юношества. Наш кружок существует уже полгода. Мы поставили себе задачу: по примеру заграничной молодежи, отстаивать интересы юношества и прежде всего вести решительную борьбу против войны. Мы пришли... помочь вам!

А л е к с е е в. Вижу.

С а в р а н с к и й *(покровительственно)*. Ты парень, что надо! Возьмись, а мы поможем.

А л е к с е е в *(сдержанно)*. Чувствую.

С а в р а н с к и й. Вот тебе брошюрка и журнал, ведь ты небось... грамотный?

А л е к с е е в *(со скрытой усмешкой)*. Немножко понимаю.

С а в р а н с к и й. А кто у вас еще есть... из молодежи? *(Отходит с Алексеевым к Пане.)*

Происходит немая сцена между Лешкой и Соней. Они смущенно осматривают друг друга. Лешка убирает руки, попеременно меняет ногу, вытирает руки платком, старается прикрыть часть продранной одежды.

Л е ш к а *(после долгого молчания)*. А у нас тут яма большая есть. *(Соня вопросительно смотрит на него.)* Там у ворот, не видели?

С о н я. Нет.

Л е ш к а. Такая большая яма, разве не видели?

С о н я. Нет. А скажите, это какой цех?

Л е ш к а. Это ремонтный.

С о н я. Так шумно?

Л е ш к а. Очень шумно. *(Молчание.)* Когда будете обратно итти, вы меня с собой возьмите, я вас другой дорогой поведу, там чище и ям нету. А вы как... тоже из союза будете, или... с товарищем?

С о н я. Я член союза.

Л е ш к а. Вы больше к нам не придете?

С о н я. Еще приду. А там какой цех?

Л е ш к а. Сборочный.

С о н я. А что это несут?

Лешка. Где?

Соня. Вон, что-то похожее на огромную лягушку.

Лешка. Это кронштейн. Если им по голове вдарить, враз жизни лишишься. Одного рабочего у нас недавно раскрошило.

Соня. Как же это?

Лешка. Подвешивали его, а он спрыгнул, нашей одной девушки отца убило. Вот она стоит. Паней зовут.

Соня *(изумленно)*. Да что вы говорите! *(С сочувствием рассматривает Паню.)*

Алексеев *(подходя)*. Леша, бегите с Паней по цехам, собирайте ребят. Сейчас митинг организуем.

Лешка *(с готовностью)*. Сейчас, мигом! *(К Соне.)* Извините! *(Хватает Паню за руку, убегает.)*

Соня *(Савранскому)*. Какой милый парень, ну право, Ванька Жуков из Чехова.

Савранский *(тихо)*. Оставь эти сравнения, надо выражаться проще. *(К Алексееву.)* Ну, значит... будем, значит, бороться вместе, Саша!? Дай руку!

Занавес

Сцена третья

Декорация первой сцены первого действия. Комната Савранского. Савранский ходит взад-вперед по комнате, время от времени подходя к столу и вписывая несколько строк. Звонок за сценой. Кто-то вошел. Голоса за сценой. Стук в дверь. Горничная.

Горничная. Леонид Андреич, к вам пришли.

Савранский. Просите. Пусть войдут.

Входят Алексеев и Паня—она несколько смущена.

Алексеев. Здорово, Леонид! Ничего, что с ней?

Савранский *(заметив смущение Пани)*. Ну, что ты? Наоборот, очень хорошо! Садитесь, я вам рад и можете держать себя непринужденно, как сказано у одного поэта. *(К Алексееву.)* Что нового?

Алексеев. Готовимся. А как воззвание?

Савранский. Воззвание? Прочесть?

Алексеев *(садясь)*. Послушаем.

Савранский. Слушайте! *(Берет листы.)* Итак: «Рабочие юноши и девушки! Пусть проникнет в ваши сердца наш пламенный братский призыв! Пусть пробудит все крылатые мечты юности, все грезы и порывы и перенесет вас в чарующее царство будущего и поселит в вас страстное желание бороться с тьмой и насилием!» Как? Для начала?

Алексеев. Насчет насилия это—правильно.

Савранский. Обрати внимание на художественную сторону: «Товарищи! Враг душил в своих костлявых объятиях обездоленный люд всего мира! Море крови, горы трупов, проклятия, стоны погибающих. Тьма грозила поглотить весь мир. Но вот блеснул первый ослепительный луч света. То прилетела в мир первая ласточка революции. Все пробудил, всех увлек могучий поток».

Алексеев *(с еле скрытым нетерпением)*. Про молодежь не сказано.

Савранский. Слушай. «Неужели же мы, юные пролетарии, самые пылкие, самые отзывчивые, не встанем грозной мощной ратью на защиту родного дела? Мы—молодежь, и у нас впереди еще целая жизнь. Мы не хотим, чтобы она прошла, как жили наши отцы. Мы не хотим цепей, хотим лучезарного счастья, радостной, яркой, полной жизни. Ведь вся жизнь впереди, товарищи! Мы, юные пролетарии, жаждем света, а потому идем на смертный бой с капиталом. Трепещите, тираны! Мир хижинам, война—дворцам!»

Паня *(с почтительным благоговением)*. Хорошо как!

Савранский *(вытер лоб. К Алексееву)*. Ну вот, теперь опять слушай. Сейчас будет заседание комитета, надо выступить, ты понимаешь—нам не доверят первого самостоятельного выступления.

Алексеев. Мельников тоже беспокоится.

Савранский. Мельников! Что Мельников? Нужно убедить Гливенко. Надо высказать свое мнение. Ты представляешь? Море голов! Музыка! Революционные гимны! А? Наши шаги будет слышать весь мир! А представляешь себе выражение лиц прохожих?

Паня. Если пройти мимо нашего завода, чтобы хозяин видел и Величкин.

Савранский. И Величкин, да! *(К Алексееву.)* Но ты, как будто... ты что-то не выражаешь настоящего чувства, ты колеблешься.

Алексеев *(мнется)*. Немножко есть. Ну, вы тут посидите, а я пойду мать проведаю *(к Пане)*, здесь у меня мать в прислугах. *(Уходит.)*

Савранский *(вдогонку)*. Кстати... скажи ей, чтобы она чай поставила!

Молчание.

Савранский *(к Пане)*. Ну, как вам, Паня, нравится моя обитель?

Паня *(рассматривая обстановку, после некоторого молчания)*. Так, наверное, будут жить все рабочие при социализме. А только мне знаете что не понятно, товарищ Савранский? *(Запнулась.)*

Савранский *(любуясь ее смущением)*. Что?

Паня. Неловко как бы даже спросить.

Савранский *(еще более умиляясь)*. Ну, зачем же стесняться, ведь вы же у своего товарища.

Паня *(решительно)*. Вот зачем вы от такой жизни к нам идете, к рабочим? Вам-то чего надо?

Савранский *(вздохнув)*. Это очень серьезный вопрос, Паня. Вот видите. *(Указывает на книги.)* Мальчики моего возраста из книг усваивали страсть к путешествиям, бежали из дому в Америку или занимались выслеживанием несуществующих преступников. Меня же они научили не удовлетворяться сытой жизнью. Они научили меня мечтать о том, чтобы отдать свою жизнь для счастья всех обиженных и угнетенных. Во сне я часто видел огромную толпу людей с обезображенными страшными лицами; меня ведут на эшафот. Сердце мое захлебывалось от радости, что я умираю за них, хотя они этого и не понимают. *(Пауза.)* Ты этого еще тоже не можешь понять, Паня!

Паня. Нет, я понимаю, что ты добрый.

Савранский. «Добрый», это так просто сказано. Книги имеют и плохую сторону, они лишают человека той простоты, которая есть в людях мало образованных.

Паня *(вздохнув)*. Мне надо, значит, много прочитать книг, потому что я этого не мечтала.

Савранский *(с умилением)*. Вот как! О чем же ты мечтала, Паня?

Паня. Я мечтала за отца, чтобы он перестал пить; это ужас, какой он был злой, когда напивался; во сне мне снилось, что его несут мертвым с перепою. Оно так и вышло. Он пошел пьяный на работу и его задавило кронштейном.

Савранский. У тебя была тяжелая жизнь, Паня.

Паня. Теперь стала революция, и я стала больше видеть, что есть хорошего в жизни. Раньше, бывало, встретишь дочку нашего бухгалтера с нотами или слышишь, как она играет на рояли, то даже этим не интересовалась, а теперь вот состою в союзе и как слушаю речи или стихи, то хочется все это уметь и стала к чему-то стремиться. Только знаешь, товарищ Савранский, иногда подумаю и кажется—стало мне еще хуже, потому что возможностей никаких нет, только получается одно раздражение. Вот теперь ты будешь обо мне думать плохо. Я тебе всю правду про себя рассказала.

Савранский. Наш союз, Паня, поможет тебе. Мы отомстим за тебя этому проклятому миру. Завтра тысячи таких, как ты, прямо с завода, с копотью на лице пройдут по кварталам буржуазии. Они содрогнутся и поймут, что под грязными лохмотьями рабочей одежды бьются горячие революционные сердца.

Паня *(сконфуженно)*. А я думала вымыться и переодеться, ведь одно дело на работе, а для демонстрации надо переодеться.

Савранский *(с воодушевлением)*. Нет, не делай этого. Они должны наконец увидеть, что пока мир делится на грязных и чистых, все слова о свободе—ложь и обман. Скажи... Впрочем, не стоит об этом спрашивать.

Паня. Нет, ты спрашивай, мне интересно с тобой говорить.

Савранский. Ты это можешь как-нибудь неверно понять. Как ты относишься к Алексееву?

Паня. Это к Сашке-то? А я думала, чего ты хочешь спросить.

Савранский. Да.

Паня. Очень, очень хорошо отношусь, ведь это же наш самый лучший парень на заводе.

Савранский. Да, он хороший парень.

Паня. Ты это сказал так, точно он чем-то и нехороший.

Савранский. Видишь ли... но ты опять можешь меня неправильно понять.

Паня *(с явным интересом)*. Нет, нет, скажи, мне очень интересно узнать твое мнение о нем.

Савранский. Я, может быть, тебя огорчу. Во-первых, он мне кажется очень недалеким.

Паня. Как ты сказал?

Савранский. Недалеким. Недалекий—это человек с узким кругозором, который не видит ничего дальше своего носа. Мне кажется, что он не способен к сильным порывам, ну, он не может, например, мечтать даже так, как ты.

Паня. Нет, ты не знаешь его. Он только этого не показывает на людях. Как только встретится с незнакомым человеком, так сразу каким-то хмурым кажется. А он не такой. Я уверяю тебя, что он не такой. Мне даже больно, что ты о нем так думаешь.

Савранский. Ну, да, я так и знал. Когда-нибудь ты это поймешь. Ну, вот хотя бы взять нашу демонстрацию. Он готов отказаться от нее, если Мельников или Гливенко выскажутся против.

Паня. Мельникова он должен слушать. Ведь Мельников старше его, он и до революции за свободу дрался, на каторге состоял.

Савранский, Да, но это то же, что отца с матерью слушать. Вот уже по этому одному он не годится в руководители молодежи. Я думаю, что в недалеком времени ты должна сменить Алексеева на заводе...

Слышны шаги, говор, входит Алексеев.

Алексеев. Нет хуже приходить к матери—не вырвешься!

Савранский *(замялся, смотрит на часы)*. Пошли, там уже началось.

Алексеев. Стой!.. Знаешь, чего в воззвании нехватает? Я об этом думал...

Савранский. Чего?

Алексеев. Надо приписать, что мы... ну, одним словом, требуем, чтобы рабочие отвоевали власть у гадов буржуазии. Это обязательно припиши... Это необходимо нужно. Понял?

Сцена четвертая

Комната союза молодежи в первом этаже здания. Страшный беспорядок. В углу кипа листовок и газет. Висят портреты Карла Маркса, Некрасова, Тургенева, Грибоедова. Группы о чем-то спорящей молодежи. Соня рисует портрет. Приотворяется дверь, заглядывает Лешка.

Соня. Леша! Входите. Здесь ям нет.

Лешка *(набираясь храбрости)*. Оно и видно. Вот здесь у дверей тряпочка должна лежать такая для ног.

Соня. Это предрассудок. Входите, Леша. Нравится вам моя работа?

Лешка. Неужели это можно так углем?

Соня. Как видите.

Лешка. А я вам могу много угля достать. У нас на заводе хороший антрацит валяется.

Соня. Вот им-то как раз ничего и не нарисуешь. Но вы мне не ответили, как вам нравится рисунок?

Лешка. Не нравится.

Соня *(притворно сердясь)*. Почему же?

Лешка *(замялся.)* Нарисовали бы помоложе, да покрасивше.

Соня *(расхохотавшись)*. Вот как? Ну с кого же рисовать?

Л е ш к а. А вот хотя бы... *(осматривает ее)*, ну или меня в крайнем случае!

Из комнаты райкома выходит Алексеев.

А л е к с е е в. Ребята, отыщите мне газету за пятнадцатое число. *(Увидел работу Сони, заинтересовался.)* Да, что-то проясняется. Крылов?

С о н я *(с недоумением)*. Что?

А л е к с е е в. Крылов, сочинитель!

С о н я. Теперь не скажу, угадайте!

А л е к с е е в. Ну, стало быть, Гоголь.

С о н я. Да это же Клара Цеткин!

А л е к с е е в. А-а... действительно немного на Гливенко похожа. *(Уходит.)*

Дверь в комнату райкома партии остается открытой. В ней идет заседание.

Г л и в е н к о *(к Савранскому)*. Нельзя видеть здесь только романтическую сторону: море голов, музыку, революционные гимны. Важно придать этой демонстрации реальный политический смысл. Нужно все то безудержное недовольство обанкротившимся миром помещиков и капиталистов, которое имеется в среде молодежи, всю страсть борьбы за более разумную жизнь, всю силу доверия молодежи к нам, большевикам, отлить в четкие требования: рабочая молодежь требует от советов взять власть в свои руки. Это понял Саша Алексеев—вот чему тебе надо учиться у него... Я разделяю также все опасения высказанные тобой, Мэльников, и те трезвые и разумные меры предосторожности, которые ты предлагаешь. Мы, взрослые, должны принять все меры к тому, чтобы из этой демонстрации озверевшая контрреволюция не устроила кровавой бани. Надо выделить достаточное количество рабочих для охраны нашего юношества от возможных нападений и попыток растоптать, смять, физически уничтожить нашу смену, нашу молодежь.

Общий возглас одобрения.

Из комнаты райкома партии с шумом выходят Алексеев, Савранский и Паня. Разбросанная в разных углах комнаты молодежь устремляется к ним. Несколько голосов, перебивающих друг друга:—Ну что? Как? Что решили? Нет?

А л е к с е е в. Все в порядке. Теперь слушайте, чего от вас надо. Надо, чтобы была молодежь всех заводов... Отправляйтесь по своим ячейкам. Готовьте митинги. Агитаторов пришлем. Связь вот по этой штучке. *(Указывает на телефон.)* Ясно? *(К Соне.)* С Гоголем скорей кончать надо.

С о н *(бросает работу, декламирует)*.

Над седой равниной моря
Гордо реет буревестник
Черной молнии подобный.
Пусть сильнее грянет буря!

Садится за рояль, подбирает «Варшавянку».
Все поют. Уходят.

С ц е н а п я т а я

Двор с низким забором, в некоторых местах проломленным. На втором плане видна улица, перегороженная баррикадой. Слышна отдаленная ружейная перестрелка. Во дворе отряд рабочих, среди них Мельников, Алексеев, Паня, Лешка.

1-й р а б о ч и й. Ишь юнкерье, знай пощелкивает!

2-й р а б о ч и й. И мы бы пощелкали, если б...

П а н я. Патронов нет.

1-й р а б о ч и й. Почему такая нехватка?

2-й р а б о ч и й. Неужели райком взяли?

А л е к с е е в. Этого не может быть! Нам бы наверное знать дали.

1-й р а б о ч и й. Слышь... пулемет! Пулемет!

П а н я. Как плохо без патронов!

1-й р а б о ч и й. Что бы такое отличие установить, когда наш щелкает, а когда их. Обязательно надо бы такое отличие установить.

А л е к с е е в. Поздно схватился, это изобрести надо.

1-й р а б о ч и й. Я бы изобрел, я бы обязательно изобрел!

М е л ь н и к о в *(к Лешке)*. Ну это разве человек? Тебя спрашиваю! Заставу без патрон оставить!

Л е ш к а. Василий Егорыч, что ты на меня кричишь? Я-то здесь при чем?

М е л ь н и к о в *(с раздражением)*. При чем? При том, что он член вашего союза. А соображения столько же, сколько у тебя!

Л е ш к а. Ну я-то на него больше тебя зол. Во как пострелять хочется!

М е л ь н и к о в. Тоже стрелок! Поди, сумей папиросу стрельнуть.

Л е ш к а. Сейчас, мигом!

А л е к с е е в. Василий Егорыч! Без патронов оставаться нельзя, уходить тоже нельзя. Надо подумать за патронами бежать. Только вот как их принести? Один леший знает. Да ведь и послать из нас никого нельзя. Переодеться надо. А Лешку посласть, так он не донесет, да и такого могут задержать.

Л е ш к а *(возвращаясь)*. Ни души, Василий Егорыч, нету.

М е л ь н и к о в *(на Лешку)*. По харе сразу узнают.

Л е ш к а. Сейчас дальше побегу.

С ц е н а ш е с т а я

На улице раздается цоканье копыт, брань извозчика и пассажиров. У баррикады появляется извозчик, затем чиновник и его жена.

И з в о з ч и к. Ну, куда ехать-то, видите? *(Указывает кнутом на баррикады.)* Улица—как перепрудили! Хоть вы зарежьте, а дальше я не поеду.

Ч и н о в н и к. Голубчик, сколько проехали, ведь это уже пригород, ведь вот вокзал даже видно!

И з в о з ч и к. Ну видно, ну что ж, что видно? А ежели мне тут лошадь застрелют?

Раздается отдаленный выстрел.

Ж е н а ч и н о в н и к а. Голубчик! Мы добавим.

И з в о з ч и к. Да что мне ваша прибавка? Да понимаете ли вы это, мне ни вас, ни себя, мне лошадь жалко. *(Заметив подходящего вооруженного Лешку, поклонился.)* Гражданин-товарищ, вот буржуи заставляют на вокзал ехать, чистое горе с ними.

Л е ш к а *(подходя с осанкой, басовито)*. Вот мы их сейчас расстреляем. Махорки нет у тебя? *(Снимает с плеча винтовку.)*

И з в о з ч и к *(достает кисет)*. Махорка отчего ж? Махорка годная, курить можно.

Л е ш к а. Вот спасибо, старичок! *(Кладет кисет в карман.)*

И з в о з ч и к *(разъярясь)*. Да что ты, малец, делаешь? Эксприацию не соблюдаешь? У рабочего человека. Чай, у них получше есть. *(Указывает кнутом на седоков.)*

С о н я *(выходит из-за сцены)*. Мама, что вы наделали? Ужас, что вы со мной делаете! Леша!

Л е ш к а. Соня. Это ваши папа и мама? Низвините. *(К чиновнику.)* Будьте спокойны, вам ничего не будет. Только скажите, вы за кого—за красных или за белых.

Ч и н о в н и к. Мы за скорейшее прибытие на вокзал.

Ж е н а ч и н о в н и к а *(к мужу)*. Митя! *(К Лешке.)* Гражданин-красногвардеец, мы всецело за красных, вот даже наша девочка в союзе состоит, в союзе молодежи. Соня, покажи свой билетик, билетик где твой?

С о н я. Маменька, оставьте, слышите, и никуда я с вами не поеду. *(К Лешке.)* Лешенька, они меня увозят в деревню.

Лешка. Вы что, угнетение делаете, гонение открыли? Молодежь обижаете? Вот вы мне скажите, если вы буржуи, враз.

Жена чиновника. Господи, какие буржуи! Видите, титулярный советник? Жрать-то ведь нечего, ведь от голода бежим.

Лешка. А в чемоданах что? Патроны не везете?

Жена чиновника. Господи, какие патроны? Ну просто домашний скарб.

Лешка *(к извозчику)*. Ну, вот что... вези их на вокзал, на вот тебе кисет, я только на две завертки отсыплю. *(Отсыпает.)*

Извозчик нехотя уходит.

Жена чиновника. Чудесный какой у тебя знакомый, Соничка! Ну, садись скорей. Спасибо вам, молодой человек.

Уходит. Чиновник идет за ней.

Лешка. Низвините за беспокойство! *(К Соне.)* Значит у-уезжаете?.. А-а у нас, а мы... *(Полушопотом.)* Тут наши все, и мы без патронов. Мельников серчает, мне теперь хоть не возвращайся...

Соня в колебании.

Жена чиновника *(оборачиваясь)*. Соничка, ну что же ты?

Лешка. А ежели нас всех убьют, то вы не беспокойтесь, вы, пожалуйста, не беспокойтесь, Соня, я все равно про вас помнить буду.

Соня *(решительно идет за сцену, возвращается с чемоданом)*. Я не поеду с вами, маменька!

Жена чиновника *(идя за ней)*. Соня, ты с ума сошла, пожалей отца, ведь ты убьешь его.

Соня *(к Лешке)*. Леша, заступитесь за меня. Ну скажите им что-нибудь, ведь вы уже взрослый, заступитесь за меня.

Лешка. Мамаша, она только с нами чаю попьет, вот чаю попьет и поедет, она от пуль оробела, вот успокоится и приедет, мы ее доставим вам, вы не беспокойтесь! *(Идут за сцену. Оттуда слышен его окрик.)* Ну, чего стоишь? Поезжай, поезжай, тебе говорят.

Слышен удар бича, гром колес и копыт. Крики чиновницы.

Сцена седьмая

Снова двор с низким забором, в заставе те же. Входят Лешка и Соня с чемоданом.

Мельников. Ну, вот смотрите на него, откуда-то девчонку приволок, это же чистое горе с детьми революцию делать.

Л е ш к а *(полушопотом)*. Василий Егорыч! Да ведь это же Соня.

М е л ь н и к о в. Ну вижу, что Соня, ну что? Ишь чему обрадовался, из нее патронов не сделаешь.

Л е ш к а. Сделаем, Василий Егорыч! Вот честное слово сделаем! И... вот, на, закури! *(Подает Мельникову табак, тот свертывает цыгарку.)*

М е л ь н и к о в. А ведь в самом деле, у него башка варит.

Л е ш к а. Именно, Василий Егорыч, чемодан, чемодан ведь, смотри какой. Мы с нею за патронами сейчас же пойдем.

М е л ь н и к о в *(Соне)*. Есть у вас эта... как его... билетик, или герб какой, что вы в гимназии учитесь?

С о н я. Товарищ Мельников, верьте, не по своей вине. Заставили, отец два дня в обмороке лежал. Я хотела быть с вами, хотела другую одежду одеть, а билет порвать хотела.

М е л ь н и к о в. Ну вот и хорошо, что не порвала, нам это как раз надо. Давай билетик.

Соня подает гимназический билетик.

М е л ь н и к о в *(Лешке)*. Опоражнивай чемодан и живо до райкома, только ты поодаль иди! *(К Соне.)* А если вас задержут, вы им что-нибудь из древней истории начните или из географии, понятно? В четвертом классе, небось, до Юлия Цезаря дошли.

С о н я *(вполголоса)*. Понимаю, понимаю.

М е л ь н и к о в *(к Лешке)*. Зачем же ты все вещи выбрасываешь? Ты немного оставь, чтобы прикрыть, понял? Ну мчитесь!

Лешка и Соня уходят.

М е л ь н и к о в. До чего прекрасно с такими революцию делать! *(Затягивается махоркой.)*

С ц е н а в о с ь м а я

Улица. Вечер. Лешка и Соня возвращаются с патронами.

Л е ш к а *(передавая Соне чемодан)*. Опять кто-то идет, и по виду гад. *(Отходит, нащупывая револьвер.)* Идите мимо, не заговаривая, а ежели что, то я тут же. Заряды у меня полные!

Подходит Михаил.

М и х а и л. Соня!

С о н я. Миша, куда вы?

М и х а и л. А вы куда! И с чемоданом? Бежите?

С о н я. С чего вы взяли, что я бегу? Я никуда не бегу. Вы думаете я вещи несу, на вокзал иду? Я патроны несу для отря-

да. Миша, сейчас же идемте с нами, вам дадут винтовку, бейте юнкеров. Это они, они во всем виноваты.

Михаил. Послушайте меня, Соня, вы белены объелись.

Соня. Не смейте, не смейте, вы трус, я вас презирать буду, если вы сейчас же не пойдете с нами.

Лешка *(подходит)*. Молодой человек, чего вы к барышне пристаете? Видите, она на вокзал спешит, а вы пристаете!

Соня. Да ведь это же член нашего бывшего кружка, его нужно убедить.

Михаил *(добродушно)*. Я преимущественно Марксом агитируюсь. Шел в библиотеку, а она закрыта. В первом томе старик явно выражал свое неудовольствие против того, чтобы при социализме закрывались библиотеки, а девушки вместо того, чтобы читать книги и пить чай с вареньем, таскали патроны. Нет ли у вас второго тома? Может быть он там высказывает нечто резко противоположное?

Лешка. Если он это говорит, то хорошо, что библиотека закрыта. Вы лучше Мельникова почитайте, знаете такого писателя?

Михаил. Мельникова? Такого марксиста не слыхал. Но судя по вашему поведению, учиться у него нечему.

Лешка *(отводя в сторону Михаила)*. Слушай, друг, вот в этом доме, квартира десять, у меня знакомый живет, студент, Еремушкин фамилия, так у него не только Маркс, но и Фаланг, и все есть, ты к нему сходи, скажи Лешка послал, понял? *(Берет чемодан, уходит с Соней.)*

Михаил *(один)*. Нелепо! *(Пожав плечами.)* Пойдем к Еремушкину!

Появляется Игорь.

Игорь. Миша! Ну куда ты прешься, рассеянный человек? С кем это ты стоял?

Михаил. Игорь, нет ли у тебя второго тома Маркса?

Игорь. Я бы с удовольствием достал его, чтобы сжечь.

Михаил. Игорь, я не узнаю тебя, ты сделался готентотом. Ты хочешь сжигать Маркса, а только что... с того самого завода,— помнишь, куда я неудачно ходил?—«Помпей» или «Бомбей», так предлагал заменить его Мельниковым.

Игорь *(насторожившись)*. С завода? Это он с тобой стоял?

Михаил. Ну да, и эта взбалмошная Соня, сила логики которой равна твоей, предлагала мне помочь ей дотащить чемодан с патронами.

Игорь *(насторожившись)*. С патронами? Куда они пошли?

Михаил. Кажется, туда.

Игорь. Прощай, старик! *(Уходит.)*

Михаил *(вдогонку)*. Так нет ли у тебя? Послушай! Ведь ты же все равно его собираешься... Пойду к этому студенту... Еремушкину...

Выходит отряд юнкеров вместе с Игорем.

Игорь *(офицеру)*. Его нужно прихватить с собой, он удобен для разведки.

Офицер. Сейчас, сейчас, сначала отрядим погоню. Как бы не ушли! *(Снаряжает несколько человек в направлении, куда ушли Лешка и Соня, затем преувеличенно вежливо обращается к Михаилу.)* Пройдемся, молодой человек!

Михаил *(вежливо)*. Отвяжитесь, прапорщик, мне нужен Маркс, понимаете вы это или нет?

Офицер *(приторно)*. Отлично понимаю, отлично-с, мы его сейчас расстреливать будем там на баррикадах. Этот Маркс порядком оподлил Россию. Попросту говоря, немецкий шпион и большевик. Пойдемте! А то мы и подстегнуть можем!

Михаил *(удивленно раскрыв глаза)*. Понял я вас!.. В участок?

Офицер. В разведку!

Михаил. Нет уж, давайте лучше в участок.

Офицер. Молодой человек, мы юнкера, а не фараоны!

Михаил. Ну что ж! *(На Игоря.)* Он сбегает... за околоточным...

Офицер *(хохочет)*. Ска-а-жите! Аттестация! А? *(К Игорю.)* Капризный у тебя приятель!

Михаил *(с иронией)*. Нет, в самом деле, прапорщик, судите здраво: вы... умеете воевать, он *(на Игоря)* предавать... а я... Пожалуйста, отправьте меня в участок...

Игорь. Рехнулся!

Офицер. Напротив, довольно отчетливое изъяснение: задержать его!

Доносится короткий крик и стон Сони.

Сцена девятая

Снова двор, в заставе те же.

Алексеев *(вбегая)*. Василий Егорыч! Юнкера!

Мельников. Не удержим улицу.

Алексеев. Надо, значит, сбегать, предупредить, пускай шрифты уносят.

Мельников. Ступай! Постой! Может быть вернутся. Ну, кого послал, кого послал за боевым питанием?

Алексеев. Василий Егорыч, надо предупредить, а то не унесут шрифтов...

Мельников *(колеблясь)*. Ступай... *(Опять задерживает.)* Стой, еще минутку.. Ребята, выходи с засады, делай перебежку, цельсь в них, как будто близко подпустить хотим и пулемет так, чтоб видно было!

Голоса: «Давай, тащи! Эх до чего обидно, орудие без голоса».

В дыру забора пролезает Лешка. Залп.

Мельников. Леша! Это же!.. Хватай патроны, открывай залп!

Залп.

Мельников *(к Лешке)*. Ну, что ты сник, малец?

Лешка *(размазывая слезы)*. Василий Егорыч, Соню-то, ведь Соню-то ведь... убили!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена первая

Кино-карта Советской России, охваченная кольцом белых. Ее сменяет кино-плакат: «Все на помощь фронту».

Улица перед районным комитетом. Карта и плакат оказываются висящими на стене здания, которое порядком потрепано пулями и потеряло свой нарядный вид. Вывеска «Женская прогимназия К. А. Сазранской», тут же полотнище: «Пятая школа II ступени им. Чернышевского». Улица заполнена рабочей молодежью. Гармонь, песни. Подходит группа мобилизованных, среди них Лешка, Алексеев и Паня.

Гармонист *(необыкновенно рослый парень с веснушками)*. А! С Омлея! *(Растягивает меха.)*

Лешка *(к Алексееву)*. Смотри-ка, обещал настаивать, чтоб приняли. Раз союз мобилизовал, значит должны принять!

Алексеев *(к гармонисту)*. Что ты нам все вашинские песни играешь? Ты нам омлеевскую сыграй!

Паня. Верно, сыграй омлеевскую!

Гармонист. Ыгы! *(Как бы что-то смекнув, играет камаринского.)*

Рабочий. Напросились, вот он вам деревню и играет.

Алексеев. Врешь, гармонист, это тоже вашинская. Лешка, сыграй-ка им нашу!

Гармонист передает Лешке гармонь. Лешка играет: «Слышен звон кандальный» и поет.

Рабочий *(смахнув слезу)*. Сукин кот, по-марксистски поет.

Сцена вторая

Помещение райкома. Идет заседание отборочной комиссии на фронт. Гливенко, Мельников, Савранский. Мельников в военной форме. Входит Лешка.

Гливенко. С какого завода?

Лешка. С Омлея.

Мельников. С нашего завода.

Гливенко. Кем мобилизован?

Лешка. Союзом молодежи.

Гливенко. Выписка есть? *(Лешка показывает выписку, читает ее.)* Сколько человек в семье?

Лешка. Мать, сестренка, больше никого нет.

Гливенко. Мать работает?

Лешка. А как же!

Гливенко. Сам-то с какого года?

Лешка. С января 1904 года.

Гливенко. Придется подождать.

Лешка. Хорошо, я посижу здесь.

Гливенко. Нет, не здесь, а на заводе посиди, пока шестнадцать лет будет.

Лешка. Так ведь мне уже шестнадцать, товарищ Гливенко, мне уже шестнадцать, у нас поп в приходе пьяный был, неправильно записал. Вы на эти поповские три месяца не смотрите.

Гливенко. Подождешь, парень, успеешь. Кстати, матери поможешь, отца нет, небось тяжело ей.

Лешка. Так ведь она работает!

Гливенко. Придется подождать. *(К секретарю комиссии.)* Давай следующего!

Лешка *(с минуту помолчав)*. Василий Егорыч, Василий Егорыч *(пауза)*, а патроны кто таскал, помнишь, как Соню убили? *(Размазывает слезы.)*

Савранский *(взволнованно)*. Товарищи, как? Вы и этого не принимаете? Тогда позвольте от имени райкома молодежи внести предложение.

Гливенко. Какое?

Савранский. Создать особый юношеский отряд.

Гливенко. Горяч!

Савранский. Предложение внесено. Прошу голосовать.

Гливенко. И голосовать нечего. *(К Лешке.)* Зови следующего!

Сцена третья

То же помещение. Собрание молодежи.

Савранский. Товарищи, здесь почти весь районный комитет с активом. Я ставлю на повестку дня один вопрос—именно: о форме нашего участия в защите республики. Коммунистическая молодежь показала высокую сознательность, записываясь добровольцами в Красную армию. Нам надо создать самостоятельный отряд. Наши молодежные отряды должны стать своеобразными коммунами, где по-новому разрешаются взаимоотношения людей между собой и создается новая мораль.

Михаил. Стойте, стойте, к чему сводится твоя мысль? Создать отдельный юношеский отряд? Так вот я все-таки не понимаю—зачем нужен отдельный отряд?

Савранский. Не понимаешь?

Михаил. Нет.

Савранский. Ну, пусть это останется фактом твоей биографии. *(Смех.)* В данном случае меня гораздо более интересует мнение рабочей молодежи.

Михаил. По-моему, она выскажется против создания отряда в кавычках.

Савранский. Ты не ошибся. Отряд будет в кавычках—ты и тебе подобные будут этими кавычками.

Алексеев. Красно говоришь, Савранский, но неправильно. Почему? Очень свободно почему. Драться можем, а воевать не умеем. Надо вместе с теми, у кого опыт есть. Чем в своем отряде командиром, я лучше у Мельникова ординарцем буду. Да. Больше толку будет. Что? Или неправильно? А насчет новых отношений я так скажу—новые отношения нужны, но если мы будем отдельно от всей массы—это будет чепуха.

Лешка. А я так скажу—вот вы видите меня? Я из революции выпал. Вот мы теперь знаем, за кем итти. Свой отряд организуем!

Савранский. Молодец. А ты, Паня?

Паня. Товарищи, прямо скажу—я не знаю, как решать. Вот чем-то прав Алексеев, понимаете? Но и Савранский прав, что надо нам, молодежи, новую жизнь строить, вы понимаете это или нет?

Идет Мельников.

Савранский *(смутился)*. Товарищ Мельников, у нас идет горячий спор. Ребята требуют, чтоб молодежи было предоставлено право организовать свой отряд.

Мельников. Та-ак. Кто же это требует?

Лешка. Я.

Мельников. Ты?

Нинка. И я.

Парень. И я.

Мельников *(шутливо)*. И ты? Ну, что ты скажешь?

Алексеев. Василий Егорыч, неправильно! Ведь это же не демонстрация в семнадцатом году. Надо ж понимать разницу. Одно дело выходить с требованиями, а другое дело воевать с Деникиным.

Мельников. Я тоже думаю, что надо воевать с умом. Но ведь, как вас убедишь? Пойдешь ко мне—в разведке будешь. Так ведь? Скромность-то ведь для этого нужна какая. Ну, так ведь у кого ее хватит, хорошо, а у кого нет? Как с ним быть?

Савранский. Товарищ Мельников, скромность приличествует сединам. Правильно я говорю, товарищи?

Голоса. Правильно!

Алексеев. А если я не пойду в твой отряд, тогда что?

Савранский. Тогда... тогда ты пойдешь в полк Мельникова. Посмотрим, где молодежь себя лучше проявит...

Алексеев. Только и всего?

Савранский *(делает прощальный жест рукой)*. Всего.

Нинка. Разведчиком или ординарцем будешь? *(Смех.)*

Мельников. Вот я из твоих слов, Савранский, понял, что ты нас, стариков, вроде гирь рассматриваешь, гирь, которые грузом на тебе лежат, ходу не дают. Ну, ладно, голосуй!

Голосование. С Савранским оказывается меньшинство. Среди них Паня, Лешка и Нинка.

Мельников. Ну, что?

Савранский. Не беда, что нас мало. Посмотрим, где молодежь себя лучше проявит. Нинка, запевай!

Нинка *(поет)*.

Слушай, товарищ,
Война началась.
Бросай свое дело,
В поход собирайся.

(Все поют припев.)

Смело мы в бой пойдем
За власть советов,
И как один умрем
В борьбе за это.

Уходят.

Мельников *(вдогонку)*. Ишь, обрадовались! Стой, условие: отряд отрядом, но подчиняться общему оперативному руководству. Смотри, Савранский, если этого не обеспечишь, худо будет.

Алексеев *(Мельникову—тихо)*. Василий Егорыч, я не согласен...

Мельников. Дело не в отряде, а в руководстве. Он горяч. Надо только вот ему кого-нибудь отсюда дать, чтобы на случай чего, понял? Пойдешь?

Алексеев. Нет, Василий Егорыч. А что если Мишку Руднева к нему политруком? А?

Мельников. Руднев? Ладно. Сообразим.

Уходят.

Сцена четвертая

Деревенская изба. Штаб бригады. Мельников и Алексеев.

Мельников. Командиры все здесь?

Алексеев. Все. Нет Савранского.

Мельников. А вызывали его?

Алексеев. Как же.

Мельников. Та-ак... Конница Мамонтова прорвала фронт. Мы можем очутиться в тылу у противника. Нужно отступать, пожалуй, верст на пятьдесят, не меньше *(указывает на карту)*, вот за эту реку. Там укрепимся и тогда вот на эту станцию *(показывает на карту)* Днище двинем бронепоезд. Там сейчас отряд Савранского. Да вот он, сукин сын, не пришел. Это было наиболее безопасное место, а теперь оно может быть самым опасным. Теперь имейте в виду—в связи с прорывом пойдет восставать кулак, он уже зашевелился. Надо, чтобы разведка на это особое внимание обратила. Вот что, Саша, сейчас же поезжай сам к Савранскому, передай приказ и, главное, не допускай никаких диспутов, а то, ведь, он еще диспут начнет. Пусть сейчас же отступает в Ртищево. А мы здесь решим дальше кому куда.

Сцена пятая

Глухая станция. Эшелон, в котором находится юношеский отряд Савранского. Теплушки увешаны плакатами с самодельными рисунками с подписями: «Бей Деникина», «Да здравствует международная р...». Нинка рисует шарж, где маленький мальчик воткнул штык в толстого генерала—подпись: «Лешка убивает Деникина». Перед эшелоном костер, на штыках висят котелки. У костра Паня, гармонист, сбоку играют в шашки Михаил и 1-й боец.

Лешка *(вышел из теплушки, подходит к умывальнику, побрызгался, утерся, с удивлением смотрит на ребят)*. Который час?

Нинка. Шесть.

Лешка. Утра?

Нинка. Нет, Лешки-палки, вечера.

Лешка. А мне снилось, что мы уже в бою... Наверно мы никогда отсюда не уедем. *(К Пане.)* Это, Панечка, кто-нибудь злостно делает. Савранский правильно говорит—как на детей смотрят.

Гармонист. Гы-гы, а куда торопиться? Живем неплохо. Гармонь, природа. Ты скуса жизни не понимаешь.

Паня. Савранский ушел в штаб. Он передаст, что мы требуем немедленного отправления.

Лешка. Хорошо бы! *(Увидал нарисованную на себя карикатуру. Все ждут. Лешка неожиданно грустно молчит.)*

Нинка. Ну, чего ты свял, Лешка? Я думала, ты обхохочешься, а ты...

Лешка *(берет гармонь, играет и поет)*.

В городе озеречко,
Там плавало ведеречко,
Сосновы клецки, дубово донце—
Люби мене мое сердце.
Там плавало ведеречко,
Восемь суток тай с водою,
Выйди до мене, мое серденько,
Поговоримо с тобою.

Подходит Егор Семенович.

Егор Семенович *(в лаптях, с мешком, с всклокоченной бородой, с невыспавшимися глазами)*. Это куды поезд? Не на Москву? Звонки были? *(Ставит вещи в теплушку.)* Там!

Лешка продолжает петь, но тише.

Я бы рада говорити,
Мне немилый не велити.
Лежит немилый...

Егор Семенович. Кто издесь провожающие и кто едет? Дуже чудно! *(Обращается к Нинке.)* Парнишка, сделай милость, к сыну еду, раззорили...

Нинка. Это, папаша, не поезд, это красная казарма. Здесь, папаша, фронт и ты удирай, пока цел.

Егор Семенович. А как же иначе, если не удирать! Вот вы скорее погружайтесь, скорее надо! Давайте подсоблю, кто уезжает. Псезд когда отходит?

Нинка. Тебе же объясняют, что мы комсомольцы, прибыли на фронт, нам удирать незачем, а ты, это другое дело.

Егор Семенович. Дуже чудно! Какой фронт! Да ведь уже и фронта никакого нет. Бежать надо. А где же ваши старшие? Так, значит, вас и бросили? Ну, что ты скажешь?

Беспорядок какой! Слушай, малец, дай-кось перекусить, сутки не ел.

Гармонист снимает котелок. Егор Семенович вынимает деревянную ложку, обжигаясь жадно ест.

Егор Семенович. Хороши касервы! А много их у вас?

Гармонист. Ыгы.

Егор Семенович. Ну, значит, жить можно. Раз питание есть—жить можно. *(Поев, внимательно и вместе с тем озабоченно слушает игру Лешки, подходит к играющим в шашки.)* Стало быть, это вы в шашки играете?

1-й боец. Угу!

Егор Семенович. Та-ак, та-ак. *(К Лешке.)* А вы, стало быть, на гармони?

Лешка в знак согласия кивает головой.

Егор Семенович. Так все на гармони и играете? А обучены ли военному делу? А то ведь здесь с вами пропадешь.

Нинка. Наша сила—молодость.

Михаил *(сделав ход, кивнув на Нинку)*. Вот такая поцелует офицера, он тут же и умрет.

Егор Семенович *(беспокойно осматриваясь, уставился на разрисовку вагона)*. А это, стало быть, рисуете? Дуже чудно!

Нинка. А правда, здорово?

Егор Семенович. Как же-ж! А только я бы сказал—неправильно. По жизни такой маленький такого большого не может забить, наоборот, надо было этого, поменьше, а этого побольше.

Нинка. Теперь все наоборот.

Егор Семенович. Оно и видно. А только жалко мне вас.

Нинка. Скажи, боязно, старик?

Егор Семенович. Нет, отчего ж, кабы вы военному делу знали, отчего ж! Но только чудно. И на войне, и вроде, как дома. Как на ярмарке.

Нинка. Теперь все по-новому. И война по-новому ведется. Мы только с офицерами воюем, а солдат мы агитируем. Вот для этого плакаты висят. Видишь?

Егор Семенович. Как же-ж, хороший плакат. А кто у вас здесь за старшого?

Паня. Он скоро придет. А ты кто будешь, старик? Что ты все выспрашиваешь?

Е г о р С е м е н о в и ч. Я кто буду? Я здешний. А интересуюсь потому—мне податься некуда. Я хочу свое предложение сделать.

П а н я. Какое?

Е г о р С е м е н о в и ч. Ну, когда придет старшой, тогда я сделаю. А скоро ли придет?

П а н я. Он, может быть, и не скоро придет. Ты скажи—у нас здесь все равны.

Е г о р С е м е н о в и ч *(сравнивая всех)*. Как же это? Этого не может быть.

П а н я. А вот и может.

Е г о р С е м е н о в и ч. Значит вы и своему начальнику приказать можете? Через что ж это вы можете?

П а н я. Через собрание.

Е г о р С е м е н о в и ч *(недоверчиво)*. Ну, это вы брешете. Вот начальник придет, он вам задаст. За все задаст. Ишь беспорядок какой устроили. *(Молчание. Размышляя.)* Податься некуда, и с вами беспокойно. Как будто с людьми, а как будто и нет. Вот вы и девушка, или дамочка, не женой ли приходитесь начальнику, замолвите за меня словечко. Я в старой армии служил, унтер-офицером был, мне теперь лета вышли, а еще могу. Жалко мне вас. Если он на то свое согласие даст, я вас обучать могу. Ребята, видать, дружные, боевые. Можно и отбиться. С оружием да с питанием и отступать не страшно. Я все здесь дороги знаю. Вы только меня на паек зачислите. Какой у вас здесь паек?

Н и н к а. Пайков у нас нет. Кто сколько хочет, тот столько и ест.

Е г о р С е м е н о в и ч. Это беспорядок. Вам каптера надо. Я и за каптера могу. Надо каждому паек положить, тогда и отступать можно.

Н и н к а. Что ты все про отступление? Мы драться хотим.

Е г о р С е м е н о в и ч. Отчего ж, и драться можно! При пайке и отбиться можно.

Н и н к а. То-то, комсомольцы не привыкли отступать.

Е г о р С е м е н о в и ч. А вы значит комсомольцы? Вы так и говорите. А то не поймешь. Флагу нету. *(Грозно.)* Почему флаг не вывешен? У меня сын в красных, в Москве!

Л е ш к а *(кончив играть)*. А ты за кого—за красных или за белых?

Е г о р С е м е н о в и ч. В нынешнее время—самое овес убирать, а все вытоптано. Все спорчено. Все пожжено. Ну, только правда, белые—они злее. У меня сын в красных.

Паня. А если б ты к белым попал, ты бы и у них прижился?

Егор Семенович. Об этом не думал. Зачем об этом думать. Теперь стало быть я у вас, так об этом и разговор должен быть. *(Молчание.)* Ну—дык как, ребята? Скажете за меня слово?

Паня. Нет, старик, здесь только те, кто за идею, а ты несознательный. Сам еще не решил, за кого ты.

Михаил. Как не решил? Он же сказал, что он за консервы.

Общий хохот.

Егор Семенович *(опешив)*. А что ж? А как же без этого? Сами ведь, небось, кушаете, или как?

Михаил. Это тебе все снится, старик.

Егор Семенович. Нет, чудно, но не снится. Сам поел, чувствую.

Лешка. Вот начальник идет, поговори с ним.

Егор Семенович принимает боевую выправку, идет навстречу Савранскому, который подходит с Митей Евсеевым и еще несколькими парнями и девушками. Паня и Лешка бросаются к нему.

Паня и Лешка *(вместе)*. Ну, что ты узнал в штабе?

Савранский *(не замечая старика)*. Товарищи, сейчас нужно устроить коллективник.

Егор Семенович *(отталкивая ребят)*. Вот и я говорю, я это им и говорил, товарищ начальник, а то они без вас здесь чистую ярмарку устроили. Коллективник—это ведь по-новому—всеннее обучение, правильно я вас понял?

Савранский с любопытством рассматривает его.

Егор Семенович. Товарищ командир, пойдемте в сторонку, я до вас предложение имею.

Савранский. Некогда, старик. Иди с богом. Леша, объясни ему, что такое коллективник. *(К Пане.)* Вот, Паня, это молодежь местной железнодорожной ячейки.

Лешка *(оттаскивая старика)*. Пойдем, пойдем. *(Егор Семенович покорно идет за ним.)* Коллективник—это коммунистический труд молодежи.

Егор Семенович. Коммунистический. Ну, понимаю, понимаю.

Лешка. Это значит—вагоны грузить для фронта.

Егор Семенович. Понимаю. Только теперь, значит, с фронту для тыла. Это значит, ежели какое имущество, чтобы не пропало.

Лешка. Вот тебе *(на Михаила)* товарищ Руднев объяснит, он у нас политграмоту лучше знает, политрук. *(Бежит к группе разговаривающих с Сазранским, рассматривает новоприбывших.)*

Егор Семенович *(идет за ним)*. Так что ж мне объяснять? Я все понял. *(К Сазранскому.)* Товарищ командир, как значит мне объяснили, так я понял. Можно мне, значит, с вами пойти.

Савранский. Миша, объясни ему... *(К Егору Семеновичу.)* Вот подя, он объяснит.

Старик нехотя идет к Михаилу, тот долго и тихо объясняет. Старик, понурившись, слушает, потом уже не слушает, погруженный в свои думы. В группе молодежи с Сазранским раздаются аплодисменты.

Лешка. Вот это здорово.

Савранский. Но прежде всего мы покажем ребятам, как мы живем. Лешка, проведи ребят в теплушки. *(Ребята с замиранием лезут в теплушку. К Евсееву.)* Вот поработаем, а потом вы вступайте к нам в отряд. Конечно, устроим перед этим митинг, нужно будет выступить и тебе. Вот тебе брошюрка.

Евсеев. Хорошо.

Ребята вылезают из теплушки.

Телеграфистка *(Лешке)*. Какое счастье, что вы приехали! День и ночь за аппаратом, погулять только на станцию выйдем. А как здесь весело!

Лешка. У нас веселее, сейчас сыграем, вот только вы осторожней, дайте я раньше спрыгну. *(Спрыгнув, подает руку.)*

Телеграфистка *(отдергивая руку)*. За кого вы меня принимаете, за барышню какую? Я сама. *(Ловко прыгает.)* А на чем же вы будете играть?

Лешка. Как на чем? *(Указывает на гармонь.)*

Телеграфистка *(недоумевая)*. На чем же? *(Лешка хватает гармонь, растягивает мехи. Разочарованно.)* А-а-а, а я думала какой-нибудь новый... коммунистический инструмент.

Лешка. Так ведь это ж самый коммунистический. Вот сейчас. *(Играет «Слушай, товарищ, война началась».)*

Телеграфистка. Прелесть, прелесть, это новая песня! А мы ничего не знаем, в глуши живем.

Савранский. Становись!

Лешка обрывает игру, ребята строятся, с песней и со знаменем идут на работу. Темнеет, догорает костер. На часах остается Петя. Егор Семенович, погруженный в свое горе, остается на том месте, где сидел, не заметив даже, что агитировавший его Михаил ушел. Молчание.

Егор Семенович. С колеи сошел, неизвестно, кого жалеть, себя ли, вас ли. Все не по-правильному идет. Женщине

надо бы по хозяйству хлопотать, разве это порядок? Этак и продуктов нехватит, пойду вам кухню приволоку. *(Уходит.)*

Слышен цокот копыт, «тпру», Паня настораживается, появляется Алексеев.

Паня. Саша! ты к нам в отряд пришел?

Алексеев. Как видишь.

Паня. Давно бы так. *(Алексеев пожимает руку.)* Саша, как хорошо, что ты пришел. Я очень рада. Ну, снимай шинель. Где это тебя так забрызгало?

Алексеев. Вот скоро в разведку переведут, так еще того пуще забрызгаюсь.

Паня. Когда-то я на тебя смотрела, как на старшего, а теперь мне хочется тебя за собой тащить. Ты наверное и книжек политических не читаешь.

Алексеев. Да, почти не приходится.

Паня. Вот видишь, а у нас здесь политкружок работает и вот встречу с железнодорожной ячейкой устроили. Что ваш там Мельников смотрит? О чем задумался? Ты даже как будто не слушаешь меня?

Алексеев. Нет, я слушаю. Очень даже хорошо слушаю. А только мне, Паня, жалко тебя.

Паня. А мне тебя.

Алексеев. Понимаю.

Паня. А я вот тебя уже не понимаю. Ты какой-то не такой стал, или какую обиду таишь? Ты должен стать выше этого. Ведь мы новые люди. Я уже не та Панька, что на заводе была, я теперь много стала понимать. Надо так жить, как сердце подсказывает, ведь это раньше было, что девушка могла только одного любить,—но ты наверное уже себя нашел? Да, Саша?

Подходит Егор Семенович, волоча кухню, молчаливо возится с ней; доносится отдаленный взрыв музыки. Подходит Савранский с гармонистом.

Паня *(с облегчением)*. А вот и смена пришла. *(Передает гармонисту винтовку.)*

Савранский. Что скажешь?

Алексеев. Здравствуй.

Паня. Леня, он к нам совсем пришел.

Савранский. Возвращение блудного сына.

Алексеев. Савранский, почему ты не явился в штаб? Тебя ждали.

Паня. Как, ты разве не был в штабе?

Савранский. Очевидно.

Паня. Но ты ведь шел.

Савранский. Да, шел, а по дороге встретил секретаря местной железнодорожной ячейки. Обследовал их работу, привел к нам. Это же гораздо интереснее, чем ходить к Мельникову, где заранее знаю все, что мне скажут.

Алексеев *(насмешливо)*. Действительно, интересно... А патруль пароля не знает, у пакгауза часового нет. Это не обследовал? *(Резко.)* Вот что—я прислан тебе сказать, что мы отходим на новые позиции. Вам надо отступать за реку сегодня же, в деревню Ртище.

Савранский. Так и знал! Когда, наконец, кончатся эти мельниковские штучки!

Алексеев. Потом вам надо установить связь. Дальше так себя вести не позволим. Понял?

Савранский *(вспыхнув)*. Что?! Я не позволю так с собой разговаривать, я не мальчишка. Вы под влиянием царских офицеров, вы отступаете бог знает почему. Вы никогда не видали дальше своего носа...

Алексеев. Савранский, если бы не такое острое положение, мы бы с тобой еще поспорили, но сейчас не до того, сейчас некогда заниматься агитацией.

Савранский. Что? Из партии вышибете? С комсомолом разлучите?. Я до Ленина дойду, я напишу в ЦК, что вы... Под видом дисциплины вы душите всякую живую мысль, всякое желание подвига, вы... вы...

Паня. Саша, вот, значит, зачем ты пришел?

Алексеев. Я прислан передать боевой приказ, очень жалею, что не успел ответить тебе. Прощай, Паня. Хошь не хошь, а передам от тебя привет Мельникову. *(Уходит.)*

Егор Семенович. Постой... он, кажется, Мельникова поминал, или я ослышался? *(Хватает свои вещи.)* Эх, жалко мне вас! *(Бежит за Алексеевым.)*

Савранский. Кретин! Безмозглый солдат! Не подчиняюсь!

Паня. Но ты ведь не был в штабе...

Савранский. Никогда, слышишь, никогда! Ты можешь сию же минуту отступать вслед за этим мужиком. Лучше погибнуть с честью, чем бежать, как крыса. Только крысы бегут с тонущего корабля. Именно сейчас нам представляется возможность проявить себя. Ну, что ж, беги! Что ты сидишь?

Возвращается Михаил с двумя ребятами.

Подождите! *(Идет в вагон, вытаскивает карту. К Михаилу.)* Вот видишь карту? Вот линия фронта. Видишь, где против-

ник? А вот мы. Вот скажи, угрожает нам какая-нибудь опасность? *(Паня напряженно следит за Михаилом.)*

Михаил. По-моему, нет.

Савранский. Вот видишь—а нам приказ отступать.

Михаил. Кто приказывает?

Савранский. Штаб бригады.

Михаил. Ну, значит, надо отступать.

Савранский. Постой, постой. Где же логика?

Михаил. Логика в том, чтобы подчиниться штабу бригады.

Савранский. Ну, знаешь ли, это логика солдата, а не комсомольца.

Михаил. В данной конкретной ситуации я не усматриваю здесь противоречия.

Савранский. Тем более, что это не находится в противоречии с твоим желанием превратить отряд в политкружок.

Паня. Леня, но ведь ты не был в штабе, ты...

Савранский *(перебивая)*. И с твоим желанием превратить отряд в семейную бытовую коммуну. Хорошо, что кроме вас в отряде еще сорок человек. Они-то как раз знают, зачем пошли на фронт, и не потеряли еще молодой отваги.

Михаил. И вот я, потерявший ее, сейчас же отправляюсь в штаб.

Савранский. Отлично, передай Мельникову, что я, обдумав положение, завтра утром, чуть свет, выполню одну операцию, после которой Мельникову поневоле придется перейти в наступление.

Михаил (*одевается*). Хорошо.

Савранский. Одновременно передай ему, что ты больше не политрук отряда.

Михаил. Хорошо. *(Уходит.)*

Бежит Лешка. Слышен шум и песня возвращающихся с коллективника ребят.

Савранский *(к Лешке)*. Леша! Созывай отряд. Завтра в наступление пойдем!

Лешка. Гуляй, ребята, последний вечер, завтра в наступление пойдем.

Оживление в группе подошедших ребят.

Сцена шестая

Ночь. Тихо. Лешка стоит на часах. Издалека, очевидно, из ближайшей деревни доносится вспыхивающий и замирающий девичий смех, переборы тальянки. Лешка борется со сном. Заслышав смех, сразу просыпается. Потом снова погружается в борьбу со сном. Проходит в обнимку пара. Лешка, вытянув шею, пристально провожает их взглядом. Пауза. Подходит вторая пара—Митя Евсеев и Нинка. Попрощались. Нинка собирается войти в теплушку, увидела Лешку.

Нинка. А, Лешки-палки, стоишь. Сколько еще стоять?

Лешка. Полчаса.

Нинка *(потягиваясь)*. А хочется поспать, сладко, а? *(Идет к теплушке.)*

Лешка. Вот ни-ни. Постой. Я тебе сейчас фокус один покажу.

Нинка. Какой фокус? Это скучно.

Лешка. Ну, хочешь, ножик свой отдам. У меня хороший ножик. Вот, смотри *(вынимает ножик)*, пробочник даже есть.

Нинка. На что мне твой ножик?

Лешка. У меня еще серебряный рубль есть, видела? *(Вынимает.)*

Нинка. Подумаешь, удивил! *(Потягивается)*. Прощай, Лешки-палки. *(Вбегает в вагон.)*

Пауза. Подходит гармонист с телеграфисткой. Целуются.

Лешка. Стой! Стрелять буду.

Телеграфистка. Ах!

Гармонист. Леща, чего ты?

Лешка. Стой, не расходись! Сейчас я допрос исделаю. *(Берет ружье наизготовку, подходит к гармонисту.)* Сначала с тобой разделаюсь, а потом с вами. Отойдите, у вас нервы слабые. Устав знаешь?

Гармонист. При чем устав? Что ты взъелся?

Лешка. А то, что там ясно сказано, что при караульном целоваться нельзя, за это тебе расстрел может быть. Вот я сейчас рапорт напишу. *(К телеграфистке.)* Дайте карандашик!

Телеграфистка *(дрожа)*. У меня нету.

Лешка. Ну, ладно, ступай в вагон. Завтра устно сообщу. *(Гармонист, опешив, уходит в вагон. К телеграфистке.)* Видите, под какое он вас дело подвел?

Телеграфистка. Простите, простите...

Лешка. Нет, вам будет наука, чтобы с ним не гулять.

Телеграфистка. А вы, оказывается, серьезный.

Лешка. Вот знаете что, посидите здесь со мной, пока мне смена будет, я вам фокусы покажу, монеты есть старинные.

Телеграфистка. Я бы с удовольствием, только мне домой надо.

Лешка. Предрассудок.

Телеграфистка. Я понимаю, вы не думайте, что я не понимаю, что это предрассудок. Только у нас в полночь собак спускают. Вы не думайте, что я отца боюсь, собака злющая.

Лешка. Ну ладно, я вас провожу. *(Берет под руку.)*

Телеграфистка. А вы совсем не злой. Вот спасибо.

Лешка *(неожиданно останавливаясь)*. Нет, нельзя мне. Идите.

Телеграфистка убегает.
Пауза. Подходит первый зеленый.

1-й зеленый. Где ты эту винтовку нашел, малец?

Лешка. А ты кто? Чего надо?

1-й зеленый. Ишь ты, сторожа разыгрывает, Небось мануфактуру сторожишь? Чего в вагоне-то? Небось товарищи, бежавши, много здесь добра оставили. Ишь, цельных четыре вагона. А ты уже успел?

Лешка. А ну отскочь, а то стрелять буду.

1-й зеленый. Ишь ты, ловкий какой! *(Заглядывает в теплушку.)* Ге, да здесь полно беженцев, а я думал мануфактура. *(Уходит.)*

Лешка. Сдрефил! Ишь, шляется, мануфактуры захотел. Беженцев нашел. Большой, а сдрефил! *(Зеленый возвращается с отрядом.)* Опять пришел. *(Заметив остальных, опускает винтовку.)*

Подходит командир зеленых.

Командир зеленых. Ты кто будешь?

Лешка. А ты кто?

Командир зеленых. Кто у тебя там? *(Показывает на вагоны.)* Кого сторожишь? Ну, чего боишься? Не съедим ведь. *(Зажигает фонарь, увидал надписи на вагоне.)* Уж вы не комсомольцы ли будете?

Лешка *(радостно)*. Комсомольцы, а ты как угадал?

Командир зеленых. Да мы тоже... против обидчиков.

Лешка *(радостно)*. Ну вы побудьте тут, а я счас начальника вызову! *(Идет в вагон, выходит с Савранским.)*

Савранский *(окинув взглядом всех, выбрал наиболее рослого крестьянина в папахе)*. Местные?

Командир зеленых. Эге! Как, значит, мы красные и нас бросили, то мы стало быть до вас...

Савранский. Беднота?

Командир зеленых. Видишь, безлошадные, пехота.

Общий смех.

Лешка *(неожиданно вполголоса)*. Леня, они лукавые, по глазам вижу, глаза недобрые. Они побьют нас...

Савранский *(Лешке.)* Глупый. *(К рослому.)* Значит партизаны? Отлично. Очень рад. Нашего полку прибыло. Кто же у вас вожак? Или главный? *(К рослому.)* Ты, что ли?

Общий смех.

Командир зеленых. У-гу... вожак! Над мылом и вожжей главный!..

Савранский. Экий прибауточник! Ну что ж, видать народ отчаянный... С вами нам по пути... Золотопогонной сволочи не сдобровать. Пусть отступила Красная армия, но вместе с вами, идя в авангарде ваших рядов, мы разобьем всю белогвардейскую свору, отстоим красную федеративную советскую республику!

Командир зеленых. Отстоять можно, отчего ж не отстоять. А много ли вас?

Лешка. Нас много.

Командир зеленых беспокойно посмотрел на товарищей.

Лешка *(к Савранскому шопотом)*. Пойду отряд будить...

Савранский *(не слушая его)*. Пусть нас мало, пусть мы горсточка по сравнению с бандами помещиков и капиталистов, но мы помним, что трусы умирают дважды. Мужественные — один раз.

Командир зеленых. Отчего ж, можно и дважды. Мы тоже мужчинственные.

Лешка. Вот на, возьми! *(Ищет в карманах, достает и подает командиру зеленых ножик.)* Держи пробочник, счас вина принесу! *(Собирается итти.)*

Командир зеленых, делая вид, что принимает ножик, что-то шепчет своим людям, те приближаются к теплушкам; он неожиданно выхватывает наган, ударяет с силой Лешку по голове.

Командир зеленых *(к бандитам, указывая на Савранского)*. Привяжите этого брехуна к дереву, нехай он речь скажет, пока мы будем этих щенков коцать. Только всех сразу не души, оставь на разживу! *(К рослому на Лешку.)* Этот хитрый! Далеко смотрел!

Потемнело. Бандиты врываются в теплушку. Раздаются выстрелы, возня, крики. Комсомольцы отчаянно сопротивляются.

Савранский *(вырываясь из веревок)*. Мерзавцы, вы напали на спящих как подлые трусы, как мелкие хищники, что ж, расправляйтесь с нами, но знайте, что, уничтожив нас, вы не уничтожите комсомол.

Свет. Нескольких избитых в кровь ребят волокут за сцену. Слышны удары. Крик: Нинки: «Вот я плюю тебе в рожу, бандит, сволочь!»; Панина: «Стреляй сразу!»; гармониста: «Дядя, не бей!»

1-й зеленый *(входя)*. Дозвольте... девка одна уж больно людям понравилась!

Командир зеленых. Которая? *(Идет за сцену.)*

Лешка *делая невероятные усилия, подползает к привязанному Савранскому, перерезает веревку)*. Беги, Леня!

Савранский убегает.

Командир зеленых *(вернувшись, кричит)*. Лови, лови его! *(Стреляет вдогонку. Заметив шевелящегося Лешку.)* Ах, это ты?.. Вот тебе. *(Стреляет в него.)*

Лешка *(выпуская из рук ножик)*. Опоздал, гад... на вот тебе ножик, зарежься им. *(Умирает.)*

Сцена седьмая

Лес. Идут в разведку Алексеев и Егор Семенович.

Егор Семенович. Слухай сюда. Разведка, это что, это большое дело. Идешь один, или вдвоем, какая твоя судьба— неизвестно. Ну, вот, к примеру, тут около тебя граната ударить может, от этого что может произойти? Может быть оглушение или контузия, ну только для опытного человека это не страшно. Я всегда с собою паклю беру, или вату у фершала выпрошу, уши у мене навсегда в безопасности, глухим не буду, вот шестьдесят два года, глухоты нету. Ты слухай мене, со мной не пропадешь. Ты только слухай, что я говорю. Я все произошел.

Алексеев. Вот я об этом никогда не думал, что такая мелочь, а такое значение имеет.

Егор Семенович. Ты слухай мене. Солдат не для смерти сделан, он должен свою жизнь беречь, ну и боевую заданию не забывать. Вот, к примеру, взять ноги; ноги в разведке обязательно сухие должны быть, потому ты один, тебе в случае чего только на свои ноги и надеяться. Не придешь к своим, из-за тебя целый полк погибнуть может. Опять же дорога; дорогу находить можно или по солнцу, или по коньпасу. Опять же всякое дерево, всякий кусточек, всякая полянка свое отличие знает, значит об другом не думай. Ну вот, теперь, стало быть, нам по прямику до них итти нельзя. Ты заходи оттеда, только там гляди, там полянка будет, так ты ее обогни, это

болото, обязательно обогни. На, вот, бери с собой коньпас. Стрелку эту чувствуешь?

Алексеев. Чувствую, Егор Семеныч. Ну, прощай, авось не пропадем.

Егор Семенович. Прощай, сынок.

Алексеев уходит. Слышен шорох. Егор Семенович настораживается, заметив идущего человека.

Егор Семенович. Стой! *(Савранский останавливается.)* А, товарищ командир! Куда это вы, не в штаб ли идете? Да что это с вами? Никак вас кто избил?

Савранский. Вы ошибаетесь... Вы принимаете меня не за того...: но я не то, совсем не то, уверяю вас...

Егор Семенович. Не пойму я, что вы говорите. Больной вы, что ли? Наверно вас дюже побили, нужно вам подсобить в штаб дойтить...

Савранский. Веди, веди, меня там сразу освободят. Я докажу, что я учился в гимназии. Вот у меня пряжка. Видишь, здесь «5Г»—это значит: пятая гимназия.

Егор Семенович. Ну... вы здесь посидите, нате вот воды из фляжки напейтесь, а я сейчас приду. *(Уходит.)*

Савранский жадно пьет воду, затем бросает фляжку и бежит в сторону, куда ушел Алексеев, заслышав шорох—отпрянул. Спрятался за дерево, прислушивается к разговору.

Голос. Держись, Паничка, держись крепче.

Выходит Алексеев, неся на себе Паню; Савранский, увидев их, выскакивает.

Савранский. Саша! Паня! *(Бросается к нему.)* Саша, откуда ты? Где ты ее нашел? Где наши?

Алексеев. Наши здесь недалеко. *(Кладет Паню на землю.)* Помоги перевязать. Есть у тебя чистый платок? Моего нехватило.

Савранский. Подожди, не складывай ее, надо бежать, мы в ловушке. Только что я встретил здесь бандита, который нас выдал. Он ушел в том направлении. Значит и там восстание.

Паня. Пи-ить...

Алексеев *(к Савранскому)*. Заговорила... заговорила... Пить просит. Давай скорее. *(Поит ее.)*

Появляется Егор Семенович с фельдшерской сумкой.

Савранский. Саша, вот он, вот они опять идут!

Алексеев *(схватываясь за наган, видит Егора Семеновича, хохочет)*. Чудашка, ты его за бандита принял? Это же Егор Семенович, нашего Мельникова отец.

Савранский. Мельникова отец?

Алексеев. Ну да, ну успокойся. *(Увидев сумку.)* Егор Семеныч, нет ли у тебя бинта?

Егор Семенович. А как же! *(Увидев Паню.)* Сейчас, сейчас... я перевязку и сделаю, я это могу. *(Показывая сумку.)* В дороге заприметил, валяется невесть что. Оказывается— фершалская.

Алексеев и Егор Семенович возятся с Паней.

Алексеев. Глаза открыла!.. Панюша, ну, потерпи... это недолго. *(Паня стонет.)* Ну, еще немножко... ну-ка, потяни в себя, подыши... ну, собери силенки... Ну, лучше тебе? Ну вот, ну мигни глазом, что? Понимаешь меня?.. Мигнула... сейчас кровь отмоем!

Егор Семенович *(тихо Алексееву)*. Плохо наше дело. Это, брат, смертельная...

Савранский *(очнувшись)*. Ну, как? Ну, что с ней?

Алексеев. Все в порядке. Вот мы ее сейчас на ноги поставим Панюша, улыбнись, да улыбнись же! Вот последнюю повязку положим и ты встанешь. Ну-ка!

Егор Семенович накладывает последнюю повязку. Паня делает конвульсивное движение, подавляя стоны, из глаз у нее текут слезы. Ей становится легче.

Ну вот. Вот видишь, легче стало. Теперь мы тебя на шинель переложим и легонько так понесем. Ты как в качелях будешь. *(Хочет приподнять ее.)*

Паня. Саша, не надо... Мне хорошо теперь... Теперь не надо трогать...

Алексеев. Ну полежи немножко, ну полежи.

Паня. Саша, я умру сейчас. Ты всем от меня передай привет... мне очень Лешку жалко... а маме ты не говори про это... ты о ней заботься, Саша, как о своей, и Нюрку нашу в комсомол возьми, обязательно. Слышишь?

Алексеев еле заметным движением смахнул слезу. Егор Семенович трогает пульс.

Егор Семенович. Отойди, парень. Тебе здесь уже нечего делать. Больше ничего не скажет. *(Накрывает Паню шинелью.)*

Савранский *(вскакивая)*. Что? Это зачем шинелью?

Алексеев. Слушай, Леня, ее никуда уже не надо нести. Теперь давай думать о разведке. Я прошу тебя, говори спокойно и отвечай только на вопросы.

Савранский. Как? Она умерла?

Алексеев. Отвечай только на вопросы. Станция занята? Кем?

Савранский. Мужиками. На нас напали мужики.

Алексеев. Так, понятно. Значит организовалось кулачье. Мы так и думали.

Савранский. Подлая крестьянская стихия! Если б ты видел эти озверелые рожи, ты бы задумался... Ужасная страна—мы никогда не сделаем ее другой. Вот ты молчишь, а ведь об этом думать, думать надо...

Егор Семенович. Довольно стыдно вам про крестьянство так говорить, молодой человек. Обидно даже слушать такие слова. Вам слушаться надо, а не свое самолюбие выставлять.

Алексеев. Ступай в штаб, Леня. Можешь ты один пойти? А мы пойдем к станции. *(К Егору Семеновичу.)* Надо проверить, не испортили ли они путь. Пошли! *(К Савранскому.)* А ты, Леня, ступай в штаб и передай все Мельникову. Понял?

Сцена восьмая

Та же станция. Теплушка. Дверь растворена. Видны начальник зеленых и мамонтовский офицер. Оба сидят за опрокинутым ящиком, накрытым картой.

Начальник зеленых. Идь это ж какое войско? Дети, я вам говорю, дети. Теперь, ваше высокоблагородие, только садить и садить, рысью в Москве будете.

Офицер. Скажите!

Начальник зеленых. Бегут и бегут.

Офицер. Скажите! Ну-с, так значит он вам ножик, а вы...

Луч прожектора нащупывает теплушку.

Начальник зеленых. Ну да! Дядя, говорит, на вот тебе ножик. Я, вот как сейчас, этой вот рукой как будто бы беру, а сам не будь дурен, этой вот штукой (*молодцевато вынимает наган*) ра-а-з его!

Раздается оглушительный взрыв. Теплушка взлетает на воздух. Слишен приближающийся гул бронепоезда. Через сцену бегут пешие кавалеристы и зеленые. Гул бронепоезда усиливается. Слышны выкрики, пулеметная пальба, шипение паров. На сцену выбегают Мельников, Алексеев, Михаил, Егор Семенович, несколько красноармейцев и матросов. Среди них комсомольцы, ушедшие в общую армию.

Мельников. Ребята, гони гадов!

Цепь красноармейцев преследует противника.

Молодой красноармеец, заметив валяющийся ножик, поднимает его.

Второй красноармеец. Кидай к чорту!

Алексеев. Давай сюда! Хороший! Пригодится!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена первая

Широкий коридор у комнаты 64. Полотнище: «Привет делегатам 3-го губернского съезда РКСМ». Висят плакаты двадцатого года, один военный, другой хозяйственный. Встречаются Михаил и Шурыгин. Последний с вещевым мешком.

Шурыгин. Братишка! где здесь помещается апанасовская делегация?

Михаил. Видишь ли... я не делегат... мне бы здесь друзей своих найти...

Шурыгин. Шо? Корешков значит? А-а... махорки нет у тебя? Говорят, на съезде махры давать не будут.

Михаил *(скрывая иронию)*. Говорят, зато портвейн давать будут по пяти бутылок на делегацию.

Шурыгин. Ну-у? А вот без махорки как же? Ну и губком у нас! Вот мы покажем!

Михаил. Что? К оппозиции примкнете?

Шурыгин. А мы уже и так в оппозиции. Наша вся делегация в оппозиции. Дискуссионный листок читал? Там наше слово сказано. У нас, брат, секретарь укома на ять, даже не скажешь, что интеллигент, за рабочих—во стоит!

Михаил. Что же, вы целиком разделяете линию?.. Вы, значит, за юношеские советы? Юношеские профсоюзы?..

Шурыгин. А как же?

Михаил. И юношеские кооперативы?

Шурыгин. Во-во!

Михаил. Бани?

Шурыгин. Постой, этого, кажется, в наших тезисах нет..

Михаил *(с усмешкой)*. Припомни, там еще юношеские ВСНХ и юношеский Наркомзем отстаивается...

Шурыгин *(стараясь не выдавать смущения)*. Нет, этого не помню, невнимательно читал... Но, кажется, этого нет. Зачем же юношеские бани? Можно и в общей помыться.

Михаил. Вот я тоже так думаю, а юношеские профсоюзы зачем по-твоему?

Ш у р ы г и н. Ну, ты со мной не спорь! Ты с нащим секретарем поспорь. У нас секретарь—во! Слыхал такого—Савранский!? Читал его воспоминания в газетах?

М и х а и л. Савранский—секретарь укома?

Ш у р ы г и н. Ну вот, слыхал значит? Ленька Савранский. Его весь комсомол знает!

М и х а и л *(припоминая)*. Савранский... Са-авран-ский... Обязательно зайду... Прощай, покуда! *(Уходит.)*

Появляется группа апанасовских делегатов с чемоданами, вещевыми мешками.

Ш у р ы г и н *(еще не разглядев своих)*. Ребята, где здесь помещается...

1-й д е л е г а т. Коська! Ты куда от нас на вокзале сбежал?

Ш у р ы г и н *(сконфуженно)*. Я? Я, ребята, корешка встретил, он меня подвез. Шо? А где же наша комната?

Д е в у ш к а д е л е г а т к а. Вот балда, так ты же возле нее стоишь!

Ш у р ы г и н. Шо? Вот здорово!

Дружно входят в комнату. По коридору с разных сторон идут Алексеев и Савранский. У Савранского рука на перевязи. Перевязь изящна. Видны кончики пальцев в кожаной перчатке.

А л е к с е е в. Леня!

С а в р а н с к и й. Саша!

А л е к с е е в. Ну?

С а в р а н с к и й. Что ну? Вот Апанасовск представляю. А ты?

А л е к с е е в. А я Льдищенск. Слыхал такой уездный центр?

С а в р а н с к и й. Как же! Это где моржи, киты и прочее... которое...

А л е к с е е в. И прочее, которое с трубами, сиренами... Стой, что это у тебя с рукой? Никак с того времени?

С а в р а н с к и й. Да, отрезать пришлось, пощупай, это протез!

А л е к с е е в *(трогает)*. Ну, что ты скажешь?! С виду как всамделишная и даже, ей-богу... фасонно выходит. Ты, значит, из госпиталя... вот, значит, почему ты тогда не вернулся?

С а в р а н с к и й *(сокрушенно)*. Да, госпиталь эвакуировали в Москву, попал в распоряжение ЦК. Теперь, как видишь, Апанасовском руковожу.

А л е к с е е в. Та-ак... Ну, за кого?

С а в р а н с к и й. За оппозицию, конечно. Город!.. Город пролетарский. И союз почти из одних рабочих состоит. Ты посмотри мою делегацию—один к одному.

Алексеев. Вот это жалко.

Савранский. Жалко? Что?

Алексеев. То, что они за тобой идут.

Савранский. Вот как?

Алексеев. Стоит мне установить прямую связь того, что было, с тем, что вы сейчас требуете, и от тебя отстанет добрых две трети делегации.

Савранский. Не возражаю против потасовки. Может быть и поведение мое тогда... окажется не таким, каким оно выглядело в твоих глазах. Я об этом писал в своих воспоминаниях.

Алексеев. Воспоминания настрочил? Да ведь ты поэт! А написал, что сам тогда решил принять иную участь? Попросту говоря...

Савранский *(с раздражением)*. Так поступил бы каждый на моем месте. Кажется... И наконец это... *(Указывает на руку.)* Думаю, что...

Алексеев. Ладно. Когда соберешь делегацию? Хорошо бы сегодня до открытия съезда. *(Собирается уходить.)*

Савранский. Саша, подожди... Видишь ли, я хотел бы, просил бы тебя вести спор в плоскости... одним словом, не задевая личного...

Алексеев. Я не знаю твоей домашней жизни.

Савранский. Нет, но если ты... ты должен согласиться, это уже прошлое... В организации много новичков... Надо ли развенчивать им наше героическое прошлое...

Алексеев. Что ж, прикажешь приукрашать его? Не выйдет. То, что у твоих ребят от молодости и неопытности, у тебя...

Савранский. Я тоже молод. Может быть, я ошибался, но теперь...

Алексеев. Теперь снова ошибаешься.

Савранский. Докажи!

Алексеев. Охотно. Стоит лишь сопоставить то, что вы сейчас требуете, с тем, как ты вел себя...

Савранский. Знаю, знаю. Слушай, я... надеюсь, главное для тебя не в том, чтобы меня унизить, а в том, чтобы моя делегация заняла правильную линию, так ведь?

Алексеев. Угадал.

Савранский. Еще условие: ты должен мне поверить, что я сделаю это не из одной боязни...

Алексеев. Понимаю.

Савранский. Саша! Верь, что наши делегаты будут вместе.

Алексеев. Ленька, чорт тебя возьми совсем! И это при твоем дьявольском самолюбии!.. Не ожидал!

Савранский. Я это сделаю сейчас! Сию минуту! Зови свою делегацию... *(Алексеев уходит.)*

Из комнаты выходит Шурыгин.

Савранский. Шурыга—друг! Нам предстоит выдержать сейчас первую... как тебе сказать... стычку. Знаешь, кого я встретил?

Шурыгин. Ну? *(Савранский отводит его в сторону и что-то тихо шепчет.)* Как? И ты не укоцал его тут же? *(Хватает наган.)*

Савранский. Не горячись! Таким, как он, на съезде будет худо, вот он и лезет агитировать по делегациям.

Шурыгин. Ну, мы ему покажем! *(Понижая голос.)* Только вот что. Меня тут тоже спрашивал один, а я, понимаешь *(шепчет)*, тезисов-то не читал. Как там у нас? Верно ли, что там у нас про юношеские бани сказано?

Савранский. Что ты порешь?

Шурыгин. Значит нет? Ну, очень хорошо, а то я, знаешь, в теории не очень мастак, я главное почему против? Рабочей молодежи ходу не дают! Все посты интеллигенты заняли.

Подходит Алексеев с группой своих делегатов.

Савранский. Вот они. *(Непринужденно.)* Знакомьтесь! Это наш заворготдел—Шурыгин, в миру Шурыга, в будущем заворготдел губкома.

Делегатка Алексеева. Ишь, куда метят!

Савранский *(указывая на дверь)*. Вошли?

Сцена вторая

Комната делегации Савранского. Делегаты чистятся, переодеваются, возятся с вещевыми мешками. 1-й делегат бережно достает из чемодана папиросы, пачку за пачкой складывает на столе в кубики. Другая часть импровизирует шуточное отпевание. На тюфяке парень, закутанный в простыню. Поп с газетным клобуком на голове и в ризе из одеяла кадит блюдечком, висящим на шпагате. Хор поет: «Со святыми упокой душу раба твоего».

Умирающий. Прах есмь, прах есмь!

Поп. Сыне, кайся!

Умирающий. Грещен, отче, грещен.

Алексеев. Кого отпеваете?

Поп. Раба божьего, губком второго созыва.

1-й делегат из делегации Алексеева. Вот здорово. *(Хохочет.)*

2-й делегат из делегации Алексеева Чистые шуты!

Варя. Ищь безобразничают.

Поп. Во-онмем, аминь!

Хор. Аминь! Амень! Аминь!

Поп. Во-онмем, братия! *(К умирающему.)* Интеллигентом был?

Умирающий. Грещен!

Поп. Бюрократизмом занимался?

Умирающий. Грешен!

Поп. Интеллигентов ублажал?

Умирающий. Грещен.

Поп. Кому завещаешь руководство союзом, очистку его от всей скверны твоей, кому?

Умирающий. Апанасовцам.

Поп. Подай, господи!

Хор. Подай, господи! Подай, господи! Подай, господи! *(Дружно хохочут.)*

Савранский. Бьюсь об заклад, льдищенцы не курили наших папирос. А вот у нас *(на 1-го делегата)* Ганька! Как вы думаете, что это такое? Безусловно, секретарь ячейки на табачной фабрике. *(К делегатам Алексеева.)* Прошу!

Шурыгин *(изумленно)*. Папиросы захватили?! Шо? *(Жадно хватает пачку.)*

1-й делегат раздает папиросы. Делегаты закуривают, хвалят.

Савранский. Чем можете покрыть—моржами да китами? Этого добра у нас хватит. Чем, например, не морж? *(Показывает на Шурыгина.)* Смотрите!

Общий смех.

Алексеев. Леня, открывай беседу!

Савранский. Нет! У нас вождям ходу нет. У нас Шурыгин. Шурыга, приступай!

Шурыгин. Ребята, ну, значит, открываю беседу, или диспут, как хотите называйте. Первое слово *(к Алексееву)*, как тебя?

Алексеев. Алексеев.

Шурыгин. Шо?

Алексеев. Сащкой звать.

Шурыгин. Ну, крой, Сащка, бога нет!

А л е к с е е в *(Савранскому)*. Может быть ты, Леня, сначала скажешь?

С а в р а н с к и й *(мнется)*. Да как ребята?

Ш у р ы г и н. Нет уж, раз в гости пришел, выкладывай, что у тебя на душе!..

А л е к с е е в. Ладно. Мы пришли поговорить о некоторых спорных вопросах съезда. Вы знаете...

Ш у р ы г и н. Стой! Спорные? Это хорошо. Это мне нравится. Шо? Ганька, дай ему еще пяток папирос, я спичку зажгу. *(Зажег, поднес Алексееву.)*

А л е к с е е в *(затянулся, выпустил дым)*. Спасибо! Видать буйные! *(Пародирует Шурыгина.)* Это хорошо! Это мне нравится! *(Общий смех.)* Я сам такой! Шо! *(Смех дружнее.)* Надо только, чтобы при этом здесь *(указывает на лоб)* не просто копошилось, а варило. Понял? Назвался активистом—думать надо. За союз, за молодежь, за весь рабочий класс, за крестьянство, за всю страну. Не отвертеться—факт! Так вот, прежде всего оглядимся и подытожим—с чем пришли к съезду, в чем избыток и чего нехватка. Правильно я говорю?

Г о л о с. Правильно.

А л е к с е е в. Стало быть, действительно правильно. Ну, вот судите сами—выходим из войны. Те, кто был на фронте и остался жив, вынес для себя кой-какой урок. Знаете какой? Тот, что мало одной отваги, нужны знания, нужна скромность, нужно шевелить мозгами—как лучше решить свою задачу. Кто из нас этого не усвоил, того били, били почем зря. Ну, так ведь теперь задача еще сложнее и, стало быть, этот урок надо учесть каждому. И еще надо извлечь второй урок—там, где мы, молодежь, шли вместе с партией, под ее началом, там мы имели долю в общем успехе, а где забегали вперед, чванились, там нас били и как били, вспомнить стыдно и больно! На каждом съезде вылезает недомыслие в его различных видах. Жизнь отвергла юношеские советы, лезут с юношескими профсоюзами; жизнь била юношеские отряды, лезут с юношескими трудовыми армиями. Отчего? От нежелания учиться, учиться у большевиков, у взрослых рабочих...

Ш у р ы г и н. Стой! Вот я, ребята, так скажу. Я, ребята, главного не понял: за кого это льдищенцы—за интеллигенцию или против?

1-й д е л е г а т. Да ты говори прямо—за или против?

Ш у р ы г и н. Опять же из твоей речи не усмотрел—кто же это в таком упадке виноват? Ты говоришь—мы активисты, кто это мы? И входит ли в это понятие губком... или он, ребята, как масса, что ли?

Голоса. Да, вот ты скажи, скажи, почему про губком ничего не сказал?

Шурыгин. Опять же у меня к тебе вопрос—вот ты говоришь, что движение наше пострадало из-за фронта, так вот, может быть, по-честному, по-рабочему расскажешь, как ты этому движению страдание причинял на фронте?

Алексеев. Я?

Шурыгин. Ну, конечно, не я. Я на фронте не был.

Алексеев. Ну, не был, так вот старшие товарищи тебе разъяснят. *(Указывает на Савранского.)*

Савранский *(шутливо)*. Нет уж, пусть ребята. Я их зажимать не привык.

Алексеев *(настойчиво)*. Нет, я очень тебя прошу высказаться.

Савранский *(смущенно)*. Что ж, товарищи, Шурыгин перешел на личности, нехорошо это, не по-комсомольски. Здесь нужно спорить принципиально. Мы за то, чтобы в союз входила только рабочая молодежь. Да, мы отстаиваем юношеские советы, юношеские профсоюзы. Мы исходим из того, что молодежь имеет свои интересы в революции. Пусть распался юношеский совет в Одессе, пусть громили наши юношеские отряды на фронте, значит ли это, что они нежизненны? Нет, они жизненны, пока жива молодежь, с ее порывами, строптивостью и непокорностью. Оттого, что удушили Парижскую коммуну, никто, кроме слепых кротов, не утверждает, что она была ненужна. Вот ведь, товарищ Алексеев, в чем суть спора. И мы об этом будем спорить с тобой на съезде! Да еще как! Однако уже шесть часов, пора итти на съезд. Прикончим и пойдем на съезд, ребята. Правильно?

Голоса. Пошли. Правильно!

Делегаты шумно подымаются, оттесняя льдищенцев, идут на выход.

Сцена третья

Кулуары съезда. Видны двери и зал съезда, завешенные тяжелыми портьерами. Разбросаны группы ребят, о чем-то спорящие, среди них делегаты Савранского и Алексеева. Из залы выходят двое—слышны аплодисменты. Оба закуривают.

Шурыгин. Шо?! Вот это я понимаю—речь! Молодец Ленька!

Варя. Да, красноречив!

Шурыгин. Не то, что ваш Алексеев. Сразу видно теоретика. На фронте отрядом командовал. А ты все спорила!

Варя. Ну, ты еще не знаешь, как наш Алексеев скажет.

Шурыгин. А я его и слушать не буду.

Варя. Конечно, увлекательно сказал, но что-то есть неправильное.

Шурыгин. Это твоя башка неправильно соображает. Видала, как съезд принял?

Входит 1-й делегат из делегации Алексеева.

1-й делегат из делегации Алексеева. А знаешь, Варька, Савранский ихний действительно того... Здорово говорит. Я с ним согласен. Я теперь со всей их платформой согласен, и вы меня теперь, пожалуйста, не переубеждайте!

Шурыгин. Так ведь я же говорил—Савранский! Савранский это ж... это ж знаешь кто?... Теоретик, на фронте отрядом командовал!

Сцена четвертая

Трибуна съезда. На трибуне Гливенко.

Гливенко. Владимир Ильич высказал самое существенное, что должно определить нашу работу на целый ряд лет. Он затронул самые основные моменты воспитания молодежи. Вопросы культуры, морали, учебы, строительства. Если ваш съезд на одну минуту согласится с выступавшими здесь оппозиционными горячими головами, то это будет значить, что вы выродитесь в маленькую партию, которая, не имея опыта большевистской партии, будет рабски копировать ее вместо того, чтобы действительно учиться и этим завоевать право называться большевиками. Только люди, зараженные ячеством и нездоровым вождизмом, могли выдумать эту нелепую платформу. Нет, дорогие товарищи, право быть вождями надо заработать не умением красно говорить и составлять платформы, а умением овладеть современным знанием, умением превратить коммунизм из готовых заученных фраз в то живое, что объединяет нашу общую упорную работу. Смешно говорить о каких-то особых самодовлеющих проблемах. Они непрерывно связаны с общепролетарскими, с общегосударственными задачами. И вся задача ваша состоит в том, чтобы, умея учитывать особенность молодежи, именно: ее неопытность, некультурность и горячее желание отдать свои силы социалистическому строительству, суметь помочь ей дорасти до понимания этих общепролетарских задач, воспитать из нее коммунистов. *(Аплодисменты.)*

Сцена пятая

Кулуары съезда. Выходят те же делегаты.

Второй. Влетело нашему Савранскому. Ну, что теперь скажешь?

Первый. Да, что-то выходит не так... Что-то не так... Понимаешь, Савранский, он одним словом...

Второй. Одним словом, ему учиться надо!

Третий. Ну, оппозиция села в прорубь. Теперь я чувствую, кто прав; конечно, мы были правы, и я сдуру чуть было к ним не пристал. Подумать только!

Шурыгин. Подумать только. Шо? Мы, значит, юношеские синдикалисты! Это, стало быть, я, ты, он, мы, стало быть не комсомольцы, а юношеские синдикалисты! *(К первому.)* Ты согласен с этим?

Первый. Нет.

Шурыгин. Я тоже нет. Я ведь, ребята, в теории не особенно мастак, как говорят научно, у меня нервы скручивает. Это Ленька напутал... Это он, ребята, напутал. Факт.

Второй. Одним словом, ему учиться надо.

Шурыгин. В крайнем случае, я тоже учиться согласен. Я с Лениным заодно. Он очень просто растолковал, что союз, а что партия. Это я все понял. Просто, ребята, так ведь?

Второй. Ясно.

Шурыгин. Ну вот, так я тоже учиться согласен, чтобы все к одному ясно и просто было. А только, ребята... Леньку-то ведь жалко. Как-никак на фронте за нас руки лишился.

Первый. Что еще партийная комиссия скажет.

Третий. С работы снимут.

Второй. Учиться пошлют.

Шурыгин. Ребята, он ведь из-за нас руки лишился. Пойдем в комиссию. *(Идет Савранский. Шурыгин отводит его в сторону.)* Леня, ты за фронт держись! Это учтут, это обязательно учтут! Шо? А если что, то мы здесь. Скажи—мы грубиянить будем... Это ведь не шутка—рука на привязи!

Савранский. У тебя голова на привязи! *(Входит в комиссию.)*

Шурыгин *(потирая лоб)*. Остер Ленька! Я говорю ему... *(Входит Михаил. Михаилу.)* А, корешок пришел! *(К ребятам.)* Это—корешок его. *(К Михаилу.)* Где ты пропадал? Ему сейчас комиссия, Леньке Савранскому. Слыхал такого? Ведь ты же корешок его.

Михаил. Знаю.

Шурыгин. Можешь ты о нем сказать слово?

Михаил. Могу.

Шурыгин. Ведь ты же его давно знаешь?

Михаил. С фронта.

Шурыгин. С фронта? Ребята, он его с фронта знает! Пойдем!

Сцена шестая

Парткомиссия съезда. Гливенко и Савранский.

Гливенко. Итак, сколько я могу судить, вы недовольны решением комиссии.

Савранский. Да, я считаю, что оно неправильно.

Гливенко. Я не вижу в этом решении ничего худого для вас.

Савранский. Как? Меня отрывают от союза? И...

Гливенко. Не думаете же вы состоять в нем вечно?

Савранский. Вечно? Нет. Но до седых волос—да!

Гливенко. Стало быть, партию вы оставляете на загробную жизнь?

Савранский. Я член партии.

Гливенко. Член партии, так плохо понимающий партийные задачи?

Савранский. Тогда следовало бы исключить меня из партии, а не снимать с комсомольской работы. У меня нет достаточного партийного опыта, но у меня есть значительный для своих лет опыт комсомольской работы. На каком основании вы это делаете?

Гливенко. На том, что вы не понимаете задачи партийного воспитания молодежи.

Савранский. Простите, но я мог бы заявить, что вы немного недопонимаете того, что интересует нас, молодежь.

Гливенко. Вы имели возможность слышать голос съезда, разве это не голос молодежи? Почему же она оказалась не с вами?

Савранский. Потому, что в нашу комсомольскую распрю вмешались вы. Если бы вы не вмешались, неизвестно, за кем пошел бы съезд. Я никогда не думал, чтобы партия, программу которой мы—молодежь—выполняем, могла нарушить, когда ей вздумается, самостоятельность нашего движения. Вы понимаете это или нет, я не хочу уходить из союза. Не могу и не желаю. Это—моя стихия, моя жизнь. Всякая другая работа мне неинтересна... Должны вы с этим согласиться. Или вы, пользуясь той законной симпатией, которую питает к вам молодое поколение за ваше прошлое... Меня

знают в глухих углах. Ведь вы же не позволите нам вмешаться в ваши дела. Зачем же вы так грубо вмешиваетесь в наши?

Гливенко. Савранский, вы слишком взволнованы, чтобы выслушать меня спокойно, если бы я стала вам объяснять всю неосновательность ваших обвинений. Успокойтесь.

Савранский. Я не могу быть спокоен. У меня еще нет седых волос. Напрасно вас так озабочивает моя беспокойность.

Гливенко. С чего вы взяли, что вас так любит молодежь?

Савранский. Она умирала за меня на фронте.

Гливенко. За вас?

Савранский. Да, и за меня. Вы знаете, что я командовал отрядом. Я вел его умирать.

Гливенко. Вы говорили о комсомольском опыте. Почему же вы не учитываете этого своего опыта и продолжаете делать то, что привело к гибели на фронте.

Савранский. Позвольте, я не совсем понимаю...

Гливенко. Припомните приказ Мельникова, переданный вам Алексеевым. Вы тогда тоже посчитали это вмешательством в дела молодежи.

Савранский. Ну, знаете, я мог всего ожидать от Алексеева, но только не этого.

Гливенко. Ничего худого нет в том, что он рассказал об этом партии и тем помог установить связь ваших нынешних ошибок с прошлыми.

Савранский. А если я вам скажу, что он не только приписал мне то, чего со мной не было... *(Решительно.)* Именно он не передал приказа и после этого... *(Голос Савранского дрожит.)*

Гливенко. Успокойтесь. Это нужно выяснить.

Савранский. Выяснить, но как?

Гливенко. Сделаем очную ставку.

Савранский. Вы думаете, он усовестится? О, это не такой человек. Он слишком хорошо владеет своею кажущейся простецкостью. Сколько я его знаю, а я его знаю с раннего возраста,—в нем всегда преобладали рассудок и расчетливость. В нем никогда не было намека на проявление каких-нибудь чувств, если только... но этого нельзя допустить, чтобы в этом возрасте можно было подавлять их.

Гливенко. Вы думаете?

Савранский. Вы не знаете его! Он сын прислуги, с молоком матери он всосал в себя ограниченность и корыстность этой части рабочего класса, которая никогда не делала

чести пролетариату. Я знаю, что он вступил в союз не из идейных побуждений, а потому, что были ущемлены его шкурные интересы. Если б меньшевик Величкин не закрыл на Омлее курсы по повышению квалификации, которые открывали ему доступ к большему разряду, он бы не вошел в союз. Когда я читал ему первое воззвание, написанное, кстати, мной, я видел, что его совершенно не задевала идейная сторона, он на нее никак не реагировал, его всегда интересовала экономическая сторона...

Входит Алексеев.

Алексеев. Товарищ Гливенко, у нас сейчас идет заседание фракции президиума. Вас ждут.

Гливенко. Хорошо, что вы зашли. Видите ли, нужно проверить ваше заявление относительно Савранского. Он утверждает, что он не мог выполнить приказа по той простой причине, что вы не передавали ему этого приказа.

Алексеев. Так вот откуда это выступление Шурыгина, которое ты, Леня, объяснил горячностью и перевел спор на принципиальные вопросы.

Савранский. Да, я не счел нужным скрывать это от Шурыгина. Но я не считал необходимым делать из этого козырь в нашей распре и оборвал Шурыгина, как только он об этом заговорил.

Алексеев. Но ты ведь просто...

Савранский. Ты прибег к гнусной клевете, пользуясь тем, что никто не может доказать твою ложь.

Алексеев. Можно запросить Мельникова.

Гливенко. Он за границей.

Савранский. Он может только подтвердить, что посылал тебя с приказом, но он не знает, что ты мне его не доставил.

Алексеев. Думаю, товарищ Гливенко, что вы не допустите мысли, что я мог все это придумать. Я подал это заявление не для того, чтобы опорочить Савранского лично, а для того, чтобы вскрыть связь его прежних ошибок с нынешними, что это у него вырастает в определенную линию, гибельную для нашего движения.

Гливенко. Да, знаете... Дело получается запутанное. Не имею основания вам не верить, но когда дело идет о члене партии и если он начисто отрицает обвинение, более того, центр обвинения как бы перемещается, вы понимаете...

Входят Шурыгин и Михаил.

Шурыгин. Ленька, вот тебе корешка приволок, который с тобой на фронте был. Пущай он про тебя расскажет, как ты на фронте дрался. *(К Гливенко.)* Товарищ Гливенко, мы вот к вам целой делегацией пришли за Леньку застаивать. Вы его не забижайте. Что может мы ошиблись, так мы за это не спорим, а только вы Леньку от нас не отнимайте. Вот его корешок скажет, как он на фронте за нас руки лишился, и вот за него, гада этакого.

Алексеев. Миша!

Гливенко *(к Алексееву)*. Вы знаете его?

Алексеев. Как же! Он в отряде Савранского состоял!

Гливенко *(Савранскому)*. Из вашего отряда?

Савранский. Да.

Гливенко. Рассказывайте, рассказывайте.

Михаил. То есть, собственно... о чем же рассказывать?

Гливенко. Расскажите, как погиб отряд Савранского.

Михаил. Как погиб? Мы стояли на станции Днище. Конница противника прорвала фронт. Савранский должен был быть в штабе бригады, но он часто не ездил туда по причинам мало мне тогда понятным, но потом я понял, что он не доверял Мельникову, считая, что Мельников и весь штаб бригады в руках специалистов. Алексеев привез приказ об отступлении. Савранский собрал штаб отряда и стал доказывать, что приказ необоснован, потому что он не знал, что белые прорвали фронт. Я настаивал на отступлении, он обозвал меня трусом. Я был очень огорчен, но сказал—пусть.

Гливенко. Что пусть? Пусть наступают?

Михаил. Нет, пусть я трус. Он сказал, что я предатель. Мне было еще больнее, но я все-таки рещил уйти в штаб сообщить о том, что произошло. Я мог бы еще поднять бузу в отряде, но авторитет Савранского был слишком высок.

Шурыгин *(с замиранием следивший за каждым словом Михаила)*. Леня, так шо же... это? Скажи, что он брешет. Ведь это ж какого он гада из тебя сделал.

Гливенко. Савранский, что же вы молчите?

Савранский. Я ничего не могу сказать. Я не домню. Я был тяжело ранен. Видите, у меня нет руки. После ранения у меня стала плохо работать память...

Шурыгин. Так ты же гад, Леня... тебе же...

Сцена седьмая

Комната делегации Савранского. Стоят кровати без тюфяков. На полу валяется бумага. На столе раздавленные папиросы. На одной крова-

ти в разворошенной постели лежит Шурыгин в куртке, в сапогах, заложив ногу на ногу. Он поет меланхолически:

В огороде озеречко,
Там плавало ведеречко—
Сосновы клепки, дубово донце
Люби меня мое сердце.
Там плавало ведеречко,
Восемь суток тай с водою.
Выйди до мене, мое серденько,
Поговоримо с тобою.

Отворяется дверь, заглядывает сторож.

Сторож. Уехали?
Шурыгин. Уехали!
Сторож. Все?
Шурыгин. Все!

Я бы рада входити,
Мне немилый не велити:
Лежит нелюбый на правой руце,
Я ж боюся разбудити.

Отворяется дверь, заглядывает делегат с вещами.

Делегат. Уехали?
Шурыгин. Все!

Ой Дунаю, Дунаечко:
Ой ты, тихий мой Дунай.
Чи мени...

Снова открывается дверь, с шумом входит Варя.

Шурыгин *(не оборачиваясь)*. Все!

Чи мени втопиться,
Чи назад воротиться,
Я сам, молод, не сгадаю.

Варя. Орготдел губкома—в каком настроении!
Шурыгин *(обернулся)*. Шо? Чего надо?
Варя. Шурыга! Что с тобой?
Шурыгин. Ну, чего пристала. Видишь, занят! *(Как бы не замечая ее, продолжает петь.)*

Чи мени втопиться,
Чи назад воротиться,
Я сам, молод...

Открывается дверь, заглядывает Алексеев с вещевым мешком.

Алексеев. Варя!

Шурыгин. Шо? Никого нет! Чего надо?

Алексеев. Шурыгин! И в каком виде!

Варя. Понимаешь, он лежит и поет: чи мени втопиться, чи мени учиться, я не молод и сгадаю... *(Хохочет.)*

Алексеев. Шурыгин! Ты что? Здесь решил остаться? Тогда уборку сделать надо. Варя, убери комнату! *(Варя убирает окурки.)*

Шурыгин. Стой! *(Вскочил, подошел к столу.)* Стой! здесь еще живые есть! *(Роется в окурках, к Алексееву.)* Спички есть? *(Алексеев подает спички, Шурыгин затягивается.)*

Алексеев. Собирай окурки, да поживее!

Шурыгин. Шо? Это почему живее?

Варя. Едем с нами!

Шурыгин *(после некоторого молчания)*. Вот ведь как, не брезгуешь!

Алексеев. Отнюдь.

Шурыгин. До-обрый.

Алексеев. Допускаю.

Шурыгин. А ведь я—юношеский синдикалист. Савранского поддерживал, в губком метил, против тебя во как был.

Алексеев. Где твой вещевой мешок?

Шурыгин. А Ленька сволочь! Он говорит—тебе все равно сейчас работы не дадут, в деревню зовет, природу чувствовать. Уйдем, говорит, из этого гиблого места.

Варя. А ты? Что ему на это?

Шурыгин. Я сказал: Леня, партия сделала свои указания, ее нужно понимать, тогда ребята тебя простят.

Алексеев *(нашел мешок Шурыгина, складывает в него вещи.)* Окурки забирать, что ли? Ну, а он что?

Шурыгин. Нет, говорит, для меня лучше—покой, уединение, книги.

Алексеев. Вот как! Ты что ж, чудак, тоже на покой собрался?

Шурыгин. Я? Нет. Я сказал ему, что я от ребят не отстану, заскучаю там. Он ведь может, он такой, стихи пишет, а я, мне от ребят никуда нельзя!

Варя. Шурыга, вот и нам от тебя нельзя! Мы ведь тоже такие, книги любим, а покой—нет.

Шурыгин. Шо? Так ведь я в крайнем случае... в крайнем случае я тоже учиться согласен.

Варя *(улыбаясь)*. Согласен?

Алексеев *(к Варе)*. Хороший орготдел будет! *(Подавая Шурыгину мешок.)* Пошли!

Шурыгин. Стой! *(Как бы что-то вспоминая.)* Чего-то мне сделать надо? *(Вспоминает.)* Да! *(Вынул записную книжку, оторвал листок, пробует писать.)* Карандаш не пишет, очинить надо! *(Вынул нож, пробует чинить, не чинит.)* Вот ему записку написать хочу, я ведь немножко грамотный...

Алексеев. Не режет? *(Вынимает ножик.)* На вот тебе этот ножик. Он на все случаи жизни. Понял?

Занавес

ЛАМПОВЩИЦА

Не уходи,
постой,
постой,
Вдвоем останемся с тобой мы.
И я с тобой,
такой простой,
припомню
шахты и обоймы.
Обоймы те,
что в темноте,
когда в лесу иль переулке
тебя припомнить я хотел,
я их нащупывал в подсумке...
Тогда Донбасс
горел в огне.
Горел, и пули пели.
Но только залежи его
по топкам не горели.
Ты помнишь?
Помнишь тот Донбасс,
когда высокие коперы
стояли, злобно затаясь,
а возле них дрались шахтеры?
... Потом,
я помню много раз,
как, по-мальчишескому в кепи,
ты перевязывала нас,
шныряя
взад,
вперед
по цепи,
как вот теперь
по ламповой
при ярком свете,
словно ветер,
нас вдохновляешь в новый бой,
когда в забой
идем мы
к клети.

Я. ШВЕДОВ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

1

В ту зиму я голодал, как никогда, в ту зиму чуть ли не до марта над городом метели опрокидывали снеговые заверти и емкие воронки; когда же из-за крыш домов, будто из бугрищ выбралось солнце, снега порозовели и запахли, как зеленоватые шишки хмеля.

Синие январские снега.

Как беспощаден блеск церковных куполов. Холодные звезды падали, простречивая темь голубыми точками, как условные военные сигналы.

Ни огня костров, ни прохожих. Полуразрушенные здания. Кварталы окраины выглядят, как после длительного обстрела.

Возвращаясь домой с собраний, я обычно восстанавливал в памяти события и встречи дня, вспоминая все мельчайшие подробности встреч—и путь до дома казался не таким утомительным. Но сегодня я думал об одном: только бы не замерзнуть.

Не помню, как я добрался до квартиры. Пальцы рук ломило, было больно дотронуться до чего-либо их побелевшими кончиками; в комнатном тепле боль усилилась, и, не выдержав, прижав руки к лицу, я заплакал. Чувствовал, если боль не остынет—плач перейдет в рыдание. Я боялся тревожить Андрея Кумардина—соседа по комнате, и до крови закусил губу. Пальцы были мокры от слез, и не знаю, от тепла ли, от слез ли—или подошло время, но боль утихла, и, не раздеваясь, я влез под холодное одеяло.

События дня вздрогнули и, трепеща, прошли передо мною. Моя беготня в райком и в МК комсомола не бесцельна. Сегодня в союзе металлистов окончательно решен вопрос о школе завуча.

...Первая школа заводского ученичества в нашем районе, первая в Москве, первая в губернии, первая во всем государстве открывается у нас на заводе второго февраля, и торжественный день открытия, так думал я в ту ночь, стоит рядом, за стеной моей комнаты.

Послезавтра в райкоме на собрании секретарей комсомольских ячеек мой доклад. Райкомщики не знают, что всю эту неделю комсомольцы—будущие ученики—носили в учительскую пачки старых расчетных ведомостей из заводского архива, а девушки уже какой вечер подряд шили из них тетради. Мало, слишком мало знают райкомщики, и узнают ли они, как в эту ночь плакал секретарь комсомольской ячейки завода номер семь, отогревая у щек застывшие пальцы.

Послезавтра пленум в райкоме, я должен повторить доклад о завуче. Завуч готов, а доклад? Успею ли? А вдруг на завтра выпадет дежурство в ЧОН'е. Тогда, ау, доклад и пленум, тогда возьму винтовку, которая и без штыка выше меня. После бессонной ночи, дежурства на ветру, нужно отдохнуть. Прощай доклад.

Спать не хотелось. Горячие сомнения измучили меня. Чувствовал, что я отстаю в цехе, учитель-слесарь удивляется на мои частые невыходы на работу, он пророчит, если я так много буду бегать по различным комитетам, мне не поднять мастерства, и он первым отступится от меня. Он отступится, а разве старик знает, что меня вызывают то в райком, то в МК, то в редакцию районной газеты, разве он знает, как в обеденный перерыв, сглатывая раздражительную слюну, минуя заводскую столовую, бегу в МК на Большую Дмитровку и, разрешив ряд вопросов, обгоняя прохожих, бегу на завод, бегу, чтоб успеть к началу работ после перерыва. Старик-учитель не знает, что я не могу спокойно видеть работы других учеников—моих погодков, я не могу до сих пор постигнуть правильную рубку железа зубилом, я отстал и кажется превращаюсь в мелкого завистника. В глазах многих я предстаю как бездельник, иногда мне хочется, вместо ответа на их выпады и шутки, крикнуть с верстака, с тисков, почему никто не замечает моей работы в комсомольской организации завода.

Сбрасываю одеяло, сегодня слишком знойно дышат остроребериые радиаторы. Горячая и беспутная бессонница не думает отходить от моей койки, она наваливается на меня, душит, и только под утро я забываюсь в беспокойном сне.

2

Разбудил меня Андрей. На паркетном полу, в мутных полосах липкого света, занесенного в нашу комнату уличным фонарем, схлестывались четкие тени веток деревьев.

— Ты, Яня, встанешь сегодня, или все думать хочешь? Вставай. Чайник готов. Попьешь, поешь, опять ляжешь. Так красивше будет.

Нехотя открываю глаза и приподнимаюсь на локте. За окном на улице пугливая тишина, тишина тех строгих лет. Угольная лампочка раскалена. Вчера еще утром мне удалось раздобыть всего-навсего три картофелины, пропитанных запахом угля, есть пришлось без соли; оттого сейчас так долго и задерживается мой взгляд на горбушке хлеба и синеватых кусках рафинада. Слюна, бесстыдно скопившаяся под языком, мешает мне говорить; вскакиваю с постели и, не умываясь, волоку кресло к столу, залитому раздражающим светом угольной лампочки: комната предстает передо мной озаренной солнцем, склоняющимся на закат.

Пять дней подряд я не получал хлеба. Сколько скопилось его у Андрея. Та горбушка, наверное, моя. Какой веселый нынче день, как радостно вспыхивают желтые пузыри в стаканах.

Сосед суетится, его голос напоен радостью, которой мне не дано постигнуть. Он хочет поразить меня щедростью, оттого так неторопливо вынимает из вещевого мешка селедки, золоточешуйную копченую тарань и неизвестно чем наполненные, но такие тугие мешочки.

— Это сахару тебе, Яня, полфунта. Вот воблы пай. Вот и крупа: здесь белая, а здесь черная—гречневая. Сколько вчера в очереди простоял. Каши наварим. Ты, Яничка, мой товарищ, человек умственный, а позаботиться о себе смекалки нехватает. Как друг, о тебе страдаю. Избегался весь. Со стороны жалко, даже не товарищу.

Я могу заботиться о себе, но мне просто некогда. Принимая продукты от Андрея; гашу напускной и неискренней улыбкой свое недовольство. Сосед по комнате на каждой мелочи, на каждом шагу обворовывает и обманывает меня. Сахарная выдача срезана им на половину, рыбный паек тоже убавлен, даже хлеб и то редко отдает он полностью, но я ничего не говорю ему, у меня есть утешение: если б не Андрей, талоны на продукты давно бы пропали. Меня поражает неторопливость соседа: чай пьет он слишком медленно, выстругал палочку и мешает ею, как чайной ложкой. Мы можем опоздать на завод.

На улице тишина. Нет-нет прозвенит по снегу, истомленному морозом, острый полоз и тогда покажется, что бредит спросонья наша улица. Тени ветвей теряют четкость. Светает, и угольная лампочка вянет как ночной цветок, никнут раскаленные нити. Отдергиваю занавеску, и январский свет входит в окно.

На улице и у нас в квартире тишина. Не хлопают входные двери, почему-то медлит уходить слесарь, слишком долго лежит в постели судомойка. Я вспоминаю, что сегодня воскресенье, за спешкой и суетой мной позабыто чередование дней.

— Андрей, зачем разбудил меня? Я заснул слишком поздно.

— Как твой наилучший товарищ, Яничка. Человек ты умственный, а городишь не дело. Думаешь, я не знаю ничего? Мне известно, сколько дней ты, Яня, голодным ходил. Сытому и спать красивше. Кровать не убежит. Сытому и сны сытые снятся, а голодному и во снах мучиться решено.

Чай в накладку опьяняет меня, как крепкое вино. Я охмелел от еды. Розовый туман качается над кроватью, как над утренней рекой. Делаю шаг вперед, отгоняю туман рукой и только сейчас замечаю, что у моего соседа выступают желваки у висков; не из-за них ли он выглядит таким хмурым и озабоченным не по годам? Скоро полгода, как я и Андрей живем в одной комнате, но до сих пор он не понят мною.

Солнце и резкий отсвет снежных крыш соседних домов останавливаются рядом со мной. Как парус в безветрие, падает на меня полог, я засыпаю под легкий перезвон стаканов, вытираемых Андреем, думаю, что мой сосед неплохой товарищ, мне шестнадцать неполных лет, он старше меня чуть ли не вдвое, сосед заботится обо мне, как старший любящий брат, я сыт, сегодня мною позабыто все.

3

Спал я недолго и проснулся от надоедливого, однообразного стука и отдаленного грома. Недоумевая, откуда идет гром, чуть приоткрыл полог. Андрей, прикрепив к столику оправку, вертел ведро. Ручьилось под ножницами белое железо. Стружка искрилась и сверкала, как льдинка, как весенний ручей. Ручными ножницами резать нелегко, я вижу, как Андрей наваливается на их ручки всем ладным телом. Наготовив полос, Андрей замахнулся кианом, лист откликнулся. Все выше, все чаще взлетает деревянный молоток и гуденье переходит в надоедливое дребезжание.

Когда нас вселяли в эту комнату, мне и Андрею дали два мягких кресла с резными геральдическими птицами вместо спинок и диван, украшенный такими же птицами. Занимая тогда диван, Андрей сдвинул крышку, ящик под ней был пуст, я запомнил это, а сейчас он ломится от вещей, я не знаю, как сумеет Андрей вдвинуть крышку обратно.

...Ломы, полосы гаечного железа. Над колючими брусками драчевых и полудрачевых пил извиваются серебреные, узкие как ужи, закаменевшие струи олова; свинки свинца прячутся за мотками медной проволоки; паяльники поднимали по-змеиному свои головки, украшенные венчиками после недавней пайки.

За спинкой дивана я увидал кипу листов кровельного железа.

Я даже не догадывался, что мой сосед приносит что-то с завода, а теперь я не мог понять, когда он успел похитить столько заводского имущества. Знал, что драчевых пил нехватает у нас по цехам, а у него целый склад; олова давно нет в материальном магазине, у соседа—богатые залежи. Злоба ударяет мне в голову, я забываю все его благодеяния, я сейчас ненавижу этого широкоплечего, большеголового человека. Если б на примете оказался угол, я с легким сердцем оставил бы эту солнечную комнату. Незнакомая мысль овладевает моим сознанием, становится страшно, когда я раздумываю, а сколько же у нас на заводе Кумардиных. Эта мысль не отстает от меня, она преследует, как иногда может преследовать человека случайно запомнившийся, но такой, навязчивый мотив.

— «Фофан, ты, фофан! А еще секретарь комсомольской ячейки. На свои неполных шестнадцать лет может быть ссылаться будешь? На пленумах заседаешь, в экправах когда-то ходил, большие проблемы осиливаешь, а большой мелочи, что сосед расхищает завод, да у тебя под носом, не замечаешь».

Отшвыриваю ногой скорчившийся обрезок. Он летит через комнату и, ударившись о кресло, рикошетит и долго трясется, как припадочный.

— А, встал,—улыбнулся Андрей и торопливо ввел крышку дивана на старое место.

— Ты, случайно, не сдельно взялся с завода добро таскать?—спрашиваю я.

— Как это сдельно? Ты к чему, Яничка?—недоумевает Андрей.

Притворство соседа, его непонимание, нарушает правильное течение мысли, обвинение распадается, я позабыл его и озлобленно кричу:

— Всю комнату заводским имуществом набил, как торговка сундук. Глупеньким притворяешься.

— Человек ты, Яня, умственный, а городишь не дело. Разве в проходной у нас не обыскивают?

— Вода путь найдет. Вот что, Андрей, начинай сдавать на завод инструмент. Я никому не проговорюсь про это. Хочешь, даже помогу носить обратно!

— И опять не дело городишь. Могу ли я воровать, когда у меня по комнате кумпаньеном сам секретарь?

— Не финти. Отвечай напрямик: когда сдашь все материалы?

— А разве, Яня, такие инструменты пропадали с завода?—спокойно спрашивает Андрей.

— Заявок к сторожам не поступало,—остается ответить мне.

Я не выдерживаю. Спокойствие и умение Андрея ни словом, ни движением не обмолвиться бесит, я готов отказаться от обвинения.

— Напрасно беспокоишься и себя тревожишь, товарищ. Все, что видел, купленное. На рынке. Хочешь покажу любую вещь, отыщи заводскую мету. Зря, Яничка, придирку наводишь. У нас на заводе все под метку,—горячится Андрей.

— Метку спилить можно. Вы, кровельщики, часто за заводом работаете. Идете, выносите по пропуску инструмент, а ворованное потом в инструментальную сдаете. Вы не в накладе.

— А ты откуда знаешь про наше право?—Андрей виновато улыбнулся, эта улыбка выдала его. Инструмент вынесен с завода именно так, и, если сейчас взять паяльник, можно найти или мету, или след от зачистки.—А ты, Яня, откуда про это знаешь?—настаивает Андрей.—Может тебе как секретарю знать дано? Может по такому случаю заявление напишешь? С обыском меня поздравишь, товарищ умственный?

— Дело, Андрей, не в доносе. Нельзя расхищать цеха,— строго и заученно говорю я.

— А ты, Яня, напиши донос, донос. Ты, Яничка, человек умственный и грамотный,—уже издевается сосед.

— Доносчиком не был,—волнуюсь я.

— И не будь им, Яня,—советует Андрей.—Последнее дело на свете—донос. Людям надо за справедливость держаться в такие годы. Не доносом мир держится. На мой счет сомневаться тебе, Яничка, не приходится. Медь купил однодеревенцам, когда они денег дали. Прошлым летом. Может быть я и краденое купил, у торгаша на лбу не написано, каким он торгует. Обыск приведешь, я свидетелей выставлю, расписку отыщу. Жили мы с тобой допрежь дружественно, отношения наилучшие происходили, товарищами считались и вдруг из-за какого-то паяльника мы врагами сделаемся.

Опускаюсь в кресло. Геральдическая резная птица парит над моей головой. «Может быть, Андрей говорит правду? В проходных сторожа деньги от завода получают или нет»?

Чувствую, как недавние подозрения оставляют меня.

— Давай, Яня, подъедим. После докончим наш разговор,— предлагает Андрей. Он убирает оправку, летят в угол обручи, ведра, обрезки, прыгают впереди щетки, как бездомная степная трава.

«Интересный человек—мой сосед. Цепкий,—рещаю я.—Напрасно погорячился. Андрей неплохой парень и товарищ. Упроси другого для приятеля хлеб получать. Такой человек не может быть вором. Как он заботится обо мне. Мне только пока-

залось, что он обкрадывает меня. Как легко звучит в его произношении мое имя».

— Скажи мне, товарищ, ты человек умственный,—Андрей улыбнулся необыкновенно легкой улыбкой—такая улыбка нам свойственна только в детские годы, и немногие ее сохраняют даже до юности,—он завораживает меня.—Скажи, когда люди добрее бывают, когда они сыты или голодны? А ведь голод большую силу над человеком забрать может. Из-за него люди беспокойство большое имеют.

Чайник неспеша плывет по клеенчатой зеленой заводи стола. Расставлены стаканы.

Коротки январские сумерки; еще не пропали горячие сгустки солнечного света, а на пол опрокинулись так хорошо знакомые сетки оголенных тополей.

Предвечерняя, не изученная мною тишина комнаты. Остывает чай. Четко вырисовываются, приобретая даже рельефность, тени в шести квадратах окон. Не хочется оставлять кресло.

— А неплохо бы сейчас на теплую печку с женой завалиться,—говорит Андрей.

— Не знаю, тебе виднее. А ты, Андрей, почему не женишься?—спрашиваю соседа.

Мне хочется вызвать его на откровенный разговор, понять его на словах, случайных оговорках и просто на дружеской болтовне.

— Ты один сынок, одни сынки, они избалованы,—вспоминая слова Андрея, говорю я. — Тяжело им на заводе. Парень ты справный, годки вышли, только губы у тебя нездешние. Синие не синие, белые не белые. Это у тебя от томления. Часто о женитьбе думаешь. Женись.

— Жениться надо, а на ком?

— На девке,—подсказал я.

— Знаю, что не на овце. Когда женишься, Яничка, будто в другую половину жизни войдешь. Женишься, покажется, будто бы выше ты стал. Жениться надо, когда все у тебя в достатке. Сердце радуется. Надо приданое богатое взять, а где сейчас приданое? Обедняли люди. А мы вот справными хозяевами остались. Надо, чтобы перед женитьбой шуба была отменная, чтобы и невестины плечи тоже лисья шуба оттягивала. Избыток—вот и жизнь. А мучиться, бедновать да с женой—распоследнее дело, лучше одному век вековать.

Андрей долго говорил о свадьбах на его стороне, пестрых и звонких, как бубенец под праздничной дугой. Он говорил ярко и необыкновенно, я видел с его слов молодых, входящих в цер-

ковь. И на Андрее и на его невесте тяжелые лисьи шубы. Гремят певчие, зажжены паникадила, в иконостасах отражены блики огней, иконостасы горят, как березовые рощи в праздничные дни бабьего лета. В церкви холодно и дыхание мутит иконные стекла: венчаются в шубах, и два деревянных венца, как золотые птицы, залетевшие в церковный полумрак из неведомой страны, трепещут над головами, стараясь вырваться из рук шаферов. Тройки, брага, пахнет хмелем, снег пахнет и брагой и хмелем, оттого так и боязно молодой подняться на первую ступень крыльца чужого богатого гнездовья.

— Сынок один,—вздыхает Андрей,—родители старики, самовластвовать скоро мне одному, а хозяйки сподручной до сих пор не выглядел. В дом богатый и невеста богатая требуется. По Сеньке шапка, как в пословице.

— Чудак ты, Андрей,—говорю я.—Разве нельзя жениться на простой. По-моему приданое самые лучшие чувства расхолаживает.

Я говорю Андрею о тех днях, когда о приданом люди будут знать только из книг, люди будут смеяться, узнав, что из-за какой-то лисьей шубы гибло простое, как песня, счастье влюбленных.

На улице крутит замять. Еще горяча в чайнике вода, мы сидим в темноте, не зажигая огня—если зажжем, разговор у нас пойдет иначе, слова будут звучать глуше.

— Ты человек умственный, а городишь не дело. Надежда есть, что невестино добро выручит тебя в беде.

— Без приданого будут люди сходиться.

— И сходятся. Только не в деревне. В городе все возможно. У одного нет ничего, у другой одно платьишко, к чему им приданое. А в наш дом грешно без приданого жену вводить.

— И в деревне будут жениться без приданого, как в городе.

— Будут, только не при мне.

— Планы перестройки намечены.

— Ты плантами не плантуй, товарищ, ты в жизнь вникай. Сколько тебе годков-то? Шестнадцатый, говоришь? Ты в жизнь больше вникай. Меньше улыбайся, больше думай. А знаешь что,—ласково и мягко говорит Андрей,—бери летом отпуск и поедем ко мне в деревню. Мой дом увидишь. У отца две коровы, молоком стану тебя поить, щупляка. А и щупляк ты, как цыпленок поздний. Говори, поедешь летом в деревню? Хочу память хорошую оставить.

— Там видно будет. Надо дожить еще до лета,—уклончиво отвечаю я.

— Вольготная жизнь в деревне,—рассказывает Андрей.— Выйдешь на покос—луга твои, на пашню выедешь, лемеха под солнцем как солнце горят, и знаешь, что твои лемехи и ничьи больше. А в лесах, в лесах у нас ягоды не оберешься. По клюкву, по бруснику, по голубику на подводах собираемся. Грибов обтаскаешься. В сподручный год одни шляпки у грибов берем. А под осень в белоусе какие белые водятся. Одной верхушкой дно кузова заслонишь. Поедем ко мне гостить, товарищ ты мой умственный.

Я всегда немного завидовал Андрею. В перерыве, после обеденных гудков, рабочие часто собирались в тени кровельной мастерской. Как ловко, вызывая восхищение собравшихся, Андрей метал двухпудовую гирю, на лету останавливал ее вращение за дужку. А я еле-еле справлялся с пудовичком.

Андрей легко, как ребенка, кружил моего учителя-слесаря, а мне оставалось удивляться, как только может делать мой сосед по комнате. А как мог смеяться Андрей, показывая при этом полный рот белых, как кипень, зубов, хлопать меня по плечу и выделять при разговоре «т», весело говоря мне: «Товарищ ты мой умственный». Он повторял это выражение слишком часто, и я недоумевал, в самом ли деле Андрей меня считает таким, или просто скрытно подсмеивается надо мной.

Я завидовал Андрею и, оправдывая это чувство, думал: если бы не привезли меня родители в Москву, живи я до этих пор в деревне, я ничем бы, даже в силе, не уступал бы моему соседу.

Как много хорошего перевидал Андрей. По клюкву, по бруснику у них на лошади уезжают, по голубику тоже, грибы у них родятся такими, что чуть ли в корзину не влезают—а я видел только узкие, похожие на гробы сараи, только дворы, кипевшие с утра и до заката лохмотьями застиранного белья жильцов и жиличек, только выгребные ямы, прикрытые худыми щитами, где мы, рискуя провалиться и захлебнуться в едкой жиже около полуистлевших котят, устраивали свои богатые пиршества и игры детства.

И в памяти от тех лет кажется только и остались зеленые застоявшиеся лужи, по которым я подгонял своим дыханием бумажные, легко тонувшие корабли. А что я слышал? Припадки матерщины да... но лучше и не говорить об этом.

В голодные годы за моим жильем валялись десятки павших лошадей. Черные тени ворон и галок кружились надо мной, когда к свалке, приманенные падалью, подходили собаки.

Я голодал. Я ездил пилить от завода в лес дрова, а потом в мою жизнь вторглась эта комната, похожая на весенний солнечный день.

О, затянувшийся солнечный день с белыми глубокими проемами облаков в глубине!

— Что задумался, товарищ ты мой умственный? Думай, думай, а сто рублей не деньги.—Андрей положил на мое плечо руку.

Я не выдерживаю тяжести его руки и пригибаюсь к ногам соседа. Он смеется, играя полноценной белизной зубов, от его смеха, кажется, веселеет в комнате, будто солнышко, давно склонившееся на закат, на миг протянуло запоздалый лучик.

— Думай, думай, а рассчитываться все равно придется,—говорит он.

Андрей кладет меня на пол, выпускает из брюк рубашку и, нащупав ремень, переносит меня в зубах на кровать. Опустив, он вытирает губы и смеется.

— Много ли вас на пуд сушеных. Говори: поедешь или не поедешь со мной? Желаю добрую память оставить.

— Там видно будет, далеко еще до отпуска,—уклоняясь от прямого ответа, повторяю я.

Зажмуриваю глаза. Белоголовые грибы, краснобокая клюква надвигаются на меня. Кажется мне, не дождаться дней праздничного лета. Сейчас начало весны, а как далеко до июня.

4

В тесных и узких комнатах райкома за письменным столом экправа лежали бруски вязкого мыла, вороха мочалок выступали из полутьмы, как водоросли, высушенные солнцем; проходила в комсомоле очередная кампания—неделя бани. Кто-то из работников райкома принес взъерошенный березовый веник и передал его маленькой голубоглазой машинистке Симоновой. Та, не улыбаясь, благосклонно приняла веник из рук в руки, как дорогой подарок, и поставила в узкогорлую китайскую вазу в комнате самого ответственного секретаря.

После снегопада, холодной замяти и метелей солнце выглянуло добрым и горячим. Несмолкая, по целым суткам гремела, как оркестр, торжественная капель, обтаяли края крыш. От дружной весны в райкоме запотели стекла и лопнули трубы; пока искали водопроводчика, вязкий пар заполнил комнаты, в коридорах шатался густой туман, напоминающий банный, пахло мылом, мочалками и разбухшим веником.

Когда я пришел по вызову, райкомщики, казалось, не ходили, а плавали. Симонова спросила, как учится молодежь в завуче, что нового в ячейке, и вручила мне целый рулон банных билетов. Потом подвела за рукав в угол и велела взять мне сто пятьдесят мочалок и по три куска мыла на каждую.

— У тебя первый фабзавуч в районе, ты староста, ты секретарь ячейки, устрой всей молодежи коллективную баню.— Симонова застенчиво улыбнулась.

Присев на корточки, я увязывал мочалки и мыло. На заводе сейчас я никого бы не застал, и, решив раздать полученное завтра, я перекинул через плечо свертки и вышел из райкома.

...Те дни! ой как высоко подымали меня, не от их ли крутого взлета так сладко, как при падении, замирало мальчишеское сердце.

На открытии завуча ученики меня выбрали старостой всех групп, теперь я обязан быть на совещаниях педагогов в школе.

Маленький, узколицый, я в те годы сам себе напоминал чем-то лисенка. Недетскими глазами я глядел на мир и сверстников. Оборванные, голодные, приходили они в классы; среди учеников было несколько эпилептиков. Озирая товарищей, я гордо и вместе с тем с горечью думал, что это—наше поколение, наша когорта, подросшая в годы больших войн, в годы интервенции и блокады, в очередях за осьмушкой хлеба и котелком пустых щей.

До слез, до хрипоты в горле я вырывал у снабженцев—сам не знаю как это только у меня выходило—для фабзавучников пуды муки и печеного хлеба, добился через партячейку отпуска горячих завтраков в школе. Случайно удалось получить сорок пудов риса и две тысячи банок сгущенного молока из нансенского фонда, и потом, после уроков, в столовой, обедая вместе с фабзавучниками, я наблюдал, как воровато тянутся их плохо отмытые руки за куском хлеба или тарелкой сладкой рисовой кащи, думал, что я ничем не отличаюсь от них, у меня тоже плохо отмыты руки, и когда я откидываю назад голову, чтоб встряхнуть волосами, даже через ветхую материю рубашки видать, как высоко подняты кости шеи.

...На пленуме райкома я поставил вопрос о дополнительных отпусках подросткам в этом году, райком и московский комитет поддержали. Мое предложение прошло сразу в шести районах, и уже здравотделы посылали на заводы бригады врачей. Сверстники не говорили больше мне об отставании, райкомщики не раз мне намекали, что пора мне переходить на работу к ним в аппарат, меня уже знали как комсомольского работника в других районах, оттого так и замирало мальчишеское сердце, испугавшееся известности и славы.

...Я остановился на пороге и крикнул Андрею:

— Гляди, сколько мыла и мочалы припер. Четыреста пятьдесят брусков. Каждый брусок чуть побольше конфетки шоко-

ладной. А сколько билетов.—Я поднял рулон, подкинул его, и лента, как радуга, повисла над веревками в нашей комнате.

— Ты человек умственный, Яня, и справедливый, тебе доверяют. Оправдывай.

С утра меня вызывали в райком по медосмотру—в цех я в этот день не попал.

Когда на другой день, собравшись на работу, я поднял кипы с мылом, меня поразила их необычайная легкость. При подсчете оказалась недостача по семидесяти пяти кусков в каждой. Сообщил об этом Андрею. Он побледнел, и синие тени отчетливо выявили желваки над висками.

— Мы зря с тобой комнату не запираем. Кто-нибудь из баб. Ты молчи о пропаже. С ними лучше не связываться. Ты найди выход. Раздашь по два, а не по три. Дешево и сердито. Только ты на меня, Яничка, не подумай.

— Напрасно беспокоишься, Андрюша,—ласково говорю я.—Как товарищу сообщаю. Сочувствия и помощи жду.

— Значит на меня не грешишь, Яня?

— Брось чудачить,—отвечаю я и думаю, что какой у меня хороший сосед по комнате. И зря я такого хорошего человека из-за мыла побеспокоил. Ну и чудак. Ну разве я могу усомниться в честности человека, который столько мне принес добра. И может ли он взять мыло? Ручаться, конечно, трудно, но не верится. А совет дал отменный.

Думать было некогда, я взвалил кипы на плечо и вместе с Андреем вышел на улицу, в блеск и сияние первых лужиц и звонких льдинок, на улицу, взбодренную утренним солнцем и перекличкой гудков.

Я роздал мыло, но после раздачи я стал бояться почему-то вызова в райком. Казалось, что райкомщики давно знают, как я распределил мыло. Я измучился, ожидая выговора от райкома, я не додал каждому пареньку кусочек мыла, меня за это могут вышибить из комсомола, меня могут сделать посмешищем на весь завод.

Сон и тот не приносил забытья. И в сновидениях предо мною представало мыло, сухое и звонкое, как хорошо прокаленный кирпич, даже во сне я отчетливо различал синеву прожилок, и месяца два до отпуска я не переставал следить, каким мылом стирают женщины нашей квартиры.

Тонкорукий, большеголовый подросток с пугливой тенью глаз медленно входил в блеск зеркала. Я боялся приподнять голову. В отображении во весь рост я еле-еле признал себя.

Врачи измеряли грудь, велели дышать то часто, то редко. Мы устали от испытаний.

За окном амбулатории пахло сонным солнечным теплом и отцветавшей сиренью. Мне хотелось поскорее оставить этот кабинет, наполненный сухою чистотой и больничными запахами.

Врачи изумлялись нашей усталости, они не верили нашим годам — дни интервенции и блокады рано опочили на наших лицах поздними морщинами. Врачи писали к декретным отпускам еще дополнительные за счет страхкассы.

Вышел я на улицу в золотую лень летнего легкого полдня. Тихий переулок разлегся под солнечным пригревом, разлегся и вытянулся. Солнечная сторона выглядит опустошенной: пешеходы минуют ее. Провода, излучающие блеск, кажутся вплавленными прямо в солнце—это от солнца на весь мир летят провода, а не от здания телеграфа.

Пять церковных репчатых глав как пять солнц встают на моей дороге. Вниз глаза опустить не могу, я взгляну в лицо солнышку, как проходящей мимо девушке: взгляну и в глаза его пяти питомцам, опустившимся на зеленую от мха крышу старинной церквушки, пусть перезваниваются и переговариваются с куполами облака, пусть—я сегодня в отпуске и на днях вместе с Андреем уеду в деревню.

Бубенец вспорхнул, изловчился, подымая первую еще неуверенную трель, вспорхнул по-птичьи за дугой, ослепительная медь сплавилась с блеском июньского полдня, пропал из глаз и отозвался далеко, впереди подводы. Бубенец манит, зовет. Медом пахнут медуницы и ромашки. Розовая волна клевера вливается под ветер в зеленые затоны овса. Надвигающиеся на меня деревни, поля, перелески, холмы кажутся выдуманными.

Сидеть на телеге неудобно. Листовое железо грозит упасть и при падении разрезать меня; ящики и корзины, кажется, ненавидят, я, наверное, чужой им, они готовы при каждом толчке спихнуть с подводы на ухабы.

Отец Андрея—низкорослый, крепкий, как белый осенний гриб, спрашивает, удобно ли мне.

— Удобно,—отвечаю я, рискуя прикусить язык,—только ноги вытянуть негде.

Отец Андрея поворачивается ко мне, в его глазах возникает необыкновенный блеск, кажется, он смеется надо мной.

— Значит, ноги девать некуда? А у тебя, Андрей, как дело с ногами? Сколько вы вдвоем вещей приволокли. Что бы получилось, если бы я на вокзале не встреть вас? Идите по тропке, промнитесь,—смеется он.

Андрей первым спрыгивает, подает мне руку, и вот мы идем по тропинке, идем, а бубенчик звенит и заманивает вперед.

Позабыта боль в плечах. Сегодня я втаскивал в вагон такие мешки запасливого Андрея, что пассажиры глядели на меня с сожалением.

Бегу по лугам, сшибая цветы, бегу догонять полевой бубенец.

— Отец, я с товарищем напрямик пойду,—крикнул Андрей.

...Сегодня утром я находился в Москве, а сейчас буду догонять умирающий под вечер звон бубенчика. Притропиночные кустарники откинули ранние блеклые тени.

— Теперь и деревня под боком. Увидишь мою стройку, увидишь—ахнешь,—говорит Андрей.

— Скажи мне, Андрюша, а все же ты не настоящий рабочий. Тебя трудно понять. Таких бы, как ты, я к заводу не подпустил. Мешаете вы заводу. Я таким бы рабочим приказал к земле ближе быть и то до особого приказа.

— До какого еще приказа? Может быть, когда с работой полегче станет?

— Хотя бы и так. Будут дни, мы забудем слово «безработица».

— Отгадай загадку, Яня, ты человек умственный. Не мельница, а мелет,—Андрей хлопнул меня по плечу и рассмеялся.

— Армянская?

— Нет, зачем, нашинская. Не знаешь, скажу. Один кровельщик из нашей мастерской. На тебя он отчасти похож. Что ты все о завтрашнем, ты сегодня дай такой кусочек, чтоб сердце радовалось.

— Так нельзя рассуждать, Андрей.

— Можно. Я теперь в деревянной, а не на заводе.

— Есть такие крестьяне, что ни два ни полтора. Никакой дробью их положение не проставишь. Они на заводе работают, а до конца жизни говорят: мы хрестьяне. Вот таким бы велел от полей поскорей отрешиться.

— А что ты мне, Яня, товарищ умственный, посоветуешь?— спрашивает Андрей.

— О тебе разговора быть не может. Ты просто один сынок. Вот и все здесь сказано,—зло отвечаю я.

Синяя, мутная пленка раннего тумана плывет над кустарником. Многолетние елки, возвышающиеся над зелеными стенами березняка, темнея, становятся старинными сторожевыми вышками. С правой стороны нам зашла сосновая роща. Стволы деревьев красны от корня до зеленых зыбких верхушек. Казалось, сосны попали в зарево от большого пожара.

— Дело к вечеру, а ты все злее. Отец наверное лошадь распрягает, а мы только добрались до дома,—сказал Андрей, когда мы подходили к деревне.

6

Вода в озере была розова от заката. Шапки пены кружились на бешеной быстрине ручья, вырывавшегося из заводи. Приозерные луга белели от пены.

«Сколько пены. Откуда она только взялась?»—думал я. Возникло желание разрушить пенные хлопья, и только я сделал шаг вперед, как хлопья ожили и, хлопая крыльями, перешли на палевую от пыли дорогу: из-за полумрака я принял гусей за пену.

— Наши пасутся. А вот и дом. Мы к нему с огородов, к задне подходим. Баня топится, это хорошо. Помоемся,—Андрей показал на избушку, притаившуюся за огородным тыном.

Синеватый дымок прихотливо стлался, теряясь за верхушками ветелок. Сонно покачивал зонтики укроп.

— Иди в избу, а я прямо в баню. Накажи матери, чтобы смену чистого белья принесла.

Я нерешительно вошел в избу. Высокая женщина с темным румянцем на щеках, еще сохранившая черты былой красоты, разглядывала линючие ситцы.

— Так это ты Андрюше товарищем приводишься? Входи, входи. Гостем будешь,—женщина молодо кивнула головой, и два серебряных полумесяца ее серег звякнули о застежки и на миг отразили колебания огней в лампадах.

— Андрей велел белья в баню принесть,—сказал я.

Летний вечер подкрался незаметно. Лампу не зажигали: в избе было светло от лампадок. На улице робко и пока несмело перекликались гармоники.

— Позавчера потяпал усадьбу за озерком. Десять копнушек нагреб. Для тебя старался, небось на сене ляжешь?—отец вылезает из-за стола.

— Эк хватился. Я им обоим постель там давно постлала,—сказала мать Андрея.

7

Душная и тягостная, как кошмар, ночь опрокидывается надо мной.

Крыша не ощущается взглядом, кажется лежишь сейчас в глубинном колодце. Слышно, как перебираются букашки с былинки на былинку. Ночь наполнена шорохом. Андрей ворочается с боку на бок.

— Не спится?—участливо спрашиваю я.

— Скажи, Яня, товарищ ты мой умственный, разреши вопрос. В Москве мы еще про это говорили. Весь народ скопом жить будет. А вот не только с народом, с отцом ужиться не могу. Заедает он мои дни.

— А на тебя, Андрей, трудно угождать. Я немножко жил в деревне. У меня мать крестьянствовала, но таких, как ты, не встречал. Таких, как ты, мало. Вас надо в музеях показывать.

— Ты жизнь не знаешь. Слишком часто улыбаешься. Нас много,—строго, точно хочет предупредить меня, говорит Андрей.

— Тогда я не понимаю тебя. Скажи, Андрюша, когда мы за грибами, за брусникой пойдем,

— Обожди, сейчас не до брусники, сейчас сенокос подошел.

Как я заснул—не помню, а первое мое утро в деревне пришло, окруженное росой и звоном кос на заливных лугах.

Высушенная осока при легком ветре звенит, как белая жесть. Осока, только что привезенная косцами с болот, остра, как необрезанное листовое железо. Проклятая осока до крови изрезала пальцы и ладони рук. Глубокие разрезы быстро гноились, но заживали слишком медленно. Андрей и отец каждый вечер везли и везли к сараям на усадьбу осоку, сырую, тяжелую, как гуща.

Особенно болели свежие порезы незажившим язв.

Первые семь дней моего гостевания у Кумардиных хозяева не знали, куда посадить меня. Когда начался сенокос, я и Анисья, мать Андрея, разваливали ломкий клевер; развалив, женщина уходила топить печку, я один разбивал валы, ворошил, перецапывал и убирал.

Потом, когда с дальних болот пошла осока, Анисья стала ходить на пустыри, и сушить осоку пришлось мне одному. Приходили косцы домой, и если я заявлялся к столу, не закончив уборку осоки, Андрей, отец и мать глядели на меня исподлобья, я чувствовал на себе их взгляды, полные неприязни и недовольства.

...Высохшая осока шумит даже при легком ветре, слышишь—слышишь тот шум, похожий на трепетание,—это трава тоскует по болотищам.

Разрушаю копну за копной. Блеклая осока зеленой пеной ложится у ног.

— Здравствуй, москаль. Как гостится тебе?

Возле усадьбы Кумардина, по ту сторону прясла стоит, согнувшись под тяжелой вязанкой хвороста, старик.

— Ничего гостится.

— Гости, гости, сынок,—старик испытующе смотрит на меня и сваливает на луговину вязанку.—Отдохну.

Стряхивая с рубашки цепкую осоку, подхожу поближе к пряслам.

— А летось убежал от них гостек. Вот так же привез его Андрейка. А тот возьми и сбеги. Как от неприкаянных. Таких людей на свете мало. Работай, работай, бог труд любит,—смеется весело старик и, крякая, подымает вязанку.

...В сарае я упал на мягкое, еще пахнущее лугом, залитым солнцем, пустырное сено. Старик же с вязанкой хвороста стоял передо мной. Он, кажется, насмехался. Как ноют и мозжат порезы. И в этот день четырнадцать копен осоки заночевали неразваленными на лугу.

8

Чай пили под яблоней на огороде. Зоркие подсолнухи чутко прислушивались к однообразному гудению шмелей. Огород ослеплен солнцем.

— Андрей,—умоляюще говорю я,—когда же за брусникой соберемся? Если не за брусникой, за голубикой пойдем.

— Надоел ты со своей брусникой. Когда-нибудь, Яничка, и сходим.

От жары с треском лопаются стручки созревшего гороха. Гудение шмелей навевает на меня дрему.

Как кружится голова.

Ни петушиного крика, ни ветерка; зеленый дым не шелохнется над жерлом самовара, за легкой стеклянной дымкой млеет окрестность.

Я ничего не вижу перед собой, на все легла багровая тьма, я ничего не помню, только в памяти осталась Анисья, заслонявшая собой солнце, да еще ее черные волосы на висках и маковке, залитые дымчатым золотом горячего полдня. Ранний сумрак застиг меня на полпути к огородной калитке, мир качался, как маятник, и неуспокоенная синева, ломкая, как стеклянная, стыла впереди. Еще сегодня утром я почувствовал боль в висках, боль усилилась, и сейчас мне полдень не в полдень, и, ничего не замечая, я бреду на покой в сарай.

В щель, оставленную невплотную притворенной дверью, видно голубое небо.

Вот в такую пору припади на холодную землю, прижмись к ней, крепче чем к матери прижмешься, и тогда услышишь сердцем перезвон сосняка и былинок. Слейся с землей, пробудь с ней наедине до рассвета, ты услышишь ее взволнованное и трепетное дыхание.

Сарай набит сеном. Сено и в полночь здесь горячо, как и в бездумный испепеляющий полдень; запах сухих трав, горечи, солнца душит меня.

Я падаю на дерюжку. Эта ночь горяча до бесстыдства. Я весь горю. Сарай вздрогнул, как вагон поезда, и закружился пьяной каруселью.

Лечу в глухую тьму. Как замирает сердце.

Величаво и торжественно распахиваются двери и кто-то входит в сарай. Я не вижу лица, но одежда зелена и пахнет болотом, как только что скошенная осока. Разрываю ворот рубашки, протягиваю руки и чуть приподнимаю голову; я вижу теперь ясно и отчетливо, что в сарай вошла женщина, ее глаза грустны, как небо перед дождем; я признал в лицо вошедшую—это лихорадка пришла за мной с болотищ, с журавлиной родины. Лихорадка измучает меня, но в сознании еще трепещет мысль, слабая и зыбкая, похожая на паутину бабьего лета, что никто в сарай не заходил и не зайдет, я никому не нужен, и что, приехав в деревню, я ни разу не сходил в лес, я не искал белоголовых грибов, не попробовал даже брусники собирать, по которую здесь, по рассказам Андрея, ездили в лес на лошадях. Все прошло мимо меня стороной, как голенастый весенний дождь, гонимый ветром, только осоку, одну разъединственную я встретил здесь.

Осока с шелестом падает на меня. Как душно здесь.

Кошмары не отставали от меня до утра. Очнулся я поздно. Щели сарая были наполнены не солнечным теплом, а серым цветом. Я увидел, как вздрагивали и пригибались у подножия дыбы густо-зеленые травинки, решил, что на улице дождик. Пощатываясь вышел из сарая. Флюгерный конь, разметнув на лету скучного дня пушистый как у лисицы хвост, просился в небо. Капли вкрадчиво стучали о дранку крыши.

Я поднялся на крыльцо летней избы и отступил: амбарный замок, как показалось мне, с нескрываемым злорадством смотрел на меня. Стучался в калитки и ворота, искал ключи во всех известных мне местах похоронок и не нашел. Стало понятно, что я больше не нужен Кумардиным; нынче Андрей даже не явился ночевать в сарай.

«Придется бежать, правду говорил старик. Уехали, куска хлеба не оставили. Дом под замок. Нет, болеть мне по чину не полагается. Надо бороть, бороть лихорадку. Пора думать и о Москве».

Я опять пошел в сарай. Только добрался до постели, как теплая и влажная зыбь сна подняла меня чуть не до звезд и стремительно, но так заботливо, опустила навзничь. И уснул

я легко и спокойно, как в детстве, под заботливый шопот летнего теплого дождя.

Проснулся я перед сумерками. Боль в висках не мучила меня. Я был несказанно обрадован выздоровлением.

В сарае пахло той необъяснимой свежестью, которой полна земля после дождя. На улице в лужах отражались глубокие колокола облаков. По обочинам дороги, черной от дождя, в канавах голубели голенастые ветлы. По лужицам, притаившимся в траве, высоко поднимая брызги, бегала детвора.

Вошел в избу.

— Где Андрей?—спросил я у Анисьи.

— Где ж ему быть. Если не в сарае, так в горнице.

Я вышел из избы, прошел холодный помост сеней и увидел небольшую дверь. Открыл и очутился в низком и душном помещении с одним узким окошечком в толщину бревна. Пахло мышами, мукой, дегтем. В полутьме скупо поблескивала праздничная сбруя, затаив в блеске сдержанное до поры веселье. Обилие сундуков испугало меня. На неубранной постели, разметнувшейся у моих ног, как беспутная женщина, сидел Андрей.

— А, Яня, товарищ умственный,—Андрей поднял руку.— Приполз! Заходил я в сарай, будил чай пить и не добудился. Крепко ты спал.

— Я болен, Андрей. Свези меня к доктору.—Я не говорю Андрею о своем выздоровлении, я сумел пересилить болезнь.

— К доктору?

— Да.

— Придется обождать, парень. За пятнадцать верст от нас больница. Не накатаешься. Лошадь не погоню. Дорога несподручна, да к тому же после дождя расклеилась. И колеса ненадежные. До больницы не доедем — рассыпятся. Прилик один, а не колеса...

— Андрей, так нельзя. Ты не отказывай человеку, которого называешь товарищем. Это нечестно.

— Я всегда товарищем называл, Яня, товарищ ты мой умственный.

— Я тебя не смею называть товарищем.—Голос крепнет, выздоровление пришло во-время, кошмары не мучили меня, я познал жизнь.—Ты меня называешь товарищем и жалеешь свозить к доктору. Я понимаю. Сенокос, горячая пора. Всю зиму прожить можно за эти дни. Ты сволочной человек, Андрей, а не товарищ. Слышишь,—не товарищ. Я понял тебя.

— Тише, тише,—просит Андрей.

— Я понял тебя до точки. Я выздоровел. Я протрезвился. Мой приезд для меня не пройдет без следа—в полумраке гор-

ницы, под нитками сухих грибов на лавке, я замечаю мозаичные бруски мыла. Вспоминаю, как я обделил товарищей в завуче на заводе. Я лгал тогда каждому, выдавая по два кусочка мыла. Это Андрей научил поступить так; раздумывать было мне некогда.

— Помнишь, Андрюша, как по весне из комнаты у нас пропало мыло?

— Это ко мне не относится. Ты, Яничка, на меня не грешил.

— Ты говорил тогда, что мыло взяла жиличка.

— Кому ж оно больше в те поры и понадобилось, товарищ умственный?

Я подхожу к лавке и подымаю вверх брусок мыла.

— Райкомовское, из кусочков. Ты разворовал весь свой цех. Ты вор, ты вор,—задыхаясь кричу я.

— Тише, тише!—кричит Андрей.—Докажи теперь, что вещи ворованные.—Андрей заносит над моей головой кулак, похожий на киан.—Молчи, за хлеб-соль должен молчать.

— Докажу, что ты вор. В ящике под диваном еще много заводского имущества. Оно лучше меня докажет. Я верил в твои отговорки. Я слишком доверчиво улыбался тебе. Я выздоровел.

— Докажешь?

— Сочту своей прямой обязанностью,—обещаю я.— Только дай добраться до Москвы. Только не подумай, что из злобы доносить стану. Просто я обязан, я должен.

— Уходи, пока цел.

— Торопиться некуда. Завтра утречком уйду сам. Завтра, когда вспомню, мне будет стыдно, что ты меня называл товарищем. Даровым батраком был. Как ты ловко обманул меня. А как ты обманывал меня на пайке. Я голодал, ты у меня последнюю селедку перекладывал в свой мешок. Скажи мне теперь, кого ты в прошлом году затащил к себе в деревню работать?

— Завтра уйдешь?

— Непременно.

— Докажешь?

— Постараюсь.

— Гляди, тебе виднее. А в позапрошлом году работал у меня паренек твоих лет из модельной, так не нахвалился. А в прошлом лете кто, забыл.

— Теперь я вижу все. Завтра все это будет гораздо яснее, проще и понятнее. Виню себя, ругаю, зачем я не донес на тебя раньше. Ой, как промахнулся. О истине, о правде не ты ли мне говорил. Мое внимание было отведено твоими разговорами и поучениями. Я трезвым стал.

...Выхожу из душной горницы радостным.—Выздоровление. Конец моей восторженности и наивности. Пора, пора.—Забираю из сеней желтый фанерный чемоданчик и ухожу в сарай. Завтра встану до пастухов и пойду на станцию.

Я не закрываю за собой дверей, и добрая ночь вместе со звездами входит в сарай.

Щели сарая набухают солнечным светом. Я вижу зубцы палисадника, их холодные тени и розовеющие верхушки, вижу гребень крыши и флюгерного коня, вызолоченного солнцем.

Сшибая босыми ногами росу, выхожу на дорогу. Навстречу идут косцы в блеске кос и громе брусков и лопатошников.

— Ну, что, нагостился?—останавливает меня последний косец.—Небось позабыл меня. Помнишь, через прясло на усадьбе разговаривали?

— А! Вспомнил. Бегу.

— Не плоше прошлогоднего гостька.

— Точь-в-точь.

— Тогда счастливого пути. Ты прямиком старайся итти,—советут мне косец.—На семь верст ближе. Только помни в Москве мой рассказ.

— Не забуду.

Я иду по едва заметным тропинкам, я путаюсь в допоясных травах, перехожу, увязая по колено в бурой жиже, по болотам, я переплываю омута, держа над головой фанерный чемоданчик с пожитками, я догоняю редких в этих краях прохожих, расспрашиваю о дороге на станцию, и каждый прохожий объясняет мне дорогу и, конечно, по-своему. Только рано утром я попал на постоялый двор за вокзалом. У коновязи, среди десятков подвод, я заметил телегу Кумардиных, я запомнил ее по алым розам на задке. Но кто же мог приехать на ней: сейчас сенокос, горячая пора, Кумардины в поле, а мало ли одинаковых телег пустил гулять по деревням за свою жизнь тележник.

...В обед я поднимался по прохладным лестницам на пятый этаж дома коммуны. Дверь мне открыла соседка.

— Ну вот и второй жилец заявился,—женщина посторонилась, пропуская меня в коридор, в глубь полутемной прихожей.—Андрей вчера говорил, что ты должен заявиться.

— А разве Андрей здесь?—удивился я.

— Был, да весь вышел. Только-только уехал. На-пару с отцом были. Такие мешки поволокли.

...Опоздал, опоздал. Успел опять Андрей. Это меня дорога спутала. Все доказательства увез. Его подвода была на по-

стоялом. Посмотрим, как вернется Андрей на завод. А вернется ли?

«Нет, не вернется,—твердо решил я.—Ничего. Я где-нибудь с Андреем встречусь. Не на наш завод, так на другой, но поступит он работать. Мы встретимся»,—решил я, вспомнив, как, не оглядываясь на дом Кумардиных, я выходил на сонную дорогу.

— Мы встретимся,—оглядывая пустой ящик дивана, сказал я, будто знал, что в тридцатом году в деревню, где жили Кумардины, ляжет моя дорога вместе с рабочей бригадой от нашего завода.

ПУТИЛОВЦУ, МЕЧТАЮЩЕМУ ИГРАТЬ НА РОЯЛЕ

Сирена вибрирует. Сникла жара.
Проветривают цех.
В обед
Включаются рупора:
— Передаем концерт.
Вообрази—
Дирижер лобаст.
Плавен руки полет.
Прислушайся...
Гудит контрабас,
Виолончель поет.
Рояль.
Он рукам виртуоза послушен.
Бетховен. Басов прибой.
...Лирический тенор.
Скрипичный ключ и —
Моцарт. Весна. Любовь.
...Сумбурные скрипки.
Вступил флейтист.
Пауза. Барабанщик стих.
Ты шел в столовую, но мотив
Тебя по пути настиг.
И ты свернул и помчался в клуб,
Где скамьи подряд стоят,
Где в необъятном зале,
В углу
Нутро распахнул
Рояль.
Гулом наполненное нутро
Смутило тебя...
Не трусь...
Нажми педаль
И октаву тронь—
Семь молоточков
И струн.

...Ты бережно
Тонкие ноты берешь
Рукой,
Которой формуешь и плавишь.
(Рояль распахнул
Лакированный рот,
Обнажив, как в улыбке, клавиши.)
Вдруг ты заметил—
Твоя ладонь
Забита землей,
Грязна.
А клавиш промытых
И крупных ладов
Девственна белизна.
Неловкая пауза. Ты оробел
И, пальцы растерянно сжав,
Шепчешь:
— До чортиков я огрубел,
Прокурен я и шершав.
И для меня
Мировой рекорд
По выплавке чугуна—
Доступней,
Чем самый простой аккорд,
Чем азбучный нотный знак...
Я отвечаю:
— Вагранщик седой
В букварь,
Без стыда,
Опускает глаза.
Начни понемножечку
С ноты «до».
Как он начинает с «а».
Начни.
И друзьям, над формовкой потеющим,
Товарищам по работе,
Ты скоро сыграешь,
Такой же литейщик,
Любимые их мелодии.
Мы оба, дыхание затая,
Мечтая стоим.
Рупора балагурят.
И ухмыляется черный рояль
Белозубою клавиатурой.

ВСТРЕЧНОЕ

Я еду по реке.

Я еще пастухом любил журчание ручья и в детстве подолгу просиживал со свирелью на его берегах, с жадностью прислушиваясь к невнятным его речениям. (Говорлив ручеек, говорлив неумолчно—день и ночь.)

Но по ущельям с гор часто налетали гроза и потоки вод: ручейки вырастали в ручьи, ручьи в реки, а журчания переходили в рокот волн и глубокий гул—гулы гор.

Я созывал рожком стадо в долины, стараясь перетрубить рокотанье неба и земли. Я голосом пастушечьего рожка угрожал грозе. (Гроза в горах коротка, как висячий мост над ущельем.) Гроза проваливалась в пропасть, и речки, оседлав камни, деревья, скалы, мчались в папахе пены вниз, на село...

Я еду сейчас по Волге—всесоюзной реке.

Волга самый долгий и самый широкий водный путь союзной страны. Волга—мост сорокапятимиллионного населения двадцати трех разных народностей, примыкающих к ней—всесоюзной мать-реке. Мост через весь Союз: от севера к югу и с востока на запад. Из края в край через области, республики и районы, через леса и боры, ущелья, горы и степь. От моря к морю—сквозь города, поселки и колхозные поля.

Я перехожу сейчас этот величайший мост-реку, мост, воздвигаемый всеми народами Союза для мира, союза и борьбы.

Я иду первым на этом пути—один из миллионов строителей—писатель-большевик, с мандатом от своего народа.

Еду по заданиям редакций, как писатель, премированный за лучшие производственные письма к девушке моих горных краев.

Но мне задан редакциями путь в степи, а я знаю с детства одни только высоты и бездны гор...

Горы меня научили смотреть в высь: высь полна солнца, грозы и звезд. В горах я спокоен, как абрек. Здесь провалы и бездны учат жить без страха. (И в то же время здесь даже гора на вздох человека откликается как человек.)

А степь для меня—пока неведомая, бесптичья равнина, с зияющим светом солнца и луны. Она мне кажется непроходимым бездорожьем в лесу...

У меня же есть цель в жизни: я иду.

Все пути ведут к человеку, а в степи не видно дорог. Это страшно.

Пароход «Пролетарий» идет в отмелях: это мели заволжских степей.

Мы рассекаем путь вверх по реке.

По берегам ползут мели, как слепые верблюды, и караванят за нами от самого Каспия-моря, вздымаясь желтосерым ветром. Лежит река меж пересохших губ степи и медленно облизывает сыпучую шерсть берегов. Над рекой знойной мутью разверзлось солнце, и вода, как во вдовьем подоле, несет сморщенные семена солнечных лучей...

Говорят, Волга полна радости солнечных и лунных родов, когда на ней вскрывается лед и могучая льдиная песнь проносится из края в край...

Но я еду в зной.

Я еду вверх от засушливых степей Каспия-моря в великий порт союзных рек—в Москву.

Засуха часто бывает в горах, отчего много страдают в нашем крае и кукуруза, и хлопок, и человек. (Ведь засушливый зной может длиться у нас от зари до зари дважды двадцать дней и дважды двадцать ночей.)

Земля растрескивается, как старая кора, а из трещин сухим песьим языком высовывается зной земли. С деревьев падают птицы, с крыльями, увядшими как листья. С гор по полю и с поля в горы, по выцветшим мшистым глыбам скал, горячим сухим камням и желтым пористым утесам, кишащим ящерицами, ползут голодные стенания крестьян:

— Засуха! Засуха!

— Господи, дождя!

— Грянь, гроза молебная, радостью земли!

— Подымись, ручей! Спуститесь, тучи, с гор!

— Господи, обводни твой бедный край!!

Но реки высохли уже совсем, и русла, как сморщенные стебли, лежат на земле...

Дует знойный ветер к Черному морю и сгоняет тучи к чорту на рога.

Дует ветер-зной в котловинах гор и шершавит землю зелень, урожай.

Солнце встает в небе, как перст проклятия, и звезды висят в ночи, как обглоданные взглядом безводной земли (слово «бедный» и до сих пор звучит у нас как «безводный»).

Я еду по реке, которая должна подняться, набухнуть и

разделиться по арыкам засушливых мест. Подняться человеческой рукой—на два десятка метров вверх. Набухнуть от нашего напора. И разлиться туда, куда ей прикажем мы, по умно-налаженным влагоносным арыкам.

— Нужно, чтобы ни один кубометр живой воды, ни один градус тепла, ни тонны носимых ею питательных веществ—не уходили бесполезно в соленые пучины Каспия-моря,—говорит товарищ Арсивар.

А Арсивар—самый большой недруг засух и суховеев. Он—самый близкий друг ручьев и рек. Он—великий рековед и бригадир ударной бригады по борьбе со стихией... Он—глаз воды.

Я еду к нему в Москву—город-порт.

Со мной вместе на пароходе, в каюте номер пять, едет безбожкор, член СВБ—товарищ Вдовин.

У меня с ним на пароходе есть еще один общий друг—кочегар «Пролетария»—Прохорыч.

Мы все втроем часто засиживаемся у парового котла, под вентиляционной трубой, подающей в машинное свежий волжский воздух, и долго-долго беседуем обо всем.

У Прохорыча умные руки, влажные от мазута по локоть, и сдержанная неохотливая речь. Он горд. У него машиной полон слух и гулом колес перехвачены спина и плечи. Он сидит, обычно, против пылающего отверстия котла, и когда он слушает Вдовина, в глазах у него пламень, как петух, устраивается на ночлег.

У Вдовина светлые, соломенные волосы, чолкой спускающиеся на лоб. Он носит пенсне. Под четырехугольными стеклами—удивительно кроткие, близорукие глаза. На груди—кизилового цвета галстук. Левая рука, вооруженная брошюрами СВБ и газетами, прижимает их как ранец к ребрам, а правая—словно копьем целится во врагов кончиком стальной самопишуньи. Безбожник спешит «низвергнуть личность бога» и, многодумно приглаживая правой, копьеносной рукой свою чолку,—раскаленными бликами пенсне бодает Прохорыча.

Свежий воздух из вентиляционной трубы часто вмешивается в наш разговор и охлаждает пыл воинствующего Вдовина.

Сверху, из капитанской рубки раздается резкий сигнальный звонок. Механик, сидящий за нами у контрольной лампочки, хватает паклю и, раскинув свою огромную тень по цилиндру, быстро берется за сияющий рычаг.

— Средний!—харкает сверху рупор.

— Есть, средний,—бросает механик в трубку.

— Ты знаешь, где обитает бог?—улучает Вдовин момент.

Прохорыч встает, отдергивает железную скобку форсунки. Из отверстия ослепительно хлещет огонь и алая синь словно выжигает глаза.

Механик уставился в стрелку. Стрелка падает на «готовьсь». Слышится приглушенный приказ:

— Вперед, полный!

— Есть, вперед полный,—громко повторяет механик, отдавая рычаг.

Прохорыч щупает ручки пораспределителей и затем тщательно чешет ладони паклей.

Колеса, как физкультурники, вцепляются в воздух.

— Идем, Вдовин, наверх,—говорю я безбожнику.—Видишь, каким волшебным огнем руководит наш кочегар? Он человек занятой... Впереди огромный путь. Кругом степь, небо, вода и ветер, а у нас пароход, машина, люк, каюты и палуба. В цилиндрах пар, тут вентиляция, а в капитанской рубке—рулевой с планом пути... Где же тут бог?

Наверху, в соседней с нами каюте номер шесть, едет незнакомая нам девушка.

Первым ее заметил я—в салоне за завтраком. Она села на наш пароход в Саратове. Было еще раннее утро. Она вышла из соседней каюты, села за стол и, засучив неимоверно широкие рукава куртки, громко потребовала завтрак.

Я оглядывал неправильные загорелые черты ее скуластого лица и маленькие смуглые пальцы с черной каймой земли в ногтях и встал. Девушка ткнула в рот огромный ломоть хлеба и взглянула на меня исподлобья; глаза светились фосфором и любопытством, а широкий рот спокойно дожевывал кусок...

Вот тут-то и начинается мое первое отступление. (Отступления—в характере моего производства.) Я отступаю вглубь, чтобы лучше видеть ее вдалеке.

Примите, товарищи, все сказанное мною предречием к моему путешествию по реке.

Я обращаюсь к вам: ко всем редакциям городов, комсомольским бригадам молодежи засушливых районов страны и ко всем ударникам—строителям рек (в частности к товарищу Арсивару)—помогите мне отыскать эту девушку. Укажите мне, где она сейчас.

Ведь я не выдумал ее. (Это не литературный образ мой.) Она села на наш пароход «Пролетарий» (я могу даже назвать день и час—когда) и принесла с собой степной загар и кайму земли в ногтях. Она села на пароход с самой настоящей сусликой в клетке и потребовала внимания к себе.

Вдовин сразу сделал о ней свое заключение, но думаю, что редакции дадут в том ему соответствующий отпор.

Я лично поначалу не делал никаких заключений (я делал вид, что не замечаю ее). Но я не хочу ошибиться теперь, и с живой своей героиней хочу наладить здесь настоящие деловые отношения.

Товарищи! Никто из вас не встречал ее? Нигде?

Мы с безбожником часто бываем на нижней палубе: это та часть парохода, которая помещается над машинным отделением между багажным трюмом и ленуголком.

Здесь день и ночь повсюду дымится говор паровой машины, снизу, из щелей сочится шипение цилиндров, кругом—однозвучный долбеж, и все трясется, как в испуге. Здесь в палубу упирается лбом котел и вздутыми жилами цилиндров сотрясает весь корпус парохода. За корпусом бьется подбитым крылом пеликана об воду колесо, и за ним все бьется и трепещет... Все в лихорадке: и пол, и стены, и палуба, усеянная всякой шелухой, и полки с железными скрепами, и сухие разинутые рты спящих, и подвешенный на крючках скарб пассажиров, и белые пятна электрических ламп, и подслеповатые тени вокруг них.

Мы с безбожником проходим мимо стенгазеты—«Пролетарий» № 2.

Из-за стены газету дятловым клювом долбит колесо парохода. Под газетой багаж: пахнет яблоками. А рядом с багажом, в выемке между кухней и каютой старшего боцмана—редактора стенгазеты—за перегородкой стоит лошадь. Повернув круто голову, она настойчиво, долго смотрит куда-то вниз.

Посреди трюма, на пластах листового железа, тюках и покрытых брезентом хлебных мешках лежат человек сорок мужчин и женщин. Это пассажиры ненумерованных мест. Свернувшись клубком, они спят.

Ближе ко мне, подогнув ноги под себя, спит женщина. В подоле у нее ребенок с большой головой и красным оголенным задом. Одна грудь матери высунулась наружу, но ребенок, отвернув голову от нее, пристально смотрит в глаза лошади.

Вдруг за грудой спящих под электрической лампой поднимается фигура с огромной тенью и, осторожно переступая через спящих, медленно направляется к трюму.

Вдовин останавливается как вкопанный и поправляет пенсне.

Перед нами женщина в широкоплечей мужской куртке, охватившая обеими руками прижатую к животу большую деревянную клетку.

Я заглядываю сквозь самодельную проволочную решетку: в клетке сидит суслик. Круглые заячьи глаза беспомощно замигали на тупом изгибе лба. Узкая сплюснутая голова мягко осела в блестящую бархатную шерсть и торопливо ткнулась мордой между коротеньких остролапчатых ног. Поцарапав деревянное дно клетки, суслик сжался в комок. Затем скосил морду и испытующе взглянул на меня.

— Куда везете?—спросил хозяйку.

— В московский Зоомузей,—ответил голос, и в меня из-за клетки брызнул знакомый фосфористый свет больших серых глаз.

— А где же вы его поймали?

— В степи. В Бузулуке. Подстерегла у обочины—в норе. Теперь вырос, а был совсем маленький сусленыш. Два месяца, как ношу с собой.

— Для музея?—безбожник шагнул к ней с записной книжкой наготове.

— Если удастся прокормить самой, не отдам музею. Очень уж привыкла к нему. Умник. Люблю. И слушается только меня.

— Суслик!—тихо позвала она его.

Суслик вздул бархатный живот, мелко шевельнул в воздухе влажными усиками, пискнул со свистом и снова свернулся в углу.

— Есть хочет!—сказала улыбнувшись девушка и быстрыми шагами направилась в багажный трюм.

Эта маленькая упругая девушка легко несла одной рукой неуклюжую самодельную клетку с жирным лоснящимся сусликом.

Голые икры исцарапанных до крови ног пронесли теплый загар.

Я окликнул Вдовина, но его близкорукие глаза застряли в просвете багажного трюма, и, обернувшись на мой окрик, он наткнулся на спящих. Запутался в своей же шинели и, боясь снова споткнуться, на четвереньках перелез ко мне по головам.

Ребенок заплакал во все горло и с неистовством стал бить кулачками в грудь матери.

Женщина сонно вскинула головой и, не открывая глаз, повела машинально рукой кончик груди вокруг носа ребенка. Ребенок ухватился ручонками за грудь, загмыкал торопливо, зачмокал языком и замолчал.

Безбожник многозначительно поднял левую руку кверху и, подцепив пенсне за оловянные его коготки, приподнял их на уровень чолки, стараясь разглядеть девушку исподлобья.

— На пароходе всякого встретишь,—буркнул он, дыхнув на стекла пенсне.

С кормы подул свежий ветерок, и зеленоватый отсвет реки рыбьей чешуей ослепил багажный трюм, портреты и лозунги в ленуголке, трап и лица пассажиров. В углу пассажиры слушали парня в рабочей размахайке. Он стоял, прислонившись к дверям ячейки, напротив уголка, и медленно водил головой по жирным столбцам «Комсомольской Правды». Читая, он спотыкался на каждой строчке и тут же поправлял в руках газету. Ветер все время трепал и пригибал к пояску рабочей размахайки парня нижний оттопыренный край статьи с карикатурой. По обеим сторонам развернутой во все крылья газеты, кто стоя на одной ноге, прислонившись спиной к багажным ящикам, кто сидя на корточках, как на свернутой подкове,—разместились калмыки в узкогрудых женских камзолах и несколько казаков в дорожных халатах и куртках. Это были рабочие с промыслов Эмбанефти, ехавшие в Горький на Автозавод—завести оттуда на безводные промысла—в Доссор—четыре десятка автомобилей для перевозки по пустыне воды и технических работников.

«Рас-тет только ссухая, ред-кая полынь и солянка,—читал, запинаясь, парень.—Цвет зем-ли корич-невый. Местами гл... глина покрыта тсс... тстру... струпьями, покрыта струпьями серых, грязных солон-чаков. В... в глине свистят суслики, источник чу-мы»... Ох ты!—парень взмахнул правой рукой и еще ниже пригнулся головой к полосе статьи.

«...чумы. Отвратительный, толсто... толстозадый». Их, ты! Вот-те! Чумозадый, а?

Рабочие пассажиры непонимающе посмотрели на газету и запоздало улыбнулись.

— Во чумная гада. Она и есть,—сказал парень, поглядывая с ненавистью и сомнением то на смеющихся, то на столбец газеты.

Стоящий рядом калмык сочувственно сунул короткий ус всеми пятью пальцами в рот, пожевал и затем разгладил влажные усы, как верблюжий хвост.

Парень остановился, взглянул на конец столбца и передохнул. Один из сидящих напротив киргизов приподнялся на корточках и, дотянувшись рукой до загнутого края газеты, медленно оторвал короткими коринневыми пальцами кусочек трепыхающегося на ветру края бумаги для своей цыгарки и лениво откинулся опять спиной к стене. Все проследили глазами за его рукой и тоже потянулись за табаком в карманы и за пазуху.

— Сор, Доссор... Сор... Усе воды нужно!—калмык, сидевший на корточках в отдалении от всех, привстал и пошел с протянутой рукой к парню.

Парень приподнял газету и быстро сложил ее пополам, еще пополам, посмотрев по сторонам, сунул ее за пазуху широкой размахайки. Пошарил там же рукой и достал оттуда другую, искусанную со всех краев, маленькую газетку «Воинствующий безбожник».

Все потянулись к нему.

— Волга—рыба, а Эмба—нафт. Эмба-Доссор—нафт... большой вышка, много миллион нафт,—сказал один из рабочих, запахивая полы камзола.

— Вода, усе воды. Миллион вышка дождю... На афтономобиль идет вода и как дождь—Волга... —вскричал кто-то в просвете багажного коридора, сердясь, словно сплевывая усы.

Парень слушал с широко раскрытыми темно-карими глазами, словно желая разгрызть жесткую скорлупу непонятных слов, и недовольно переминался с ноги на ногу.

В трюме проскрипели торопливые шаги: ступая по ногам людей, расположившихся в коридоре ленуголка, вытянув руку вперед, как штык, шел младший помощник капитана. В руке он нес ключи. На обшлагах белого кителя у него блестели две узких золоченых нашивки. Он быстро подошел к дверям ячейки, ткнул кончиком ключа в дверь, нащупал отверстие и толкнул дверь плечом.

Из каюты вырвался электрический свет, обхватил его за плечи и потянул за сияющую грудь белого кителя к себе в каюту.

— Меня чичас кончил смена и зовет все... собирался здесь.— Он медленно переступил вместе со светом порог каюты и снял фуражку.

Вслед за ним, теснясь в дверях, вошли рабочие Эмбанефти.

Парень поправил размахайку, стянул пояс и подошел к дверям. С парохода донесся продолжительный гудок. Парень остановился в нерешительности, стянул туже размахайку и быстро свернул в багажный коридор трюма.

Земляки помощника капитана—рабочие Эмбанефти торопливо расположились в ячейке на койках и на табуретках для беседы, с гордой деловитостью подбирая полы камзолов.

Мы с Вдовиным вошли в ячейку и разложили материал для стенгазеты перед помощником капитана. Он посмотрел на бумаги, сгреб их ладонями в одну кучу и, отодвинув к другому краю стола, положил поверх их ключ от каюты.

— Мы передейт редактор. Он чичас меня смена,—сказал он и посмотрел в сторону земляков.

В ячейке стоял гвалт: рабочие мировых залежей нефти говорили о простой пресной воде. Со всех сторон шел разговор о строительном материале, о бурении в солончаках, о живых спецах нефти и снова о воде—о живом протоке влаги. Выкрикивали о цистернах на автомобиле, о бочках с водой и верблюжьих бурдюках (верблюды—водовозы там, в Доссоре, медлительны, как засоленная жижа рек Эмбы и Сагиза).

Когда мы вышли из ячейки, парень с газетой стоял у входа в машинное и настороженно прислушивался к гудению машин.

Я сидел у себя в каюте и писал. Из соседнего окна вырывался вибрирующий, металлический голос. Бодрый мотив незнакомой песни и сдержанный грудной голос заинтересовали меня.

Я вышел на палубу и осторожно заглянул в окно. Это была та самая стриженая девушка с сусликом.

Она сидела на красной плюшевой койке, небрежно подогнув колени, и, прислонив голову к стене, пела с закрытыми глазами. Голос был простуженный, временами прорывался хрип.

Я подошел вплотную к окну и невольно заслонил ей свет.

Девушка взмахнула всклокоченной головой и, с удивлением взглянув на меня, быстрой рукой прикрыла колени краем платья.

— Я прищел вас послушать. Мне понравился ваш голос...— поспешил я оправдаться.

Она посмотрела на меня исподлобья, потом мотнула головой, пробормотав:—Я не умею петь одна. Это хорошая песня,— поправила у изголовья подушку и встала.

— Вы пели хорошо,—сказал я.

— Это так. Должно быть от скуки...—протянула она нехотя и, задорно засучив рукава на загорелых мускулистых руках, стала вдруг проделывать физкультурные упражнения.

Я решил молча отойти.

Но она вскинула руки и, прильнув к окну, спросила:

— Вы, кажется, мой сосед? Не дадите ли мне газету или журнал какой-нибудь? По ним я на самом деле соскучилась.

— Пожалуйста. А вы откуда едете с этой скукой?—спросил я в свою очередь.

— Из степи... Бузулук. Слыхали? Есть такое за Самарой. Степь. А скуку везу не оттуда: я вчера ночью только села на этот пароход. Так можно газету?

Я кивнул головой и прошел к себе. Вдовина уже не было в каюте. Я разобрал кипу газет и журналов и вышел в рубку.

Из шумного салона выбежало двое ребят, за ними третий, потом еще две девочки и с криками погнались вдоль кают за убегавшими.

Я вошел в салон.

В углу, у пианино, сидел человек. Он спал: он спал под белесым светом единственной электрической лампочки, оставшейся гореть весь день в салоне над старым пианино.

«Двинуть реку в нужную сторону—значит разгадать ее настоящий путь»...—прерывистым голосом возвещал громкоговоритель из другого угла салона.

В этом углу с проводами громкоговорителя хлопотал Вдовин. Когда радио заговорило полным голосом, Вдовин поднял голову, снял пенсне и прислушался. Уши у него приподнялись, как на цыпочках.

«На Поволжье гуляют ветры среднеазиатских пустынь»,—начал было громкоговоритель, но вместо слов в нем снова поднялся какой-то переполох, пошла перебранка ветра с полем... Затем с шумом полил дождь. Дождь перешел в ливень, и в салоне разлились дождливые лужи голосов.

Вдовин снова забегал вокруг радио, и вдруг из громкоговорителя посыпались слова, будто из пересохшего горла:

«Ветер выдувает из колосьев последнюю влагу, и колос стоит в засухе окостеневший, зажав между опаленными усиками крохотные зерна.. На миллион гектаров ржаных и пшеничных посевов...»

Голос лопнул на полуслове.

Человек быстро поднял всклокоченную пьяную голову с локтя, упершегося в клавиши.

В дверях салона пронзительно скомандовал старший из мальчиков, и дети побежали к старому пианино—брать приступом пьяноголового дядю. Дядя попробовал было встать с места, но из громкоговорителя на него с новой силой обрушились голоса, и он тут же присел.

«Нужно знать всем, где корень зла»,—сказал громкоговоритель.

— Вот именно. Корень,—повторил вслед пьяный грузный человек у пианино.

«Тридцать семь раз выметал голод в восемнадцатом веке из крестьянских клетей последнее зерно. Сорок лет бродило население обширнейших областей в поисках лебеды, глины, корья—это в девятнадцатом веке...»

— Правильно!—подтвердил дядя с места, и дети присмирели в ожидании продолжения диалога человека и радио.

Широкое окно салона медленно обступили сумерки.

Голос продолжал:

«За двадцать один год двадцатого столетия, нашего века, семь раз потрясал страну неурожай.. Удар первым принимало и принимает на наших глазах Поволжье...

— Я... я принял удар,—и человек стукнул себя кулаком в грудь.

Дети тихо прыснули в кулаки и, прикрыв рот галстуками, стали позади стола и кресел.

«...с ним и его черноземы, идущие клином на юго-восток, под боком у солончаков, переходящих в горячие пески Средней Азии... Сейчас настало время закрыть ворота огнедышащей пустыне и открыть ворота Волге...».

— Не закрыть! Это стихия! Стихии нельзя закрыть ворота!— человек привскочил с места, вперив разбегающиеся глаза в темный угол салона.

Дети с гоготом сбились в кучку на середине салона и гурьбой выбежали за дверь.

Пьяный посмотрел под ноги, обвел глазами вокруг себя и, гмыкнув, медленно переступил к окну.

Кто-то шушукнул вслед:

— Это же периодичность... Периодичность природных сил...

Чей-то голос прогремел в ответ жестянкой:

— Чушь! Волга—житница наша. Она была и она останется житницей и без ваших технических ворот.

Где-то в кресле откашлялся новый голос и баском договорил:

— По свидетельству Плиния, Селевкт Никотор тоже вздумал соединить Черное и Каспийское моря—через реки Рион и Куру. Не вышло! Природа все равно сама найдет всегда и везде свое русло... Так и при Никоторе: поднялся хребет гор—Кавказ, и пески сползли к Поволжью...

— А при султане Селиме втором. Разве не то же? Разве не то же!—заскрипел с крысиной торопливостью притаившийся где-то голос.

— Да. Почти то же!—с научной сдержанностью ответил басистый.—А это было почти в семнадцатом веке или даже в восемнадцатом—с техникой!.. Плывуны и песчаные наносы засосали тогда огромное войско султана, пробиравшегося из Азовского моря на Дон и через канал на Волгу для борьбы с Иваном Грозным,покорившим казанских и заастраханских татар... Да, не вышло!—с грустью в голосе закончил он.

Голоса, шушукая и скрипя, заторопились по всем углам салона и пошли говорить друг другу наперебой.

— Между притоком Дона—Иловлей и притоком Волги—Камышинкой до сих пор еще хранит земля наша султаний шрам...

— А Петр ведь тоже пробовал бороться с пустыней...

— Пробовал, батенька, пробовал! Он же и проводил канал на версту ниже канала султана Селима...

— Ну и что же?

— И ничего! Ему нужна была только турецкая крепость Азов, запиравшая нам выход из Дона в Азовское море...

— Ха-ха! Значит не вышло тоже!

— На Дону—в развалинах старых шлюзов и сейчас находят черепа людей, ввинченных Петром в канал.

— О, бедные, бедные люди!.. Несчастный русский народ.

— Да, все засыпано песками... И самая память о нашей доброй Руси засыпана песком...

«Пустыня отступит на наших глазах!—рявкнул вдруг голос из громкоговорителя, и все вмиг притуманилось глубокой тишиной.—Мы пошлем в бой самое воду. Во главе будет стоять вся армия техники и труда, и мы положим конец лихолетиям палящей пустыни... Мы пойдем все: все народы—и малый и большой, и стар и млад... Мы подымем реки... Мы повернем их вспять».

— Вспять? Как это—вспять?—снова зашуршали по углам голоса.

— Ужели всю Волгу?

— Это неслыханно!!

— Весь мир хотят перемутить,—вставил знакомый голос пьяного, стоящего тенью у окна.

— Есть в народе такая поговорка. Слыхали? Когда река повернет обратно, то в небе померкнут звезды...

— А говорят, в Америке это делается совсем безболезненно,—вставил чей-то осторожный голос.

Все кругом зашикали на него. Осторожный голос так же осторожно поправился:

— Нет, я хотел сказать, что там это делается днем, когда не видно звезд...

— А вы забыли русскую душу?—пьяный человек, потрясая кулаками, пошел на середину салона.

— А где она у тебя, где? В кулаке!—заголосили на него со всех сторон.

Пьяный опустил руки.

— Да, я почти тридцать лет вскармливал всю Россию моим хлебом... Тридцать, а может быть и сорок, и пятьдесят..—повысил он голос на обступивших его.—Волга полна была моими хлебными баржами... Я король...

— А-а-а, король, король!

— Ты, значит, хлебный король?

— Ты есть знаменитый купец?

— Вот почему он кулаками-то махал...

— Ну-да, кулак!.. Знаменитый кулак!

— Сколько знаменитых людей родила матушка-Волга нашей России...—пробасил голос и сразу умолк.

«Река не одна!—снова взгремел голос из радио.—В Волге тысяча рек, воды тысячи притоков и озер... Мы объединим с ней еще и тысячу других... Мы перевяжем их всех бичевой каналов и двинем вперед. Кто устоит перед такой Волгой? Никто! Ни засуха, ни мга, ни аравийские пески. Волга будет не Волга—не турецкая Иджиль, а первая всесоюзная река... Кто с нами в этом деле, тот за природу, а природа будет за нас. А кто против нас, тот и против себя и всей природы с нами! Все моря и океаны, все реки и озера подымают голос за нас».

С палубы донесся дружный хор детских голосов:

Эй, вставай пораньше.
Слышишь? Барабанщик
Бьет по звонкой шкурке...
Дружно в ногу!
Марш в дорогу...

Король съежился словно от холода.

В салон вошла девушка и дважды повернула выключатель.

— Вы здесь одни?—спросила она, щурясь на свет.

— Нет,—я привскочил с кресла и быстрым взглядом оглядел салон. В окне синяком проступал вечер. На клавишах пианино, положив голову на руки, попрежнему спал взлохмаченный пьяный человек. В другом углу, под громкоговорителем спал в кресле Вдовин.

— Эти газеты для меня?—спросила девушка, завидя у меня в руках кипу журналов и газет.—А я подумала, что вы забыли...

— Тише! Не будите Вдовина! Он нам расскажет потом свои безбожные сны...

— Разве он из союза безбожников?—спросил она.

— Воинствующих! Разве незаметно?—незлобиво съехидничал я.

— А кто еще тут спит?—удивленно спросила девушка, указав головой на пьяного.

— Это король... хлебный! Вся Волга была полна, оказывается, его хлебными баржами.

— А чем он теперь живет?—спросила она, пытливо ощупывая взглядом неуклюже свернувшуюся на стуле фигуру и пьяное одутловатое лицо.

— Должно быть, воспоминаниями и еще корками нашего хлеба...

— Но он же пьян. Смотрите!—девушка попятилась к дверям.

— В корках есть хмель...—ответил я.

Она потушила электричество, и мы вышли в рубку.

В каюте у девушки вещи были разбросаны по всем углам: в одном—пыльный продырявленный чемодан, в другом—корзина с засушенными экспонатами трав и листьев, у изголовья—бумажные свертки, подушка, маленькая гитара и рваная коричневая куртка-тулуп. Маленький столик под окном был сплошь усеян окурками и черными косточками арбуза.

— Вы кто по национальности?—спросила девушка, как только мы вошли в каюту.

— Я писатель,—коротко ответил я ей и сел на указанное место рядом.

— Вы пишете о чем?—попыталась она углубить нашу беседу.

— Пишу о земле, о звездах, о засухе...

— О засухе?—живо переспросила она.

— Да, о засухе тоже.

— А где же это происходит—на нашей земле?

— Разумеется, на нашей земле,—смеясь ответил я.

— В каких же краях?

— Я вам могу прочесть... Она у меня с собой.— Я полез во внутренний карман пиджака.

— С собой? Вы носите засуху в кармане?—насмешливо заулыбалась она.

— Нет, вообще-то я ношу ее в голове...—сказал я тоже улыбаясь.

— Это еще глубже... А как же вы боретесь с нею?—уже серьезным тоном обратилась она ко мне и с любопытством подобрала на койку ноги, готовясь выслушать, видимо, очень интересующий ее ответ.

— Я бьюсь пером...—сказал я с многозначительным видом.

— Покажите—как....—попросила девушка, с наивным интересом заглядывая мне в руки, полные листочков с черновыми записями о засухе.—Я ведь тоже борюсь на фронте засухи...

Я разложил у ее колен на койке рукопись и с воодушевлением прочел мое предисловие о засухе—предречье к моему путешествию по Волге. (Смотрите, товарищи, начало этой поэмы—до встречи с ней.)

Она слушала, затаив дыхание.

— У вас перо с таким же акцентом, как и ваш разговор-

ный язык,—сказала она, когда я кончил читать.—Это хорошо!—спокойно добавила она.

— Но перо боевое или нет?—я приподнялся на койке, с уверенностью складывая в карман листки.

— Боевое, да не деловое!—без запинки отчеканила девушка и встряхнула стриженной головой.

За окном, по реке лениво подвигались баржи с подслеповатыми огнями.

С парохода в воду капнули три коротких гудка, и маленький буксир, дважды вытолкнув вздох, быстро засеменил колесами в сторону от нас.

Я молчал.

— Если вас интересует,—сказала она, не поворачивая ко мне головы,—то я вам покажу—встречным планом—«поле моей деятельности»... степи.

— Мне это не только интересно...—быстро согласился я.

Она наклонилась, вытянула из-под подушки огромный, напичканный всякими мелкими вещами портфель и извлекла оттуда толстый альбом, тоже весь вздутый от вложенных туда записок и снимков.

Она отложила газеты с койки на стол и бережно раскрыла в подоле альбом.

Снимков было много.

Она быстро разложила их, как бы классифицируя по определенному плану, и начала показывать и объяснять каждый снимок в отдельности.

— Вот и сам Бузулук. Это холмистая хлебородная степь. Вот смотрите—поле: с виду безвредная, спокойная почва. А вот поглядите ближе! Видите темные бугристые пятна? Это все норы, хитро замотанные травой... В них живут злостные вредители наших полей—суслики, против которых я и выступала со своим отрядом в этой степи,—смешливо растянула она последние слова о себе.

Я смущенно оглядел девушку: все это не вязалось как-то с моими первыми мыслями о ней и о степи. Она почувствовала мой взгляд, но не оглянулась.

— А вот и отряд! Это мой отряд,—попрежнему продолжала глава степного отряда.

— Вы глава отряда?—перебил я ее.

— А вот и сама—на лошади.

Я пристальнее всмотрелся в снимок: на лошади сидел парень.

— Это я, но только в мужском,—поспешила она мне на помощь.—Меня все там знали в этом костюме... Я только здесь,

на пароходе переоделась в это женское платье.—Она окинула себя недоверчивым взглядом.— Мне даже немного неловко в нем.—Она взяла торопливой рукой со стола папиросу, зажгла спичку и, закурив, медленным и сосредоточенным взором уставилась на огонь. На секунду пламя поднялось, лицо ее обежала какая-то непроницаемая мысль, и вдруг, как бы спохватившись, девушка улыбнулась мне во весь рот. По загорелому лбу и скулам забегали светлые пучки теней, упавших от волос.

Она наклонилась, быстро полистала альбом и вытащила новый снимок.

— А вот это—те самые суслики, которым и объявлена война во всесоюзном масштабе.

Она подняла снимок выше.

— Это очень прожорливые зверьки... А сколько они губят хлеба, скусывая молодые стебли зерна! Прямо миллионы миллионов... Ну, да.

Она машинально поправила у колен край платья.

— Нет, хотите точно? Совсем точно...

Она выпрямилась, и серые глаза ее сделались сердитыми.

— На десятину при средней плотности тридцати двух жилых нор суслики ежегодно пожирают двадцать—тридцать кило трав и зерен. А у нас, ведь, больше, чем шесть миллионов десятин площади, зараженной сусликами, не говоря уже о других сельскохозяйственных вредителях. Одни только ульяновские колхозы не добирают от них урожая до миллиона двухсот тысяч пудов в год. И это все помимо засухи... А в засушливые годы... Я хорошо помню, как мы ели толченую лошадью мякину, корье дуба и котунь, перетолченную толкачом. Ели кислый щавель... Хотя нам с братцем иногда перепадало даже молочко... У отца вспух живот от мякины или толченых корьев. Он приносил откуда-то кожу, резал ее, вроде как ремни, и мы все ее жевали с утра до ночи. Отец жив еще. Он сейчас даже член правления палимовского колхоза «Свободный труд», но живот так и остался у него с тех пор вздутым, вроде сусличьего. Я тоже жевала, но младшего братишку рвало. Он так и не выдержал до конца. Нас тогда спасли суслики: все охотились за ними... А знаете—вкусно было! У них вкусное мясо... А их развелось—прямо тьма! Так и догрызли последние жалкие колосья хлеба в поле... Охотились водой; зальют мужики норку водой и вытаскивают оттуда, как вздутый бурдюк, мокрых задохнувшихся сусликов. Они легко выпивают иногда целое ведро воды! Привыкли, гады, в норке хлюпать, когда их заливают дождевые стоки... Ели, но ведь они разводят чуму.

Девушка вдруг осеклась и замолчала.

«Их, ты, чумозадый»—вспомнилось мне восклицание парня в размахайке.

— Какой он нежный и бархатный с виду и какой он, оказывается, вредитель!—сказал я, вглядываясь в снимок.

Их было двое на снимке: должно быть самка с сусленышем.

— Хуже всяких шахтинских!—воскликнула она и снова оживленно улыбнулась.

Мне захотелось спросить про клетку с сусликом и про странную привязанность девушки к вредителю, но она опередила мою мысль.

— Вы же видели его живым, в клетке, у меня! Я сама собственными руками затравила таких в поле за это лето сотни тысяч,—она взглянула, блестя глазами, на меня и быстро поправилась:—Может быть не сотни, а десятки тысяч, но мы ведь это все для экспериментов. Их, ведь, миллионы, гадов. Идешь, идешь и вдруг перед глазами медленно, словно волосы на голове, поднимается над землей трава... Так и хочется вдавить ступней землю... Тебе не приходилось, наверное, бороться с ними в ваших краях... В первое время мне было даже страшно, но потом привыкла: установишь палочкой метку для травки, и как будто самой становится легче.

— Разве травка—это единственный способ для их уничтожения?—спросил я.

— Нет. Мы должны применять все способы... Это был один из способов, который применяли мы в нашей экспедиции... Вот посмотрите, это—вся наша экспедиция. Отравительная экспедиция со своим главнокомандующим. Она достала снимок с группой ребят в рабочем сборе. Среди них в том же мужском платье, сурово подобрав в руках поводья лошади, нагруженной отравительным аппаратом и какими-то еще приспособлениями,—стояла она.

— Это я,—с иронической гордостью она ткнула пальцем себя в грудь и, откинувшись назад, подняла снимок к свету.

— Около меня стоят ребята—человек сорок восемь... Все это—девушки и парни, завербованные в экспедицию из окрестных колхозов. Некоторым десять-двенадцать лет, а большинство постарше. Тут и русские, и чуваши, казаки и мордва. Много татар. Палимовские ребята почти все комсомольцы... А это—мой помощник, мордвин. Сама выбрала из отряда,—сказала она, разворачивая новый снимок, тщательно сложенный в газетных листках.—Вернее, сам он вызвался итти головным затравщиком,—поспешно добавила девушка.—Мордвин из лучшего в этом районе колхоза...—и всмотрелась в снимок, словно видела его в первый раз.

Парень был снят с отравительным аппаратом на груди, в задранных до колен штанах и с сияющим оскалом зубов. За плечами торчала лопата. Из сумки за плечами выглядывали горлышки бутылок. Парень стоял с растерянной улыбкой (было похоже, что он снаряжен специально для снимка). Сама она — предводитель похода и любительница фото—стояла поодаль от парня, с ружьем на плече и в высоких мужских сапогах. Они стояли оба на фоне кургана.

Я внезапно повернулся к ней.

— А где же этот парень сейчас? Он едет с нами?

Она быстро опустила руку со снимком и как-то торопливо ответила:

— Почему с нами? Он ведь не со мной! Я не знаю...—она заложила снимок куда-то в глубь альбома.—Нет, он должен был ехать... Вообще он парень хороший!—Она опять вынула снимок и завернула его в газетный листок.—Экспедиция уже закончила свою работу...—добавила она уже спокойно.—А вот это—тот самый аппарат, который я вам показывала на том снимке, с этим... ну, мордвином... Здесь аппарат снят ближе,—перевела она разговор.

Она быстро объяснила мне всю несложную механику отравительного аппарата и показала на снимке опытное поле, сплошь усеянное воткнутыми в землю палочками-метками.

— Вот здесь—бригада затравщиков с проволочными крючками, которыми они закидывают отравленный шарик в норку. А это—прикопщики с железными лопатами, как у саперов... За плечами у них мешки с соломой и камышом, чтобы немедленно же после затравки заткнуть норку и притоптать ее. Действие верное: суслик обливается слезами, его корчит от терпкого газа, и он тут же задыхается. Есть среди них и более живучие, которые иногда выкапываются наружу с другого конца норы (у некоторых норы с запасными выходами), но там их ждут вооруженные лопатами «саперные бригады» экспедиции и бьют. Хотите, я вам покажу «апофеоз войны»?—предложила она, роясь в снимках.—Посмотрите этот снимок... Снято с натуры.

Это была гора отравленных сусликов, вокруг которой стаями вились вороны и всякие летучие хищники.

— Вы знаете, как суслики осторожны и пугливы?— пояснила девушка.—Они боятся всего: хорька, собаки, хомяка, коршуна и даже пустельги. Все это зверье с удовольствием пожирает сусликов. Я бы из этого зверья организовала прекрасную бригаду, но они очень уж несознательный народ. Предпочитают стихийность...—девушка заулыбалась во все лицо.—А тут необходима массовая организованная борьба. Едва ли даже наша

экспедиция,—кстати, весьма крепко организованная нами, дала большой положительный результат, несмотря на то, что мы провели громадную работу в степи. У-у сколько их осталось еще! Вот к зиме они впадают в спячку, как медведи, но, как только к весне земля немного подсохнет, они, как черная оспа, снова высыпают на поверхность.. Размножаются прямо как черти, быстрее даже кроликов... И живут себе как подземные помещики...

— Вот это организованные вредители,—вставил я.

— У них все очень организованно: даже установлен «мертвый час»—от двенадцати дня приблизительно до четырех-пяти часов вечера...

Я удивленно поднял глаза.

— Кстати, это самое удобное время для травки,—добавила она, и мы оба рассмеялись.

Пароход привалил к какой-то пристани и, столкнувшись с деревянным дебаркадером, стал на месте, сотрясаясь в шуме машины.

— Выйдем, посмотрим пристань,—предложил я девушке.

Она вскочила с койки, накинула куртку и вышла со мной на палубу.

Мы сошли на пристань, заваленную грузом невыделанной кожи, и побежали по шатким деревянным мосткам к берегу.

Мы шли в глубь поля, молча прислушиваясь к ночи. За нами следом шли луна и шум плещущихся о берег волн.

В бескрайнем просторе ночи мы шли, словно растекаясь во все стороны поля.

Нас нагнала чья-то собака. Она обнюхала наши следы, повела мордой в сторону и, ударив хвостом мою тень, побежала дальше.

Я позвал ее. Она круто обернулась и, прислушавшись к моему голосу, снова побежала в пространство.

Через мгновение где-то за пазухой темного горизонта взвыл знакомый гудок парохода.

Девушка остановилась.

— Пойдем обратно,—сказала она, укутываясь в широкую куртку.

— А я бы пошел так—все время вперед,—тихо обронил я.

— Куда? Зачем?—она с удивлением уставилась на меня.

— А вы едете зачем?

— Я еду в Москву. А вы?—спросила она в свою очередь.

— Я тоже... Я еду в Москву—город-порт.

— Тогда бежим, а то пароход уйдет без нас.

— Бежим, товарищ Сула!—я протянул ей руку.

Мы бежим обратно по полю, взявшись за руки, как дети. Свободной правой рукой она то-и-дело запахивает развевающиеся полы куртки.

— Как вы меня назвали? Сула?—она оглядывается на ходу...

— Да, Сула...

— Почему Сула?—порывисто смеется она.

— Так, подходит....

— Подходит?

— Ну да!

— А почему подходит по-вашему?—она замедляет бег.

— Потому... Вот была Суламифь. Миф ушел. Осталась со мной одна Сула...—я тяну ее вперед, как на буксире.

С парохода дали один длинный и два коротких гудка.

— Я устала... Подождите... Я так не могу...

— Бежим, бежим, товарищ! Прохорыч нас не будет ждать.

— Какой Прохорыч? Подождите. Пойдем потише... Мы успеем. А как вас звать?

Мы оба теперь идем длинными мужскими шагами.

— Я еду к Арсивару...

— Это имя мне уже знакомо... Я слышала много раз на конференции по борьбе с засухой.

— Мы уже пришли,—говорю я, вспрыгивая один на мостки.

Она осторожно тянется за моей рукой в темноте.

— Ну какой же вы предводитель отряда, Сула!

— Я все же женщина, товарищ... Это, во-первых, а, во-вторых, во всех наших трудностях меня всегда сопровождал мой помощник.

Мы вышли на дебаркадер.

Пароход и деревянный остров стояли в ночи рядом и злобно толкали друг друга в бок.

Мы поднялись на верхнюю палубу, и в тот же миг с капитанского мостика дали приказ:—Вперед, полный.

— Есть, вперед полный!—сказал я девушке.

Пароход забулькал колесами в воде и вышел на середину реки.

С неба в Волгу, как прядильные нити, спустились звезды, и пароход пошел по ним, жужжа, как веретено.

— Доброй ночи, Сула!—распрощался я с девушкой у дверей ее каюты.

— Доброй? Хорошо!—щелкнула она ключом.—Пожелайте того же и вашему соседу.

— Вдовину. Он видит всегда безбожные сны.

— Приходите завтра ко мне вдвоем. Пусть он их расскажет нам...

— Он их записывает каждый раз.

— Тем лучше! Тогда мы их послушаем, как и ваше предисловие.

— Но у меня не предисловие, а предречье...—с потайной горечью сказал я.

— Мне же оно понравилось?—она со спокойным изумлением подняла брови.

— Вам не понравился мой акцент.

— Акцент—это человек,—коротко оборвала она и, кивнув с улыбкой головой, быстро прикрыла за собой дверь каюты.

Странная девушка.

Что же ее заинтересовало в безбожнике? Она даже еще слова не сказала с ним... Вот и действительно правильно заметил Вдовин: «На пароходе всякого встретишь»...

«Сула»—с досадой вспомнил я вымышленное мною имя и открыл дверь в свою каюту.

Вдовин спал на своей койке, прикрывшись от электрического света «Воинствующим безбожником». Газета, сотрясаясь в ритмическом дрожании парохода, готова была сползти на пол с его головы. Она уже сползла с плюшевой койки больше чем наполовину, но в самую последнюю минуту я схватил ее, точно за шиворот, сложил осторожно и положил себе под подушку. Потушив электричество, я лег.

Каюта, как водохранилище водой, стала заполняться сном.

Товарищи из редакции.

Ребята-комсомольцы.

Все вы, кому близок и интересен мой путь.

А главное ты, товарищ Арсивар.

Я нахожусь сейчас далеко от вас: у Самарской луки—на Волге.

Поищите на карте меня (только осторожней—прошу!).

Нам необходимо выбить реку из старого ложа!

Осторожней, ребята, а то из рук штурвального сразу увернется руль и корма захлебнется в коловерти вод. Пароход осядет в ил и тину.

Не напирать!

Давайте в плановом порядке.

Зовите к себе товарища Арсивара. Всех ударников—грабарей, землесосов и экскаваторные бригады.

Нужно составить профиль и трассы реки. Расширить бьефы ее. Изучить речной режим. Приход и расход воды. Расчистить старое ложе. Поднять подпочвенные воды и загрунтить новое

дно под водоносные пласты. Разрыть старое слоение сланцев... Ударно шурфовать и скважить недра!

Товарищи! Река должна отречься от старого режима.

Новый режим по тальвегу перехлестнет придавленные мели, и вода закукует в полях, в степи. В степи много пор, как вваливин в прогнивших деснах верблюда... Вода промоет и обновит ноющую челюсть земли. Зализет ее раны-норы и вытравит из них сусличью чирь...

Мы выбьем из земли всю эту ползучую гадь!

Сметем живой сорняк полей—двурушных вредителей земли.

За мной, товарищи, вперед!

Только не нарушайте порядка!

Садитесь все на пароход.

(«Пролетарий»!—готовьсь!).

Ты, Арсивар, садись в капитанской рубке со штурвальным!

Ударники-грабари, прораб и землесосы! Идите на корму! (С вами парторг.)

Гидравлики, техники и агрономы—все на борт! (На вахте парторг.)

Треугольникам экскаваторов засесть на носу!

Бригадирам быть зорче!

Слуша-а-а-ть!

Мы проплывем скоро Самарский сгиб и выйдем в чистое поле реки (нас там ждет большая большевистская работа).

Нам нужно миновать только вот эти рифы гор!

Нигде Волга на всем своем протяжении—три тысячи шестьсот девяносто километров длины—не встречает врага сильнее, чем у этого короткого горного кряжа Жигулей. Здесь, на этой луке, сталкиваются река с горой, и властительница степей, мать—стихия всех недовольных, угнетенных и озлобленных людей прошлого—Волга, мирно склоняется перед этой заговорщицкой красотой гор. На этом месте—бригадирша союзных рек, притоков и озер—всесоюзница Волга сгибается так низко, как ни одна река на всем земном шаре (проверьте, товарищи, у себя на карте) и на расстоянии двухсот тридцати километров тащит, как повинность, на бурлацки-согнутом хребте, длинные отражения своих прошлых буйных лет...

Товарищи, нам нужно выровнять хребет реки и перехлестнуться животворящей влагой в степь. Вперед!

Пароход ныряет в узкие ворота Жигулей и, словно нагрузившись тюками теней Сокольих гор и Царева кургана, воровски, крадучись, проплывает устье реки Соки. Но из буерака вдруг

поднимается Лысая гора и голой своей макушкой задевает мачту парохода.

Колеса, вздрогнув, ускоряют шаг (я слышу, как прокряхтел Прохорыч внизу).

Тени гор старчески сморщиваются за бортом и дыханием плесени обдают весь пароход.

О, как трудно быть на земле рекой!

О, как трудно быть на реке рулевым!

О, как старательно топают колеса в этой желчной мути теней! (А тени все гуще!.. Грязь все глубже!)

Вот надвигается, сурово хмуря брови, Молодецкий курган и мести требует!.. Мести! Зовет наш пароход в глубокий буерак—в Моркваши, и с берега потрясает саблей над мачтой.

Пароход прикрывается тенью дыма из труб и, словно зажмуря глаза, обходит опасный омут скрещенных сабель на реке...

С кургана хохочет Степан Тимофеевич.

В буераке гогочет Иван Кольцо.

Спереди, с боков, сверху—по мачте, по трубам, по штурвальной будке ползет крик сестер-девственниц с Девьей горы!..

Крик раздирает дым как чадру.

Крик проникает по трубам и дымоходам в каюты, в трюм, в машинное отделение (я слышу как простонал в жаркой истоме Петр—кочегар).

«Как быть? Как нам быть!»—вытаптывают в воде колеса парохода.

«Проплыть—нам—надо—годы—гор—проплыть!»—подталкивает их настороженное гудение машины.

Впереди, по реке, несутся два гигантских Брата, с гневом потрясая косой, а за ними вся вольница—гулящие братья, с бичевой на плечах, топорами и вилами... Из пещер, буераков, скал, ущелий, лесов и курганов встает, как из ногайских могил, буйная вольница староволжских вод.

С тупой Тронной горы несется клич Степана.

На плотах подползает воровская шайка.

Громыхает голос Василия вдали.

Огромная тень бурей надвигается на нас... Пароход окутывает абречья бурка тени...

Эй, Арсивар! С пароходом несчастье!.. Нас окружили! Не сдавайтесь никто!

Мы погружаемся по горло в тень...

Держитесь, друзья!

Эй, Сула! Сула! Выглянь, сестра!

Под твоим окном ходит грызун... Он вредитель полей. Хлебный король....

Он только прикинулся, товарищ, мертвецом.

Он жив! Смотри, он ходит и хохочет сейчас под твоим окном!

Толкни его с борта, этот гниющий труп! Труп—несчастье всегда для парохода. Долой его с пути! Прохорыч, откликнись! Не слышно тебя! Вздувай, старик, сильней огонь! Прохорыч, спасай «Пролетарий»...

Я взметнулся к борту и схватил за голый локоть труп.

Труп медленно кашлянул.

Я поднял его над перилами и вдруг... отступил: на груди у меня барахтался Вдовин.

Я выпустил его из рук, как мешок, и перевел дыхание...

Над рекой в громадных облаках несся день.

Вдовин стоял на палубе без шинели и без галстука, в одном пенсне, трусиках и чепчике волос. За ним, улыбаясь во весь рот, стояла она—глава отравительного отряда и, захлебываясь папиросным дымом, перегибалась через перила. На перилах, как виноградные гроздья, висели дети и с визгливым любопытством качались на них.

— Пароход садится на мель... А скоро Ставрополь...—сокрушенно сказал безбожник.—В мае там была организована ячейка СВБ в тринадцать человек. Теперь—семьсот членов.

Я взглянул вниз.

Внизу матрос, перегибаясь всем корпусом через борт, неторопливо измерял шестом глубину реки и по-бурлацки кричал:

— Шесть....

— Шесть...

— Шесть...

— Шесть...

— По табаа-ак!

— По табаа-ак!—передавался с борта в штурвальную выкрик.

По небу метались зловещие ветры, и солнце клыками взрывало тучи. Пароход тревожно гудел, и внизу—с кормы поспешно вонзали якорь и ругань в воду.

— Васька Ус был умнее нас...—говорит Вдовин. Он говорит всегда таким тоном, что в его голосе трудно отличить гнев от восхищения.—Он здесь передвигался вовсе не этим путем, а по Усе-реке.—Вдовин мрачно теребит двумя пальцами свою покорную чолку.

— Но он же шел темным путем! Он награбленное у купцов и кулаков волок в темноте,—спокойно поправляет его девушка.

— Поднять якорь!—перебивает их строгий голос с капитанского мостика, и вдруг пароход вздрагивает всем телом.

По воде быстро разливается дрожь. Колеса оторопело бултыхаются в реку, и слышно, как скребут друг друга дном о дно река и пароход. Кругом бурлит вода, смывает плесень с бортов и, вздымаясь на пенистые лапы, бьет железные бока.

Пароход медленно всплывает вверх по воде и с деловитыми гудками проскальзывает мимо разрозненных теней туч.

— Ура, ура! Ребята, в поход!—я громко хлопаю в ладоши и с гордым восхищением смотрю вверх на капитанскую рубку.

Дети срываются с перил и с криками подбегают к нам.

Оба—и девушка и Вдовин—смотрят на меня с удивлением.

— Куда в поход?—говорит она, улыбчиво морща нос.

— Туда! В степь! Против подземных вредителей и степных бродяг... Против засушливых банд ветров...

— У нас еще много врагов на селе.—Вдовин вглядывается в подбородок девушки.—Всякие святощи, христа-ради убогие, нищие, странницы и пророки, провидоши и побирушки, волшебники и пустосвяты... Всякие там юродивые и советские мольцы... Вся эта погань ходит еще по земле... И на чей счет они живут?..—Вдовин подтягивает трусики и с сердцем сплевывает за борт.

Дети смотрят ему в рот и беспокойно притаптывают на месте.

— Суслики хуже всяких побирушек и провидош...—небрежно бросает ему девушка.

— Суслики?—Вдовин с изумлением снимает пенсне.—Темнота еще царствует над землей... Да, именно над землей. Не везде еще ячейки СВБ охватили наши поля,—он протирает пенсне углами трусов, стараясь исподлобья разглядеть лицо девушки.

— А мы поставим у устья Усы большую гидро-электрическую станцию и все осветим... Вон—оттуда...—она осторожно протягивает руку между кормой парохода и переносицей Вдовина...—И не одну,—добавляет она,—а целых две, и даже три или четыре, и будем брать у Волги свет для всей страны. Везде и вокруг все будет видно, как на ладони,—она стучит кулаком в ладонь.

Колька озаренно оглядывает всех детей и, схватив маленького Степу за кулачок, кричит:

— Степ! Идем делать банду...

Степа раскрывает ладонь с зажатым в ней обрывком веревочки и деловито бьет по ней кулаком:—«Идем»! Все разом поворачиваются и бегут за Колькой и Степой по палубе в рубку.

Вдовин в оцепенении надевает пенсне на нос, и округлые глаза его делаются похожими на ведра, полные воды.

Мы все втроем стоим теперь как заговорщики и словно подслушиваем друг друга.

— Я знаю тебя,—говорит Вдовин девушке, как бы умывая руки.

— Вы знаете меня лучше меня самой?—спрашивает она, задерживая смеющиеся глаза на пригорелых кончиках его хилых плеч.

— Я знаю хотя бы больше его...—Вдовин указывает на меня головой.

— А я вас не знаю...—коротко бросает она ему.

— Я видел тебя в палимовском колхозе.

— В Палимовке? Да! Это в районе нашего опытного поля,— девушка с любопытством заглядывает ему в глаза.

— А почему там у вас распалась ячейка СВБ?—медленно льет Вдовин на нее студеное отражение пенсне.

— СВБ? СВБ...

Девушка будто смущена.

Мне кажется, что ей даже плохо.

Мне хочется сказать ей какое-нибудь ласковое слово, мне хочется сказать, что суслики вообще отвратительный народ, что с ними, должно быть, трудно бороться женщине, что против этих гадов необходим организованный поход, война светом и водой, что вообще о ней, как о героине наших полей, следовало бы рассказать во всех редакциях. Познакомить ее со всей комсомолией страны, с рабочими-ударниками фабрик и заводов и, главным образом, с товарищем Арсиваром... Но она смущена, и я тоже смущен ее внезапным молчанием...

Быть может Вдовин, окуная ее в свой безбожно-пытливый взор, видит девушку гораздо лучше и глубже меня. Я знаю: он вообще парень весьма полезный и безусловно попадет к нам— за стол в редакции. Он старый член СВБ. Организатор безбожной работы в селе Воскресенском—в колхозе «Кзыл Юл»-Котлумбетовского сельсовета, в селе Аркаевке—Сурского района, в Кулеватовском колхозе «8 марта», в Кинель-Черкасском районе, в колхозе «Новая жизнь» Добрынинского сельсовета и в Ромодановском районе Мордовской области... Он хорошо знает цену поповско-кулацким праздникам в наши дни и на всякую фабрикацию чудес отвечает организованной антирелигиозной работой.

На пароходе Вдовин только и делал, что нащупывал себе аудиторию и тыкался глазами в спящих пассажиров, словно выискивал у них вшей на шее и в бороде... Почти каждое утро всех пассажиров жестких мест он собирал в лёнуголке и настоятельно читал им лекции о вреде религии, предостерегая всех от переодетых врагов социализма.

В общем безбожник Вдовин все время у своего станка...

И хоть я тоже мобилизован на «Пролетарий», но мой станок кует иное словоречье: я вижу в живом лице людей, воды, машин, звезд и земли—другой встречный образ их... Я полон мыслей, и речь моя стремительна, как горный ручей, но за моим станком—я нем, как лучший охотник.

Пароход продолжительно гудит: мы приближаемся к Ставрополю. Она оглядывается на гудок, будто ожидая окончания сигнала, и отрывисто кашляет.

— Вы нездоровы?—участливо задаю я ей вопрос.

— Нет! Вполне, — коротко отвечает она и медленно направляется по палубе к дверям рубки.

Мы входим в салон.

Вслед за нами в дверях салона появляется король и, широко расставив у порога ноги, упирается в нас пустым взглядом, как мертвец.

Вокруг пианино ощетиниваются дети.

Женщина, сидящая за пианино, быстро наклоняется над клавишами и, собрав в одну кучу рассыпавшиеся звуки, снова нанизывает их на пальцы.

За карточным столом с шумом поднимаются четверо мужчин и, освобождая рядом с собой место, с угодливыми жестами приглашают мертвеца к столу. Две широкобедрые дамы бросают в дверь любезные улыбки и строго берут детей за руки.

Мертвец, шатаясь, переступает порог.

В обеих руках у него темносиние бутылки с красным вином. Из-за спины короля, теснясь, пролезают друг за другом двое официантов и, подобострастно обойдя грузную шатающуюся фигуру, расставляют на столе тарелки, бокалы и куски желтоспелой дыни.

— Я ставлю последнее...—глухо произносит мертвец и, подняв плечи, идет к столу.—Прошу всех!—Он поднимает руки и ставит на стол сияющие бутылки, как погребальные свечи...

— Ты не упусти из вида эту девушку, а я сойду в Ставрополе вместе с королем,—пригибается к моему уху безбожник.

— А почему в Ставрополе?—машинально спрашиваю я его.

— Мне там нужно проведать ячейку СВБ,—хладнокровно бросает Вдовин и, прижав пенсне к переносице, любезно подсаживается к королевскому столу.

Мы с девушкой быстро уходим из салона.

— У этого парня дельная голова!—говорит мне она у дверей своей каюты—Я таких люблю...

— Жаль, что вы не слышали его снов,—лишний раз напоминаю я ей.

— Он мне уже рассказывал их на борту...

— Уже? Значит, вам они понравились?

Как здесь быть? Я не могу меняться станками с безбожником, а он—с надеждой на меня—сходит с парохода в Ставрополе и остается там проведать ячейку СВБ.

— Ульяновск! Эй, Ульяновск!—слышу я из глубины машинной голос Прохорыча как сквозь сон. (Я провел всю эту ночь в беседе с кочегаром.)

В машинной стояла дрожь отхода: было похоже, что пароход стоял под каким-то теплым прикрытием и, уходя сейчас, дрожал от предстоящего холодного пути по реке.

Я быстро поднялся из машинной в трюм, но пока выбрался на верхнюю палубу, пароход уже резко поворачивал от пристани, а в синеватую тень над городом медленно вступала бледно-розовая заря. (Ульяновск так и остался у меня в памяти, как дрожание зари в синеве.)

Прохорыч, которого сменил под утро комсомолец Пров, зевая, слушал на корме мою горячую речь о городе Ульяновске.

— Ульяновск—это венец гор на узком водоразделе двух друг против друга текущих рек: Волги и Свияги. Свияга-река течет в обратном Волге направлении, стремительно поднимаясь вверх на сотни верст, чтобы слиться с ней в Татарской АССР. (Все это и многое еще мне хорошо известно из книг, но рассказывал я это Прохорычу, как очевидец, с жаром акцентируя свою речь.)

Ульяновск-Симбирск—это город-колыбель, убаюканный ветром двух рек.

Здесь, около трехсот лет назад, за рекой Свиягой, произошла первая схватка Степана Разина с боярскими защитниками, засевшими в рубленом симбирском кремле.

Степан шел походом вверх по Волге—к Симбирску. Шел против реки и неволи упорно, как дитя, и уверенно, как восход зари.

Но дитя-великан был подхвачен на штыки боярскими войсками. В глазах была потушена заря, а «вниз по матушке, по Волге» поплыли буйные сыны с зажатым в горле сердцем и волей, обрубленной, как канат...

Через сто лет к тому же Симбирску и по той же обезволенной Волге—к Свияге подступил Пугачев, дитя-пугач, и зарей новых пожаров окопал дворянский сонный город... (Дитя зари свободы был заклетован в клетке, как зверь...)

Еще через сто лет, почти полвека назад, через герань и гиацинты на окнах, через поросли чахлых фикусов и филодендронов, распускающихся в сонном покое города, с «Венца», с кото-

рого на всю Россию лилась зевота Гончарова, водораздел снова озарил и глаза...

Это было, Прохорыч, в том доме, где родился Ленин... На улице Стрелецкой, помнящей Степана и упирающейся в площадь с тюрьмой. Тюрьма фасадом выходила на высокий берег «Венец». С этого «Венца» первый сын семьи—Александр Ильич—человек с глазами глубокими, как три столетия, видел впервые открывшийся мир: Волгу, карусель и тюрьму.С Волги на возвышенный берег дул беспрерывный неспокойный ветер, на карусели кружился и пестрел беззаботный обыватель, а из-за решеток тюрьмы глядели глаза, суженные скорбью, и на землю свешивался лязг цепей...

Человек с водораздела, полюбивший уже молодым Некрасова и Гейне, был подхвачен на штыки на Невском проспекте (он метал свободой в «миротворца—царя»). Глаза у него были полны зари, а руки—динамита. Оба были погашены. В руках жандармов осталась горсть «инфузорной земли» в платочке, вывезенной сыном-бунтарем из родных волжских краев, а у матери—стоящей в ограде в черном—гордость, застывшая слезой.

Перед этой же зарей, на этом водоразделе, в доме, помнящем Разина, как застывшую слезу, родилось и великое имя города, родился великий раздел эпохи—Ленин.

Пароход протяжно зевнул сиреной. Близко впереди дрогнул туман и зябко потянулся к берегу. За берегом, словно шум реки, вырастали и обрывались гудки просыпающегося города.

— Я знал Ленина в лицо,—сказал, поднимаясь, Прохорыч.— Я состоял тогда матросом Балтфлота на миноносце. Простой был человек...

Прохорыч, медленно разминаясь, ушел в свою рубку.

На Волге под береговым обрывом плотной тенью передвигались плоты, а с обрыва в реку медленно стекал утренний свет.

Свет шел прямо со степи, и степь перехлестывала за берега.

Пароход шел, сторонясь от света и от берегов, но вдруг степь как грудью прорвалась к реке, и с берегов водопадом понесся свет и ветер.

Вставало солнце.

Вместе с солнцем где-то в степи вставали из нор, должно быть, и вредители: засуха, суслики и суховей, и я с сомнением взглянул на восток. Восток помещался между обрушенными берегами степи, лилово-светлым небом и носом парохода.

Я установил себе метку на месте восхода солнца и приготовился слушать взрыв. Стало необыкновенно тихо и вдруг...

Я услышал ее шаги.
По палубе, к солнцу, шла она.
Я окликнул ее.
Девушка шла по палубе одна.
Я обогнал ее.

Она была вся залита красным маревом, и смуглое загорелое лицо обливалось улыбкой и фосфорным сиянием глаз.

Я преградил ей дорогу.

Девушка брызнула на меня теплым маревом улыбки.

Я громко поздоровался с ней, и мы пошли по палубе вместе.

Она говорит, что в степи привыкла рано вставать.

Я говорю, что мне в городе не дают спать редакции.

Она говорит, что плохо спала ночью, а под утро ей приснилось, будто Вдовин хотел причесать ей голову и она вскочила с койки. (У девушки сегодня на самом деле причесаны волосы. Они даже стали у нее цвета ее легкой светлокаштановой кофты.)

Мы оба смеемся и незаметно замедляем шаги.

На железном острие флагштока ласточкой садится блуждающий луч солнца и устраивается на нем, как в гнезде.

Мы становимся на палубе против флагштока и смотрим оба мимо него, на наплывающие на нас берега.

— Вы любите Волгу?—говорит она.

— Я люблю воду,—говорю я.

— А сколько километров пути будет от Ульяновска до Камышина?—спрашивает она.

Я говорю о великом водоразделе Ульяновска и о том, что путь по реке следовало бы измерять не по длине ее территории, а по силе течения воды на ней.

— Тогда бы мы утеряли время,—с притворным страхом в голосе говорит она.

— Но зато мы развили бы живость воображения,—спокойно отвечаю я.

Над носом парохода оранжевым знаменем подымается солнце и зябко жмется к бокам палубы.

Мы оба одновременно смотрим на восход и снова крадем шаги по палубе у тишины.

Теперь мы говорим о другом: я говорю, что много непонятного еще на земле. Но она вдруг вспоминает, как легко и быстро научилась управлять трактором в палимовском колхозе с бригадой трактористов, и заявляет, что нет ничего непонятного ни в машине, ни в человеке, надо только уметь разбираться в них.

Я не возражаю, добавив, что даль, например, мне понятна только в живописи и в глазах верблюда...

Солнце обходит палубу то справа, то слева, передвигая мою метку восхода с востока на запад, с запада на север и обратно,— и постепенно река становится необыкновенно узкой и прозрачной. Пароход меняет свое направление и вдруг во все колеса ударяется вспять.

Мы идем вниз—назад.

Но не может быть! В штурвальной знают свой маршрут. (Пров должно быть не убавляет в форсунке огня.)

Я с недоумением смотрю на спокойную голову девушки и не могу признаться ей, что мы едем вдруг не вверх, а вниз по реке. Река становится все уже, уже и прозрачней. Пароход стремительно несется вниз по течению. Девушка, упершись коленями в железную сетку перил, держится за деревянную перекладину, как за поводья коня, и, откинув назад плечи, водит по перебору волн головой,—медленно, словно в физкультурном упражнении. Я с волнением слежу за тенью солнца над ее ушком.

— ...Так—в горах: я сбегал по тенистой дорожке ручья, и у ветхого плетеного забора под конским черепом остановили меня вдруг большие светло-карие глаза смуглой пастушки— дочери Арсо. Лукаво глядя на меня, она грызла, как коза, мелкие лесные орешки.

Я, весь счастливый, глазами и локтями повис на плетне. Она закачалась на низко-изогнутой ветке орехового куста и в подоле цветной юбки молча протянула лесные орехи в зеленой колючей скорлупе. (Они всегда такие вкусные, как сливки козьего молока!)

Я потянулся к ним, и вдруг рука застряла в теплых коленях.

Она уперлась голыми пятками в плетень, готовая соскользнуть, но я быстро схватил ее колено и удержал ее на ветке.

Сучья скрипели и царапали лицо. На ее смуглой шее рубиновым бисером выступали росинки крови...

Я перегнулся к ней. Глаза тревожно забегали в истоме. На губах дрожал прокравшийся через широкие листья орехового куста луч солнца. В зубах пенилась молочная кожа ореха и детски-любознательная улыбка.

Я притянул ее голову и губами нащупал ее мягкую горячую улыбку и сухие губы...

... Девушка обернулась ко мне и, не отнимая выпрямленных рук от железных перил, присела с улыбкой несколько раз на корточки. Затем быстро выпрямилась, откинула рукой упавшие на глаза волосы и пошла по направлению к своей каюте.

Пароход резко свернул влево.

Солнце облокотилось о перила. Затем переступило палубу

и пошло вслед за девушкой до самой рубки. Здесь оно застряло плечами в дверях, но девушка без оглядки прикрыла дверь за собой и словно прищемила его. Солнце сорвалось с петель и багряной лапой обрызгало окна, палубу и сетку перил. Снова перелезло обратно за борт и с головой бултыхнулось в воду.

По реке свернулись длинные розовые струйки солнца и быстро потекли по течению.

Я взглянул вперед на метку восхода и обрадовался: пароход шел вверх—против реки.

— У вас дело ко мне?—раздался голос из каюты на мой стук.

— Я принес вам новые газеты.

— Садитесь! Я зажгу электричество.

Я положил на столик газеты и сел.

Свет вытеснил вечер за окно.

Я молчу. Мы оба молчим, будто прислушиваясь к приближению чьих-то шагов за дверью каюты: шаги неторопливо шаркают мимо.

— Для чего вы едете в Москву?—тихо спросил я, глядя на ее спокойно сложенные на груди руки.

Она улыбнулась с закрытыми глазами.

Сквозь улыбку вдруг прорвался кашель, и у девушки подскочили плечи. Она прикрыла ладонью рот, выпрямилась всей грудью и, щурясь, деловито сказала:

— Я вам покажу материал конференции по борьбе с засухой...—голос у нее был сдержанный и басистый.

Я молчал.

Она опустила руку и, не дожидаясь моего ответа, стала медленно разворачивать на столике ворох тетрадей и листков. Затем откинула у изголовья подушку, раскрыла свой мешковатый портфель, немного призадумалась над ним и, оттеснив в нем какие-то книги в сторону, осторожно извлекла свернутую в газету трубой плотную бумагу.

— Это из Саратова...—оживилась она вдруг.—Конференция длилась четыре дня. Все там были!—восторженно добавила она.

— Как все?—перебил я ее.— Меня, например, там не было вовсе.

— Тем более вам тогда необходимо знать про эту конференцию,—нашлась девушка.

Она развернула небольшую карту, усеянную сплошь цветными черточками, как следами птичьих лапок. Пригладила ее ладонью и, ткнув острием карандаша в исток Волги, сказала:

— Смотрите! Видите Волгу?—она провела карандашом от Москвы до Каспия.

— Мы должны или нет перестроить наш аграрный край

в агроиндустриальный? Та-ак,—должны!—Она склонилась над картой.—Вот здесь должен быть Волгострой...—она обвела красным острием карандаша звездчатый круг у Самарской луки.

— В районе Ставрополя, там, где мы оставили Вдовина, вот тут есть село Старая Отважная. Здесь должна быть устроена огромнейшая гидростанция.

Я прижался ближе к столику.

— Один из докладчиков говорил, что гидростанцию целесообразнее всего было бы устроить в конце—около плотины, откуда напор воды пойдет по гидравлическим турбинам для получения энергии. По-моему, идея неплохая,но там многие не соглашались с ним. Пошел спор о гидравлике...—она ткнула кончиком карандаша в реку Усу, словно подгоняя ее воды вверх—навстречу Волге.—Вот эта петля, по этой долине—Уса, она дает возможность при помощи устройства канала заполучить еще дополнительный напор...

Девушка с нетерпением заглянула мне в глаза и быстро привстала на койке, упершись в нее одним коленом.

— Вы знаете, какая это будет гидростанция? Это будет первая станция в Союзе и даже во всем мире!.. Самая первая! Когда я об этом рассказывала ему, так он раскрыл рот и почему-то стал смеяться... Я никак не могла добиться от него: почему это он смеялся... А то еще—я ему разъясняла однажды значение гидравлических турбин. Я ему и так, и этак! А он будто и поймет все, но не подаст виду и вдруг снова заулыбается во весь рот... Он очень какой-то...

— Вы это про кого?—осторожно спрашиваю я ее.

Она одну минутку смотрит на меня с недоумением, затем, быстро сомкнув брови, смущенно отводит глаза в сторону.

— А это у нас—при экспедиции... Я разве вам не говорила? Ну, во время занятий на кургане...

Девушка быстро повернулась к столику, разрыла там несколько книг и вытащила из корешка одной из них довольно рельефный снимок на глянцевой бумаге. Но прежде чем показать снимок, она как бы проверила меня скосившимся взглядом и затем, слегка отвернувшись, закрыла быстрым движением ладони верхнюю часть снимка.

— Вот смотрите только на это, а дальше не надо...

Я молча пригнулся к ее плечу.

Место на снимке было похоже на курган: на обычный степной горб, усеченный сбоку, как скала, но утоптанный человеческой рукой, должно быть, с незапамятных скифских времен.

Над курганом она ладонью, видимо, прикрыла себя, и я сказал:

— Обычно в этих курганах находят огромных каменных баб, а вы прикрываете себя крохотной ладонью.

Это словно задело ее, или она не нашла более нужным умещаться кокетливо под ладонью и, быстро сняв руку с карточки, с видом безразличия протянула ее мне.

Над усеченным краем кургана стояла она, в штанах и с лопатой в одной руке. Рядом, припав на одно колено и сжав рукой ружье наготове, с нарочитой строгостью глядел на нее парень: это был ее помощник—мордвин.

— Только вы не думайте, что это какой-нибудь древний курган!—перебила она весело.

— Я вообще не видел вблизи степных курганов,—с сожалением ответил я.

— Да нет же!—воскликнула она.—Я бы расхохоталась, но не хочу, чтобы вы заподозрили себя в незнании происхождения древних курганов. Нет, это курган, который воздвигли мы сами—всем отрядом—над трупами сусликов. Это наш новый курган. Вы не смотрите на меня с таким удивлением! Это делается очень просто: мы разрыли степь и притоптали это место, возвысив землю больше, чем на восемь курганов вместе взятых, и сделали таким образом и прикрытие для штаба от пыльных ветров. У нас там очень много мошкары и пыли... Смотрите, не правда ли,—настоящий курган! Вместо штабной избы, в часы отдыха, мы всегда сидели на этом кургане. Вот тут за мной, видите—камень... На этом камне была моя канцелярия... Мы тут часто проводили даже занятия ликбеза. Хотели было устроить даже навес, но не успели, да и ветер не дал бы...

Девушка взглянула куда-то вдаль—за окно.

— Да, самое главное!—спохватилась она, будто вспомнив что, и снова потянулась к карте.—Вот по этой же самой долине Усы будет строиться грандиозный канал, который должен сократить, как там говорят инженеры, пробег судов по Волге на 125 километров... Хорошее дело—пробег! А то в старину, оказывается, так и волокли суда через этот водораздел Волги и Усы. Видите здесь село Переволоки? Оно так и называется... Наверно, все наши волокитчики тоже оттуда ведут свое происхождение,—расхохоталась она, радуясь внезапно открывшейся мысли. Но карта словно воспользовалась этим и, выскользнув из ее пальцев, быстро свернулась трубой.

Я схватил карту свободной рукой за один край и осторожно потащил ее на старое место. Девушка, смеясь, придавила пальцем закурчавившийся край Средней Азии и, отбросив назад спустившиеся на лоб волосы, сказала:

— Да, я вам не сказала еще... В конце этого канала проек-

тируются шлюзы: такие, знаете, двухкамерные шлюзы для спускания и поднятия судов с одного уровня реки—по одну сторону плотины на другой уровень—по другую сторону. Это очень интересно. Идет-идет судно, например, вниз по реке и вдруг входит в первую камеру шлюза, наполненную водой до уровня воды в реке. Входит и останавливается, то есть не останавливается, а незаметно-незаметно спускается... Когда уровень воды в обеих камерах сравняется, открываются средние ворота, и судно входит во вторую камеру. Тут вода снова спускается. Нет! Сначала, разумеется, закрывают средние ворота, а потом, значит, вода спускается до уровня воды в реке, и судно там или пароход выходит «на простор речной волны» через нижние ворота... Я раз ездила так, но как-то очень долго возились... На конференции говорили, что наши новые волжские шлюзы будут походить на шлюзы известного Панамского канала и даже будут лучше... Там очень много вариантов было всяких...

Девушка посмотрела на меня, как бы проверяя впечатление. Мы сидели друг против друга, придерживая на столике маленькую карту, как колыбель. Затем девушка встала на оба колена на койке и, наклоняясь над картой, отыскала кончиком карандаша Камышин на Волге. Приделала синие крылья размазанной, в ширину с ноготок, красной точке Камышина и проговорила низким грудным голосом:

— Вот где самый главный для нас пункт! У Камышина... Вот отсюда пойдет новая Волга! Тут, смотрите, вот на этом месте будет устроена плотина—заграждение старой Волги—знаете сколько метров? Знаете?—Она взглянула вверх—на потолок и, не найдя для сравнения подходящей высоты, резко обвела карандашом воздух.—Тридцать семь метров! Тридцать семь,—повторила она и, словно испугавшись чего-то, вдруг спохватилась:—Нет, хотя это был только один проект!.. Самый замечательный. А по-настоящему тут достаточна будет плотина в двадцать три или двадцать четыре метра. Это точно! Все на этом и сошлись... И правительственное постановление было такое же.. Это значит, что уровень Волги в этом месте поднимется вверх на целых семнадцать-восемнадцать метров, а то и больше—при половодьях... Здорово, нет?—она перетряхнула рукой по-мужски волосы на голове.

— Для плотины придется уложить целых два миллиона кубических метров бетона... Вот где нам придется перекрывать все нормы и темпы кладки бетона!—засмеялась она с тревожным волнением в голосе и на минуту смолкла.—Куда там наша экспедиция,—с усмешкой добавила она.—Это будет стихия покрепче, придется здорово драться... Но зато,—она снова сощурила гла-

за,—сорок миллионов квадратных километров засушливой площади встанет на сторону коллективного хозяйства страны. Все это будет орошать наша Волга. Сорок миллионов!

— Тогда о сусликах и о всякой там сельскохозяйственной вреди и говорить не придется,—подтвердил я, увлеченный ее рассказом.

— Куда там!—воскликнула она.—Еще бы! Тогда, брат, долой эту кустарщину и партизанщину!—захлебывалась она от накопившегося гнева и восторга.—Мы, орошая земли, будем одновременно и затоплять всю эту гадь... Это будет лучший навоз для засушливых степей. Главное—все тогда будет механизировано! У этого подпора, барража, значит, установится станция. Самая что ни на есть крупнейшая мировая светоэнергия... Будет стоять на станции один только дежурный—главэнергол—и пускать в ход любую турбину, не выходя вовсе из помещения пульта. Там, на конференции вычисляли, что сила этой станции будет равняться работе ста двадцати миллионов рабочих, работающих круглый год по семи часов в день... Каково, а? Так и будем механизировать все наше сельское хозяйство! Везде свет и свет! А затем—даешь электрический плуг! А как папаша будет удивлен... Знаешь, он мне никогда не верит, когда я с ним говорю об этом и о всяких там делах,—а еще в колхозе... Пусть посмотрит. Вот когда мы понастроим по всему Поволжью сотни заводов, фабрик и разных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. Я даже хочу поднять вопрос о постройке фабрики для промыслового использования сусличьих шкурок. Как по-твоему? Я ему тоже сказала об этом, однажды, на кургане... ну, моему помощнику, и он только ударился в смех. Мне самой даже стало смешно, и мы оба хохотали тогда... И главное, видишь, что он смеется не над моим предложением, а над своим незнанием или просто от неожиданных открытий... Закрадется там у него в темной еще голове какая-то светлая мысль и начинает его всего бурлить! Так и с сусличьими шкурками...

— О, хорошо, что я вспомнила!—она вдруг схватилась за карту.—Бедный суслик! Нужно было его посмотреть... Скулит уже, наверное, давно без меня!—Она собрала впопыхах карту с бумагами и тетрадями и, сбросив их в одну кучу у изголовья своей койки, быстро собралась уходить.

— Я погляжу его, а если хочешь—поглядим вместе!—сказала она, открывая дверь.

Мы вышли на палубу вместе.

Над рекой тихо звездачила ночь и ворошили облачные кудесья.

На Волге в такую ночь человеку может многое показаться необычным. Но разве к лицу мне, бывшему селькору и премированному ударнику редакции, воспарять мыслями к звездам, думая о встрече с Арсиваром?

«Нужно, чтобы ни кубометра живой воды, ни градуса ее тепла и света, ни тонны гумуса, ни метра высоты ее не пропадали даром в стране»—говорит он, самый большой недруг засух и суховеев, мги, помоха, хмары и пыльных бурь—товарищ Арсивар.

А Волга идет себе привольно, величаво, спокойно, в соленое болото Каспия-моря, не предвидя еще великих своих задач. А сколько еще тянет с собой по бассейну ручейков, рек, притоков и озер! Известных и неизвестных, больших и малых, плещущихся по нашему Союзу как растрепанная прядь волос, бесполезных, блудливых, ленивых и мутных—ручейков, рек, притоков и озер.

Необходимо, чтоб каждая река держала свою речь.

Необходимо, чтоб каждый ручей нес свой, расшитый звездами, кафтан.

Необходимо, чтоб все включились в помощь стране и выделили каждый свою лошадью мощь.

Пусть каждый из них несется как знамя, несется как план, как пар, как лампа Ильича.

По большевистским полям тогда не посмеет гулять вражеская мга. Суховей не сможет скупать урожай и разбазаривать наш фонд по кулацким рынкам ветров.

Хочется, чтоб пароход бил мачтой в небо.

Скорей, скорей, «Пролетарий», в Москву!

Я тоже хочу свою речь включить в речи рек, товарищ Арсивар. Я буду говорить от имени твоего.

Мы будем с ней держать речь на всю нашу страну—на весь речащий мир.

Мы идем, Арсивар!

— Вы все куда-то собираетесь уходить, товарищ Арсивар.— В темноте ко мне, смеясь, приближается девушка.

Ветер треплет ей волосы, рвет и распахивает платье на ней и мешает девушке улыбаться.

— Нет, товарищ Сула!—говорю я, перекрывая голосом гудение ветра в ушах.—Едва ли я сумею двигаться быстрее «Пролетария». Разве только в мыслях, да и тогда я иду с ним и... с тобой!

— А я ведь не одна!—она уперлась от ветра плечом в мое плечо.

— А с кем же вы еще едете, кроме как с сусликом?—недоуменно смеюсь я ей в лицо.

— Я еду от СВБ и краевого комитета ВЛКСМ.

— В Москву ведь?

— В Москву! В бюро по подготовке кадров квалифицированных борцов с засухой: изыскателей, землеустроителей, десятников по обводнению и орошению, бригадиров агромелиоративных и оросительных работ.

— Но кого же вы еще везете с собой?—настойчиво повторяю я свой вопрос.

Она еще плотней прижимается ко мне плечом и молчит.

Далеко-далеко впереди горит маяк, словно горизонт мигает одиноким глазом и дрожит. Там—впереди—происходит встреча двух рек: у маяка сливается Кама с Волгой, и у изголовья этих рек дрожит и слипается лампадка-маяк.

— Я везу с собой...—слышу я тихое дуновение ветерка—ее голос, но встречный порыв ветра бьет мне по груди спутанной прядью ее волос, и, прижимая ладонями кудряшки к ушам, она снова умолкает.

— Сула, перейдем на нос,—я беру девушку под локоть.—Там ветер оставляет самое тихое и укромное место...

Мы идем по палубе, как бурлаки, впряженные толстым канатом в баржу. Смеясь и прижимаясь друг к другу, мы с трудом продвигаемся вперед, и вдруг канат словно срывается с плеч, баржу уносит течение, и нас сразу обдает теплом и тишиной.

Мы садимся на носу парохода, как за пазухой у тишины, и молча устремляем взгляд к далекому мигающему маяку.

Мне хочется, чтоб эта лампадка упала в воду и погасла. (Стоит над рекой, как мутная слеза, и мешает смотреть вперед.)

В тишину врывается мерный всплеск воды.

Кашель, придававший ее девичьему голосу мужской упор, сегодня как-то мягче, но в глазах у нее осело какое-то страннсе смятение и смех, и где-то в глубине зрачков все ширится какая-то недосказанная мысль.

Я зажал ее руку в ладони.

— Почему у вас распалась ячейка СВБ?—сказал я, гладя ее ладонь ладонью.

Она быстро взяла руку из моей руки и, откинувшись резко головой, взглянула на меня исподлобья.

— Я вижу, что никому иному, как именно вам, снятся безбожные сны,—не то сердясь, не то шутя, но с вполне серьезным видом сказала она.

— Под подушкой у меня на самом деле лежит «Воинствую-

щий безбожник»... Газетка маленькая,—ответил я ей тем же тоном.

— Вы что—суеверны?—она недоброжелательно сощурила глаза на меня.

— Откуда же вы заключили?

— Откуда? Да он тоже был суеверный какой-то...

— Кто он?—переспросил я.

— Я же сказала! Ну! он!... помощник мой,—с раздраженным волнением сказала она и повернула голову в противоположную сторону.

— Я не понимаю мужчин: они, по-моему, еще не эмансипированы...—глухо протолкнула она слова в тишину через несколько секунд и, не поворачивая головы в мою сторону, порылась машинально во внутреннем кармане куртки. Вытащила оттуда мелкую мятую тетрадь и, зажав ее между колен, стала осторожно листать страницу за страницей.

Это были «Походные записки», испещренные всякими замечаниями о флоре и фауне «поля своей деятельности». О целебных свойствах степных лекарственных трав. Обо всем виденном и слышанном в степи. Мысли, связанные с практическим водительством отряда и системой экспедиционной работы в поле. Запись о том, как был пойман суслик при луне, и о самой луне. Очерк, посвященный коню—перед восходом солнца и на водопое. О редкой дикой сайге, захваченной отрядом живьем, и о передаче ее в родной палимовский колхоз на освоение и воспитание. Сводка о выполнениях и перевыполнениях плана и об юго-восточных ветрах, выедающих глаза. Тут же были карандашные заметки о методах практической борьбы с дрофами и саранчей и достижениях опытной станции по травопольному севообороту с изысканием засухоустойчивых культур.

Отдельно был вшит в тетради материал о межкраевой комсомольской конференции в Саратове по борьбе с засухой. О вызове двухсот тысяч комсомольцев засушливых областей Казахстана, Средней и Нижней Волги—дать полям Заволжья влагу...

Вдруг из какого-то угла тетради высунулась и упала одна помятая записка. Девушка опередила мою помощь и быстро подхватила бумажку с палубы у своих ног. Скользнула взглядом по моему лицу и торопливой рукой убрала записку в гущу бумаг. Затем снова отыскала ее и, не находя места, куда припрятать, разорвала на клочки и выплеснула их через борт.

Ветер подхватил клочья вверх и понес их по палубе. Девушка поднялась со скамейки—из тишины палубы и, прижав к груди тетрадь записей, проводила глазами клочки, уплывающие по ветру.

— Мне казалось, что у вас нет лишних записок,—сказал я девушке, когда она снова села на скамью.

— Это было последнее письмо мордвина ко мне,—сказала она, складывая на коленях тетрадь.

— А где он сейчас?

— Где? Я не знаю... Он должен был ехать...

— В Москву?

— Да, на этом пароходе...

— Он должен был явиться в Бюро?

— Нет... да, со мной...—замялась немного девушка.

— Он был бригадиром у вас?

— Он выучился грамоте раньше всех других в отряде...— сказала она не торопясь, будто сговариваясь с кем-то третьим, присутствующим где-то за окном или за дверью каюты.—Он вообще весьма интересный парень! И на ликбезе шел первым... А на четвертый месяц подбросил мне на кургане синий корешок тетради... Тетрадями нас снабжал крайком. Но ему удобнее было написать так—именно на синем корешке. Он вывел на нем крупными каракулями наши имена—мое и его, а вокруг имен развел всякие узоры—вроде колес и листочков полыни... Я его вообще вначале не замечала у нас во время работы в поле, а он — я помню хорошо — как только в первый же раз крикнула с лощади на него—из-за его неосторожного обращения с аппаратом,—улыбнулся мне в ответ и полюбил... Я сразу заметила это, но не оглянулась тогда и, стегнув коня, ускакала в степь. А я ведь сидела на его жеребце! Он сам его привел в порядке внутренней мобилизации из своего захудалого мордовского колхоза для экспедиции. Но ездить на нем—ездила я... Он не возражал! Да и вообще он был мало разговорчив. Нет. Не то, что не «разговорчив», а просто никогда ничего не говорил. Слушает всегда и молчит... Его и считали в безбожной ячейке «божьим молчуном», но смеяться над ним однако никто не смел. А ребята у меня в отряде были прямо во! Христу кафтан рвали на лету!.. Каждый разоблачал бога, как умел... А я-то—тут как тут: со всякими дарвинами в руках... Все это между дел. Без навязки. Потому и официальной ячейки не сколотили. Так и написали об этом в центральный орган СВБ, но там ребята, видимо, не поняли моей политики... Мы подходим к маяку,—она вдруг кивнула вперед.

— До маяка еще далеко, а о вашем «божьем молчуне» я бы хотел послушать еще,—сказал я ей, вымерив взглядом в темноте ее глаза, устремленные на далекий маяк.

— Послушать, а для чего вам?—она, будто смущаясь, склонила голову и затем улыбчиво прокралась глазами ко мне.

— Он тоже как-то особенно умеет слушать, словно не ушами, а глазами. Вот вы тоже: иногда смотрите точно так же... Вы посмотрите на себя в зеркало. Забавно как!—она весело выпрямилась.

— Однажды я видела, как он брился, наклонившись у берега над болотцем. (Мы это болотце высушили впоследствии.) Видимо и он тоже заметил меня и целую потом неделю не показывался на глаза. А потом явился снова обросший... Суеверие, что ли?—с легким надоумением она пожала плечами.

— Я уже вторую весну провожу в Бузулуке. В первую большевистскую его еще не было в отряде.—Голос ее вдруг задрожал. Она передернула плечами и смолкла.

— До тех пор на кургане,—снова заговорила она через некоторое время,—я только составляла свои заметки и до заката уже успевала их заносить в тетрадь... С керосином у нас был перебой. Трудно так,—в штабе! Но это ерунда. А потом, каждый свободный вечер со мной сидел мой помощник... Это продолжалось... Ну это все же не так часто. А вообще я сразу привыкла к нему. Я привыла, как... Нет! Он был какой-то молодой, но с дедовскими понятиями. И он страшно терялся на ликбезе и краснел. Он очень хотел знать все... Однажды вечером,—девушка придвинулась ко мне на скамье и положила мне руки на колени,—это было очень как-то интересно. Он меня попросил прочесть, что я записала про него в своей тетради. Я выводила карандашом его лицо... Так просто! Я взяла его за руку и, всунув в его пальцы карандаш, стала водить по рисунку...—девушка резко откинулась назад.—Такой он был забавный. Как ребенок. Чудак! Потом я ему сказала... Нет, сначала он мне сказал: он сказал, что написанное—на него вовсе не похоже. Я сказала, что это похоже на будущего его ребенка...

Девушка, спохватившись, быстро подняла руку и, будто поправляя спустившиеся за ухом волосы, незаметно прикрыла локтем лицо.

— Когда в ту ночь мы сошли с кургана, он мне предложил поехать в его деревню—обвенчаться. Вот чудак!—у нее треснул смехом голос.—Обвенчаться!.. Ведь у нас столько еще работы впереди, а вы, вот все с отцовскими правами. Как будто необходимо повторить жизнь—все с самого начала! Мы должны жить, а государство—учитывать. Я же—не государство, а он настаивал... Он был парень сильный и честный, но я его толкнула в грудь и со смехом побежала к штабной избе. Через некоторое время я, запыхавшись, оглянулась назад. Было темно и тихо кругом, и когда я пошла обратно, то увидела, что он лежит на том самом месте, где и упал, зарывшись головой в локти...

Прямо так!—она, волнуясь, передразнила парня и затем спокойно добавила:

— Я подобрала брошенное рядом ружье и пошла в штаб. На другой день парень не вышел на работу. Меня в поле сопровождал другой помощник—наш прораб и самый маленький из отряда—«партизан Зорька». Так мы звали его у нас... Но через неделю на нашем обычном месте, на кургане, я увидела вдруг выдолбленную на камне мою фигуру. Контуры фигуры были туго притоптаны землей, а под изображением стояли выцарапанные на камне наши инициалы: «И КА от Я КУ». Это означало мне смерть. Утром в штабе я созвала ячейку. Стоял вопрос о выборе делегатов на межкраевую конференцию—в Саратов. Я выставила и его кандидатуру...Тут же было решено—возбудить вопрос о передаче в комсомол и всей его бригады. Вечером делегация в составе семи человек должна была выехать в Самару и сесть на первый отходящий вниз пароход. Он взял мандат и вышел из штаба, не оглянувшись. Перед выездом, сознаюсь, немного даже взгрустнулось: как-то трудно стало расставаться с ребятами—с моим отважным степным отрядом. В особенности со стариком с палимовского колхоза, который часто навещал нас во время работы и бесперебойно снабжал отряд всяким провиантом, фруктами и забавными поверьями. Хотелось на коленях пройти по степи на прощанье, но надо было спешить... Ну, все равно! Я вам все, все говорю!.. Свою рабочую рубашку и штаны я оставила в подарок моему самому любимому из отряда—маленькому «Зорьке». А в Самару мы выехали на лошадях рано утром. Было замечательное утро! На конференцию в Саратове явились даже представители науки из ленинградской сельскохозяйственной академии. Два молодых профессора делали доклад о задачах молодежи в борьбе с засухой. Немецкий профессор делал доклад о борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Я выступала с содокладом о сусликах. За эти три дня конференции я нигде не встречалась с моим помощником... Только во время моего содоклада с показателями кто-то из глубины подал мне реплику с места: «Восемьдесят четыре». Поправил. Голос был похож на его... Очень похож. В конце конференции было постановлено выделить тысячу комсомольцев и колхозников, чтобы пропустить их через двухмесячные курсы в Москве для подготовки кадров по борьбе с засухой и вредителями. В число выделенных от нас в первую очередь попал и мой помощник. Вечером в тот же день, садясь на этот пароход, я увидела его на пристани. Он должен был ехать с нами на «Пролетарии»... Я окликнула его. Он не видел меня. Он был в своей обычной куртке, и было похоже, что парень на пристани подстерегал

меня, как суслиху у обочины. На мой зов он вдруг встрепенулся всем телом и стал шарить глазами и ушами в противоположной стороне. Дул ветер. На пристанях всегда дует. Тут же вдруг загудел и пароход, и мы потеряли друг друга... Может быть, он и едет на этом пароходе вместе с нами. Он должен был ехать. Я его искала внизу.

Девушка вперилась взглядом в быстро приближающийся к нам горизонт и рассеянно проговорила:

— У меня должен быть ребенок... Я беременна—три... нет, уже четыре месяца,—тихо просочила она голос в темноте и с осторожностью серны глянула в мою сторону.

— Он ничего не знает... Быть может, и не ждет этого... Да, он вообще мало успел освоить у нас в отряде новую жизнь... Где уж тут, в степи. Но в Москве мы с ним непременно объяснимся—по-доброму. Он должен притти на подготовительные курсы, или встречусь с ним в редакции. Я раз посылала в «Комсомолку» его фото-портрет с подписью—как примерного бригадира. Он об этом, разумеется, не знал, и газету все время носил с собой на груди... Он до сих пор еще уверен, что в этой газете сидят люди, которые видят все с расстояния и отмечают на бумаге всех, кто хорош и кто лодырь... где плохо и где хорошо! Чудак-парень!

Она вскинула широкие рукава своей куртки и громко расхохоталась.

Мне не хочется сказать девушке, что я видел парня на пароходе, у дверей ячейки. Это был он: он тоже, значит, едет вместе с нами на «Пролетарии» в Москву.

— Смотрите, как близко маяк!—указал я ей на широко мерцающий на реке луч лампадки-маяка.

Она быстро срывается с места, и мы оба становимся на носу, против флагштока.

Пароход вдруг делает рывок плечом и, грузно наступив колесами на лампадку, становится посреди течения.

Течение поднимается, как меч, и ударяет лезвием света в железный бок парохода. Пароход вздрагивает всем телом и, выпрямившись, снова кидается вперед.

Течение бьет его в нос и, расщепляясь на звонкие струи, с силой вонзается в корпус.

Палуба сгибается от боли.

На мостике крик. Со штурвальной доносится скрежет руля.

— Прохорыч, готовься!—громко восклицаю я.—Впереди наступает Кама.

— А где же? Которая она?—с наивным возгласом хватается она за мой рукав.

— Быть может мы все время, до сих пор ехали по Каме,— отвечаю я.

— Как по Каме?—она с возмущением и удивлением глядит на меня в упор.

— Скажи, Сула: в чем провинилась река Кама, что она так преждевременно кончает свое существование на территории Татарской АССР, вливаясь в Волгу янтарной водой и сразу теряя затем свое лицо и доброе имя Камы? По утверждениям многих исследователей, Кама по своему водному бассейну ничуть не меньше Волги, если только не превосходит даже ее. Так почему же она стала «мачехой-рекой» у своего старого хозяина? Или только потому, что «матушка-Волга» известна еще за пять столетий до рождества христова? А может быть великий Геродот под именем реки Ра подразумевал именно Каму? Кто тому свидетель, скажи?

Сула безмолвно уцепилась за мой рукав и большими глазами, отражающими свет маяка, смотрит вперед на реку.

— Ведь Кама,—с жаром продолжаю я свою речь,—известна еще с тех пор, когда по ней в древнюю Грецию шли хлеб и самоцветы. По ней лилось стекло и золото с Урала, шли меха и леса из Сибири. По ней же пролегал первый торговый путь из Персии—через Армению и Грузию, из Аравии, Индии и Афганистана. Римляне, византийцы, персы и арабы, скифы и сарматы усеяли ее берега древними сосудами, монетами и оружием. Смотри, Сула, с какой силой вливается она в эти безвольные бедра Волги и заполняет собой все ее русло.

Кама наступает со всех сторон.

Сила падения реки стремительно относит нас на юго-запад.

Волга отклоняется вправо.

Волга отступает, Сула!

Больше нет Волги здесь.

Здесь командует Кама—окно в Северо-восточный край.

Пусть гаснет старая лампадка-маяк!

Дорогу Каме!

Отсюда открывается Кама-Печорский водный путь и выход на великое Приуралье и богатейшую Сибирь.

А сколько лесу, радия и нефти, хлеба и стали понесет на себе Кама-река в дар трудовой стране! Через Индигскую бухту она вольется прямо в океан. Дон возьмет направление Камы: Печора—Кама—Волга — Дон. От Белого до Черного моря пойдет единый Камо-путь.

Ура-а-а!

Пароход напрягает последние силы, и команда, выстроившись в ряд, готовится к великой встрече рек. Здесь сливается Кама с Волгой, и у изголовья двух рек дрожит и бьется свет маяка.

— Поднять флаг! — слышен с капитанского мостика приказ.

Команда разделяется надвое. Двое, отделившись от команды, закрепляют на мачте флаг и поднимают его вверх.

Пароход делает новый рывок.

С головы у него срывается чалма дыма и, развернувшись в воздухе, тяжело сползает с бортов в реку. На палубе становится светло, как перед утром.

Голос капитана звенит.

Синее лезвие луча, словно оттачиваясь течением на ходу, быстро приближается к пароходу.

Слышна команда.

Тишина.

Флаг взвивается алым крылом и, словно в когтях, уносит вверх флагшток. Флаг уносится все выше и выше. Флагшток достигает звезд. Раздвигает мощно облака и одним взмахом крыла сметает вниз всю позолоту неба.

С неба кубарем катятся звезды и заполняют собой до краев русло и течение реки.

Сабля лампадки становится тяжелой. Она опускается все ниже и ниже: ложится на уровень палубы и кормы.

Флагшток проводит крылом по луне и, сняв с нее покрывало — лунь, рвет его и роняет. С неба бесшумно несутся хлопья лун и бесшумно, ровно опускаются в воду.

Сабля блекнет вмиг и мутной ржавчиной погружается в реку. Снова всплывает — в последний раз — узким лезвием света, и вдруг река вздымается, как паруса. Берега бегом уходят в горизонт. Впереди, светлея, щирится вода, и пароход важно вступает в новый город.

Кругом гладь и неботищь.

Среди тишины встают громадные круги электрических ламп. Круги ходят друг за другом в ряд и поют глубоким речным голосом. Меж рядов теснятся невиданные дома, и окна у них отсвечивают разноцветными песнями. Из глубины песен встает партер труб и, обвив длинными мягкими лапами дыма звездные сосцы неба, словно на цыпочках слушает приближение чьих-то шагов.

Я оглянулся: девушки не было со мной.

Я бегом пустился к каюте звать ее.

В каюте не было никого. Только над ее койкой трепетало

на стене отражение света реки. Среди окурков на столике лежала знакомая тетрадка с надписью. «Встречное»...

Пароход стоял на последней пристани по Волге, и пассажиры спешно высаживались на берег.

Сегодня уж третий день, как я в Москве.

Обегал все до одной редакции в городе, но нигде, ни в одной редакции не смогли сказать мне, что видели ее.

Товарищи редакторы! Комсомольцы! Ударники! Все!

Запомните:

Она в рваной куртке. Глаза у нее большие и полные фосфорного света. В руках—клетка с сусликом и портфель записей по борьбе с засухой. Сама она—загорелая вся и пахнет мятным сеном. Голос у нее низкий, грудной и слегка надреснутый. Она, товарищи, беременна.

Если встретите такую девушку в редакции или где-нибудь, то задержите напременно ее у себя.

А я пока пойду стучаться к товарищу Арсивару.

Он живет на берегу реки, в старом большом особняке, с широчайшими окнами в свет. Но двери его дома двойные и дубовые, и стук мой не доходит до самого верха, где он сидит и занимается—день и ночь—проблемой засухи и воды.

Мне необходимо к нему достучаться.

ЦЕХ КОМСОМОЛИИ

Растет молодой комсомольский цех
На нашем заводе,
в бурливой токарной.
Там есть комсомолец.
Он с виду, как все:
Хороший, веселый парень.

Мы вместе работали раз—во второй.
Он—токарь большого разряда.
В работе казался ленивым порой,
Но в срок выполнял наряды.

Он словно привык к боевому посту,
В борьбе за детали спокоен и точен.
Включил самоход... И уселся на стул,
Как раньше садился усталый рабочий.

Он видел: резец равномерно скользил
По чистой поверхности вала.
Он слышал знакомый станочный язык,
Журчанье стружки, скрежет металла.

Я помню, программа мертвела в цехах,
Менялись походки, движения, взгляды,
Но парень стоял и зевал у станка,
И стул равнодушно пристроился рядом.

Растет молодой комсомольский поток,
На нашем заводе,
в бурливой токарной,
Для новой работы
включаем, как ток,
Почин сменно-встречного плана.

И вот премирован парнишка один,
В борьбе за программу спокоен и точен.

Недавно в бригаде. Уже бригадир.
Большого разряда рабочий.

Парнищка работал вчера во второй,
В полсмены он дал превыщение плана.
Он видел, наш цех пошел вверх, по кривой,
Он чувствовал мощь нерожденного крана.

Он видел: резец, пожимая плечом,
Проходит по чистой поверхности вала.
Казалось, тяжелая сила течет
В контрольные цифры октябрьского плана.

Он видел уральских ребят на лесах.
Без кранов работа на стройке заснула.
Забыл про буфет. Не хотел отдыхать.
И рядом с ним не было стула.

Растет молодой комсомольский цех
На нашем заводе,
в бурливой токарной.
Там есть комсомолец.
Он с виду, как все:
Хороший, веселый парень.

Он в мелочах видит большую борьбу,
Наш труд выливается в новые формы,
В упорной борьбе мы даем к Октябрю
Сверх плана четыре ударных мотора.

Могучие годы, дни и века
Мы строим в станочном гуле.
На наших заводах, в знакомых цехах
Рождаются, крепнут новые люди.

Г. ТАРПАН

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Горнист сыграл «большой сбор» и в ответ ему зазвенел док. На канлодке «Красная Грузия», в проворных руках краснофлотцев, тысячеголосым хором залились молотки, обивая ржавчину. И вперегонку с оглушительной их дробью, сглаживая пропуски в наслоениях старой краски, заерзали по железу стальные щетки. Далеко в сторону отлетали куски грязи и плесени вместе с ракушками, за время походов плотной корой вросшими в днище. Ремонтный день звенел ударным напряжением.

Машинист Курносый, он же секретарь комсомольской ячейки, хозяйским глазом оглядел гребной винт, подскоблил, подчистил и, удовлетворенный осмотром, облегченно выдохнул:

— Сработано неплохо.

Угрюмо чернели открытые нефтяные ямы, в затемненной глубине трюма копошились краснофлотцы, освещая себе путь ручными электричками, шланги и провода запутали проходы, мешая нормальному способу передвижения. Железная коробка корабля грохотала, звенела и дышала зноем.

Перепрыгнув через бухту троса, Курносый подошел к приятелю Чижу, занятому чисткой клапанов, и хлопнул его по плечу:

— Ну что ж, айда в котлы, нужно проверить воздушные трубки.

Смахнув рукавом грязные ручьи пота и заодно прочистив нос, Чиж откликнулся:

— Погоди, дай передохнуть. Сам знаешь,—человек не машина.

— Ясно, кто спорит,—согласился Курносый, — не машина и не гвоздь, а бери выше—ударник, ежели в нашем положении.

Чиж задумчиво ковырнул пальцем воздух и вдруг сорвался заливистым хохотом:

— Ха-ха, ну так отпаял! Хотел прямо в дамки, ха-ха...

— Ты чего поехал,—ухмыльнулся и Курносый, зараженный его веселостью,—небось пружина лопнула?

— Да как же, — продолжал хохотать Чиж,—был я вчера в мастерской, мурыжил шайбочку. А тут вваливается Шатунов и прямо на верстак какой-то сверток—рраз!.. В чем дело, спрашиваю? «Да вот, говорит, месяца два пыхтел по-ударному,

выпиливал, паял, старался во-всю. Приношу сейчас механику, и что же ты думаешь? Поглядел он, повертел в руках и— обратно мне, говорит: катись к богоматери, зря затратил время. Почитал бы книжечку про технику, там все в готовом виде...» И действительно, показал в альбоме чертежи. Так вот же гад! Ха-ха-ха!

Курносый в недоумении пожал плечами:

— Большой вопрос, кто из вас чудак. Я не вижу ничего смешного. Ведь он хотел, как лучше.

— А я разве против? Пускай изобретает на здоровье. Смешно только, что два месяца потел и все по глупости. Может и через газету прописался, как ударник.

— Ты тоже—гусь. Я тебе о котлах, а ты отделался анекдотом и в кусты.

— Я в кусты? Ну это брось, товарищ. Сработаю не хуже твоего, ручаюсь,

— Ручаешься? Не хуже?

— Пятерик!

— Давай!..

Хлопнули по рукам, одновременно взглянули друг на друга и молча протиснулись в котлы.

В перепачканном прогарном платье, вымазанный до ушей глиной и накипью, то боком, то лежа на спине, Курносый возился в середине котла, время от времени выставляя из горловины голову, чтобы глотнуть свежего воздуха. В одну из таких вылазок он постучал в котел номер два и крикнул:

— Васька, ну как у тебя с трубками?

— Сменил сорок восемь,—прогудел Чиж, с трудом протискиваясь из горловины,—запарился, нехватает воздуха, а то ничего, можно мириться.

— Держись, обгоняю,—довольно чмыхнул Курносый:—я уже сменил пятьдесят четыре и к отбою надеюсь пощабашить.

— Пятьдесят четыре?—Чиж удивился и задумался. В его голове эта цифра никак не укладывалась. К своей выработке в тридцать восемь трубок он и так прибавил десяток, но все-таки выходило, что приятель обгоняет. И ныряя снова в котел, проворчал:—Наверное, хочет через меня шагнуть в приказ, чтоб получить благодарность. Ну погоди же, будешь париться...

Сбегая по трапу, механик на ходу крикнул:

— Ну, как дела, товарищи машинисты? Дня два повозитесь? Может послать подмогу?

Курносый вынырнул из котла и, смахивая с лица грязь, отрапортовал:

— Товарищ механик, мы с Чижом на-пару, без подмоги. И к отбою постараемся закончить.

— Г-га, к отбою,—пробулькал Чиж из котла, прочищая залепленные грязью глаза и рот,—постараемся, товарищ командир.

Механик хотел приветливо махнуть рукой, но остановился на полдороге,—головы скрылись и лишь звонкое поскрипывание металла показывало, что работа продолжается.

«Боевые ребята, с такими работать—одно удовольствие»—определил механик, направляясь с докладом в кают-компанию.

Чиж возился с трубками, торопливо развальцевывал, прилаживал, паял и беспокойно ерзал на месте, мучаясь над вопросом: «Неужели Курносый обгонит? Скандал не в самом обгоне, а в буксире. Чего доброго, пропустит заметку в стенной газете, а может пошлет и в печатную. «Красный Черноморец»—газета боевая, поместит заметку обязательно. Как пить дать. И все прочитают, в том числе и Дуська. Вот бы изобрести что-либо для ускорения дела, это да...»

У Чижа—давнишняя мечта сделаться изобретателем, и простое напоминание об этом дало его мыслям новое направление. Рещил: «Главная задержка в паянии. Ну что ж! Придется сначала приладить, а после сразу запаять. И выгадаю время».

— Так-то, товарищ Курносый,—вслух размышлял Чиж, ворочаясь в котле,—провалился ты с буксиром, когда были в Сочи, провалишься и сейчас. Изобретательство, братуха, это не как-нибудь, это не компот из тараканов. А то, видишь ли, пугает! Ладно, ты меня буксиром, я тебя рационализацией. Ну что, выкусил?

Курносый внимательно осматривал трубки, заменяя негодные. Ремонт подвигался успешно. И не успели звуки горна возвестить отбой, как Курносый выбрался наружу, бросился к соседнему котлу, постучал в стенку и, склоняясь к горловине, крикнул:

— Ну, кореш, принимай кончика! Мой котел в порядке.

Но котел не подавал признаков жизни. Обеспокоенный молчанием товарища, Курносый постучал сильнее и снова крикнул:

— Да будет тебе, Васька, выходи!

Заглянув в горловину, Курносый вздрогнул от изумления: Васьки в котле не было.

«Переплюнул, сукин кот. Ну ладно, мы еще посмотрим,—решил Курносый, направляясь в умывальную.—Тут большой вопрос: кто кого... У нас часто увлекаются количественными показателями и забывают о качественных. А ежели соревноваться, то нужно по всем правилам. Так то...»

На флагманском крейсере сыграли зорю. Грохот пушки оборвал сиплое завывание сигнальных горнов и, отраженный гранитными скалами, лопнул в ущельях за Инкерманом. Маяк мигнул одиноким глазом и скрылся в сизой дымке, потянувшей с моря на берег. Ночь спускалась быстро, оголяя песок от любителей поплескаться в море.

После сигнала прошло не больше получаса—и засверкали тысячи огней морского города, эскадры. Серебристые блики от корабельных иллюминаторов легли на черной воде светлыми дорожками, заполненными игрой ночных призраков. Они живут, движутся, поют, кричат, скрытые темнотой, и пугливо прячутся за бортами шлюпок, попадая в широкую голубую полосу света, открытого дежурным прожектором. И тогда при свете пропадают призраки, а остаются люди, и у них под веслами играют бриллианты, смесь воды и огня в воздухе, горят и переливаются миллионами искорок, больших и малых, коротких и длинных, как горизонт.

Курносый встретил Чижа у двери кубрика и сразу налетел с вопросом:

— Ну, как твой котел?

По лицу Чижа промелькнула тень, но ответил он спокойно:

— О чем разговор? Мой—в порядке, дело привычное. Я собирался подать тебе кончика, да после раздумал...

— Ты мне? Ну, это слабо!

— Ладно, после потолкуем, а сейчас спешу...

Чиж хотел боком проскользнуть мимо Курносого, но не успел и недовольно поморщился.

— Ну, чего привязался?

— Э-э, браток,—усмехнулся Курносый, хватая его за рукав форменки,—да ты никак торопишься на свадьбу. Даже побрызгался одеколончиком.

— Говорю тебе русским языком, спешу, некогда,—Чиж смутился и покраснел.—Обещал быть к семи часам, а теперь вон сколько.

— Да ладно, мне не убыток. А все же, позволь поздравить, ежели серьезно. Рад за тебя.

И Курносый протянул приятелю руку. Чиж торопливо ее пожал и как-то боком, пряча глаза, проскользнул мимо товарища. Курносый поглядел ему вслед, качнул головой, обернулся к морю, будто призывал его в свидетели и подумал:

«Врезался в Дуську по самые некуда. Тут никакой буксир не выдержит. Да это все житейское, пускай, а что дважды опоздал с берега, тут пострадает, как пить дать. И еще хуже, что

комсомолец, плохой пример. Поговорить бы, так ведь пробовал, а получилась проблема на гоп с покрышкой. Да, дела...»

Курносый вспомнил сочинскую историю и захохотал. И было над чем смеяться. Объявив себя противником женского сословия, он тогда больше двух часов провел в городском клубе, выполняя задание ячейки. Волнуясь и жестикулируя, он с увлечением доказывал комсомолкам, что «чем крепче будет смычка с шефами, тем больше мы поднимем боеспособность Красного флота»... Доказал, ушел и всю ночь бродил с приятелем Чижом. А после оба единогласно утверждали, что жизнь на берегу куда опаснее, чем в море, даже во время шторма.

— И вся беда в том, что нет другого выхода,—сказал при этом Чиж:—как рулем ни крути, всегда прикрутишь к берегу.

— Фактура, братики — подтвердил и Курносый.—Должен покаяться перед честным народом: взял я Чижа на буксир, а сам не выдержал. И все потому, что такой взгляд; спереди пузыри, сзади фортепьяна, идет,—наводит прожектора. Эх, и не жизнь, а чистый паровоз,—прет без остановки. Припрет на станцию, сгоряча не разберешься—не до этого, а после.., и до чего же противно на себя глядеть! Природа, чтоб ей...

Многие ходили на берег и потому не посмеялись над Курносым, но все же поспорили. Обычный спор насчет «проблемы пола» краснофлотцы подкрепляли примерами, доказательствами, прыжками по палубе и дружеским похлопыванием по спине, с добавлением:

— Эх ты, браток! Прошляпил...

Странное поведение Чижа и его смущение при разговоре натолкнули Курносого на мысль: «Дай-ка проверю, что сделано у него с трубками?»

Вооруженный инструментом и электричкой, Курносый забрался в котел и занялся тщательной проверкой. Вылез он оттуда грязный, но довольный результатами.

— Ну, как готовность, товарищ?—взбудораженный механик влетел в машинное отделение и привычным жестом схватился за регуляторы.—Я вас искал четверть часа, командир требует доклада о положении. Получено срочное задание...

— У нас в порядке, товарищ механик,—доложил Курносый:—можно разжигать топки.

— Прекрасно, так и доложу.

Осмотрев котлы, механик побежал вверх по трапу. После его ухода не прошло и пяти минут, как тревожно звякнули звонки. Аврал поднял на ноги всю команду. По приказу штаба флота канлодке дали четыре часа на подготовку к походу, в 24 часа

корабль должен выйти на большой рейд, а в 05—пройти боновое заграждение.

Часть команды была на берегу, остальным пришлось понатужиться. Торопливо метались тени в машине, в кочегарке, у орудий. Ревизор пополнял из склада походный запас. К правому борту подвели баржу с нефтью. Все работы проходили одновременно, с расчетом поскорее привести корабль в боевую готовность. В спешке краснофлотцы перебрасывались короткими фразами:

— Что случилось? Куда идем?

— Говорят, в Батум. Писарь слышал от...

— Все на тали шестерки! После поговорим!—крикнул где-то ебоку старшина. — Без паники! Спокойнее потравливай.

— Эй, крепче найтовь! Это что за узел?

— Катись ты, не лезь под руку!

— Вира по-малу...

И лебедка легко качнула огромный ящик, перебросив его с набережной на корабль. Машина застонала, и в воздухе потянуло запахом горелого масла. Из трубы повалил густой дым. Заканчивались последние приготовления к походу.

В 23.50 было отдано приказание—завалить трапы, и ровно через пять минут канлодка плавно отошла от набережной, оставляя за кормой порт и засыпающий приморский город. Слева по борту мигал светящийся бакан, справа—проплыли зеленые огоньки Павловского мыска. С большого рейда приветливо раскрылся голубой глаз прожектора.

В узких переулках Корабельной стороны всякому звуку тесно, а матросской песне и вовсе не разойтись. Переулки вьются зигзагами между Малаховым курганом и базарной площадью, разбегаясь в сторону Инкермана, Северной бухты и Цыганского туннеля. Домики сплошь низенькие, глинобитные, на одну квартиру. И только в этих домиках можно найти обомшелого матроса времен Крымской кампании, плававшего еще на фрегатах и клиперах.

Георгиевский переулок не отличался от других. Узкий, вытянутый в гору, с двумя фонарями в дальних углах на четверть километра друг от друга, он оживал только вечерами, когда молодежь возвращалась с заводов и военного порта. Было темно, тускло мерцали фонари, но темень—не помеха радости. Веселый говор рвался из разных углов, иногда вперемежку с буйной песней, родственницей морских просторов. Темнота оживала, как трава после дождя.

— Здравствуйте, Матвей Кондратьевич! — приветствовал Чиж деда, отдыхающего на завалинке.—Куда канат смотрит?

Дед был большим приверженцем морских привычек и строго их придерживался в домашнем обиходе. Комнату он называл «кубриком», остановку—«стоянкой на якоре», прогулку—«тралением», и все обороты речи строил так, будто он только что оставил борт корабля и через час должен снова туда явиться.

Приглашая Чижа присесть, дед крякнул:

— Да вот, вышел на мостик проветриться и неохота спускаться в трюм. Швартовься—подымим. Поджидал боцмана-мата Нагнибеду, видно прошел другим курсом, мористее. А я остался на мели.

— Это какой Нагнибеда? У которого черненькая Надька?

— Она самая, подружка моей Дуськи. Недавно тут протралила. Подхватила Дуську на буксир—и ваших нет. А нашумела, никакая гайка. Кричит: поднимай кливер, крепи шкоты, я за рулевого!.. И сразу смылись. Такой взяли ход, куда с добром.

— Стало быть, Дуська тоже смылась?—разочарованно протянул Чиж.

— С вечера поджидала, да подвернулась эта самая Надька, ну и тово. А ты не торопись, может подойдет.

— Ну что ж, подожду, дороже не возьмут,—согласился Чиж, опускаясь рядом со стариком.

Справа из темноты послышалось шипение, словно кто пытался запустить пластинку испорченного граммофона, а немного погодя, хриплый бас рванул:

...Подтяну покрепче снасту,
Подниму я паруса,
Полюбила меня Настя
За веселые глаза...

— Это капитан Кошкин,—ожил дед, подергиваясь на завалинке.—Вот теперь мы поплаваем. Настоящий крокодил. И родился, говорят, под банкой, когда матушка на ялике переправлялась с Северной стороны в город.

Дед кашлянул, прочищая глотку, и крикнул:

— Эй, кто гребет?

— Капитан Кошкин с фрегата «Восемь дьяволов»!—рявкнул бас из темноты.—Вышли лоцмана, готовь чалки, рас-с-пра-така-этакую его куриную котлету...

Квадратная фигура старого капитана колыхнулась в сумрачной темноте и застыла наподобие изваяния, распространяя вокруг сильный запах английского трубочного табака, сдобренный пивным перегаром. Заметив Чижа, Кошкин склонил

голову, будто желал получше его рассмотреть, и еще сильнее рявкнул:

— А-а, молодой юнга, смелый охотник за выдрами. Будущая смена для пивной «Голубой глаз». Привет, привет! Помню одного юнца, еще когда плавал на корвете «Витязь». Славный такой малец, с завитушками. И что же ты думаешь, Матвей Кондратьевич? Приходим мы в Гонолулу, не успели отдать якорь, пошли купаться и не досчитались,—отплыл Сенька в море на кабельтов, акула его и хряснула.

Дед поддакнул, протягивая капитану кисет с табаком:

— Да, можно сказать, поплавали на своем веку, попробовали водички, какова где на вкус...

— Но вот представьте,—перебил речь деда капитан,—раз дело коснулось вкуса, то скажу: пил портер с элем, виски с сельтерской, коньяк с нарзаном, шампанское с огуречным рассолом, но такого ерша, как готовит боцманмат Нагнибеда, трудно представить. И вот же, гадюка, не открывает секрета.

— А у нас на фрегате был кок Никишка, так вот же язва,— ввернул дед, хватая капитана за рукав кителя,—бывало, готовит для кают-компании, сам не попробует, а зовет меня, как специалиста по ершам. А ну, говорит, Матюха, протри глаз стопочке, какова на вкус, каналья. Дает чарку, а сам следит, наблюдает, чтобы проявил я отношение: поперхнулся, крякнул, либо еще что проделал непоходящее. Ну, я пропущу с разной посуды по стопке, на четвертой для фасона крякну, он и отставляет. Это, говорит, для капитана Верблюдина. Сам вовсе не употреблял спиртного, приходилось выручать. А капитан бывало... Шли мы как-то из Калькутты в Нагасаки...

— Какая же ваша специальность? — обратился капитан к Чижу.

— Изобретатель,—быстро ответил Чиж и смущенно поправился:—собственно, плаваю на канонерской лодке.

— А при нас такой специальности не было,—вмешался дед.— Поглядеть, до чего дошли люди, а наверное, не имеют понятия о парусном вооружении. Спроси любого изобретателя: а какая разница между крюйс-бом-брамселем и крюйс-брам-стеньгой, он тебе такое изобретет, что поневоле полезешь в собачий ящик.

Моряки пустились в воспоминания, каждый проплавал лет по сорок, было о чем вспомнить. Ожидая Дуську, Чиж слушал рассказы стариков и не заметил, как время скатилось к полуночи. Взглянув на часы, он торопливо начал прощаться:

— Сами знаете—служба. Опоздаешь на час, а волынки на пять суток.

— Как не знать,—подхватил дед,—плавал я на фрегате «Апраксин». Зашли мы однажды в Марсель, ну, честь-честью, взяли увольнение—и на берег. Захватило нас штормом, попали в одно заведеньице и отдали якоря. Сколько мы там проваландались, уже не помню. Протираю гляделки, мчусь в порт и... застыл от ужаса: нет фрегата. Ну, думаю, пропал, повесят за дезертирство,—знаю царские порядки. Изменник родине и всякая такая штука. Начал я тралить по набережной, спасибо, натолкнуло на старого приятеля с английского «Милорда»,—в Гамбурге как-то подрались, с того и подружили. Подхватил меня, обрадовался, лопочет: «Ду нот лук, камрэд».. Это значит—плохой у вас вид, товарищ... Куралесили мы с ним целый день, а к вечеру на четверке он меня доставил к фрегату. Оказывается, переменили место, а кораблей там тысячи, вот я и спутался...

— Для моряка главное—не падать духом и не теряться,—подтвердил капитан.—Вот со мной в Бразилии был случай...

«Старых «морских волков» не переслушаешь,—решил Чиж, сорвался с места и бегом направился в порт, безнадежно махнув рукой:—Эх, Дуська, Дуська!.. Хорошо еще, что корабль в ремонте и можно не бояться опоздания,—утешал он себя на ходу,—по крайности, можно наверстать работой в неурочный час...»

Мысль оборвалась внезапно, помимо воли. Взгляд скользнул по стенке набережной и, отражая внутреннюю тревогу человека, метнулся по сторонам. Канлодки не было. Опираясь плечом о фонарный столб, дремал портовый сторож, а внизу стенки равнодушно хлюпали волны, черные от электрических фонарей и ночной темени.

— Товарищ, а, товарищ!—окликнул Чиж.

— Чего там,—сонно отозвался сторож, глотая звучный зевок.

— Где канлодка, которая в ремонте?

— Которая? «Красная Грузия», что ли? безразлично переспросил сторож, поправляя на плече винтовку.

— Она самая. Вечером была здесь.

— Вечером здесь, а ночью на рейде, ничего мудреного. А тебе зачем? Отстал, что ли?

— Как отстал? Разве она ушла?

— Не ушла, так уйдет.—Сторож кашлянул, потянулся и вытащил кисет с табаком.—Ребята говорили, будто срочный приказ—ночью выйти в море. А куда пойдут—не говорят.

— Вот так штука. А как же с трубками? Разве можно с такой готовностью?

— Ну, начальству оно виднее.

— Как виднее? Да я сам не запаял трубок. Понимаешь! Потекут—пальцем не заложишь.

Чиж оглянулся, как бы в поисках выхода и забеспокоился:

— Нет, оставить невозможно. Я должен их разыскать, если не ушли. Слушай, товариш, нельзя ли раздобыть шлюпку?

— Шлюпку?—В раздумьи сторож поскреб затылок.—Как будто нет. Где ее взять? А то попробуй. Пройди к морскому госпиталю, там дежурят ялики, заплати три целковых и отмахают на рейд за милую душу.

— Легко сказать—три рублика, а где взять?—вслух размышлял Чиж.—Махнуть разве на Интернациональную, может там случится оказия.

— Раз не к спеху, можешь всю ночь разгуливать, погодка благодатная. Там отдохнешь, на пристани, и снова сюда катись. А там часом канлодка уйдет в море. Так, что ли?

Растерянный вид Чижа повернул мысли сторожа на другой курс:

— А ты, парень, не огорчайся, сходи к заведующему шхиперским складом, может что присоветует. Качай, вон в углу огонек.

Спокойный вид заведующего напомнил Чижу совет старика-капитана: «для моряка главное—не падать духом и не теряться». Чиж откровенно объяснил:

— Не запаял два десятка трубок, потекут в море, что с ними делать? Пахнет аварией, и нужно предупредить.

— А чего придумать? Корабль на большом рейде, не добраться. Хотя бы какая шлюпчонка, а то, кроме поплавков от старых гидропланов, под руками ровно ничегошеньки.

— Поплавки?—задумался Чиж.—Может отпустите парочку на прокат? Честное слово, доставлю в сохранности.

— Чудак-человек. Хочешь на поплавках, что ли? Барахла не жаль, бери, а свернешься, станешь пускать пузыри, не поминай лихом...

— И шкертики найдутся?

— Спрашиваешь....

Чиж подпрыгнул от радости и, насвистывая марш, бросился к поплавкам, рассуждая на ходу:

«Если на таких поплавках может держаться самолет, то почему человеку возбраняется. Утонуть не должен, а это главное...»

В 00.12 канлодка «Красная Грузия» проходила мимо брандвахты, по створу Инкерманского маяка. Заступив на вахту, Курносый вышел на щкафут и остановился, склонясь на борт.

Перед глазами медленно проплывали темные очертания берега, слабо освещенного внизу, у набережной, и залитого огнями вверху, в центральной части города.

«Эх, завалиться бы да всхрапнуть, а тут приходится отсобачивать вахту. Как все-таки устроено: есть категория, отработает семь часов—и свободен, а тут, как в котле, и днем, и ночью...»

Глядел Курносый на темные облики Северной стороны, и казалось ему, что видит он свою деревню,—такая же была она темная, когда оставлял ее перед отправлением во флот. Также сиротливо блестел огонек в крайней избушке, горланил петух, и тянуло издали запахом горелого кизяка.

— Не слышишь разве? Ходом, ходом!—крикнул сигнальщик Шатунов, дергая за рукав.

Курносый испуганно шарахнулся вниз, в машинное отделение.

«На вахте дрыхнуть? Да за такое дело в два счета к монахам. И тогда—прощай корабль».

Резкие звонки и звуки горна прокатились по верхней палубе, ворвались в кубрики, в трюмные отделения. Весенним грозовым дождем брызнула по кораблю тревога, она смыла сон и вернула бодрость. Вахтенный старшина метнулся по кубрикам с криком:

— По-о-дыма-айсь! Живее трогай!..

Первую секунду еще слышалось полусонное чавканье, но уже в следующую в воздухе замелькали ботинки, форменки, противогазы. Через две минуты кубрики превратились в пустыню, а на палубе застыли стройные ряды. У орудий, у аппаратов, у машин стояли краснофлотцы, чутко настороженные, сдерживая нетерпеливый порыв — броситься на борьбу с огненной либо водяной стихией. Вахтенный старшина доложил командиру, что в кубриках команды не осталось.

На флагманском крейсере мигнул клотик, ему ответили с других кораблей, заговорили ратьеры на подлодках. Со стороны казалось, будто на темном горизонте рождались и умирали звездочки, то робкие, голубоватые, то огненно-красные, клокочущие неизбывной силой.

Но вот на дредноуте вспыхнул огромный глаз прожектора, и в темноте заплясал длинный белый столб света, сшибая и перекрещивая лучи с других кораблей. По сигналу, в один миг, исчез морской город. Нет на рейде огней, вокруг—ночь, темная, южная. Лишь широкие лучи прожекторов то сливаются, то догоняют друг друга, просверливая в черном массиве ночи глубокие светлые колодцы.

Сигнальщик Шатунов схватился за поручни мостика и, ломаясь пополам, впился глазами в темноту пространства. Он почувствовал, как на голове явственно шевельнулись волосы. Луч прожектора скользнул по гребням волн, покатил к берегу и замер, будто удивленный неожиданной встречей. Шатунов увидел: по воде, как по крепкому гудрону, движется странная фигура, упираясь палками в воду, как в твердый грунт.

«Мерещится, что ли?»—подумал сигнальщик, нервно хватаясь за бинокль.

Но нет, в бинокль видно отчетливо: ослепленная лучом прожектора, фигура остановилась, тщетно стараясь увильнуть в темноту, но луч света не выпускал ее из своих цепких объятий. Человек упорно, толчками, стремился вперед, изо всех сил сопротивляясь мертвой хватке прожектора, и свалился как раз в тот момент, когда сигнальщик Шатунов крикнул:

— Человек за бортом!

Дежурные гребцы в один миг перемахнули в шлюпку и отправились на поиски утопавшего. И десяти минут не прошло, как он был доставлен на борт канлодки.

— Васька! Ты?.. Что за причина?—крикнул Шатунов, как только шлюпка привалила к шторм-трапу.

Чиж вымок и продрог. Мокрая одежда холодом сжимала тело, зубы непроизвольно выбивали дробь. С шлюпки выгрузили гидропланные поплавки. Указывая на них и приплясывая от холода, Васька с гордостью произнес:

— Вот, изобрел...

— Поплавки изобрел,—захохотали краснофлотцы.—А мы изобрели канлодку.

— Не поплавки, бросьте трепаться,—серьезно продолжал Чиж, не обращая внимания на смех,—изобрел водяные лыжи, вот что. Немного еще помозгую над формой и вопрос решен, можно будет на лыжах свободно ходить по воде, устраивать спортивные игры и мало ли чего.

Встретив Курносого у машинного отделения, Чиж смутился и, волнуясь, объяснил:

— Слушай, я крепко виноват, пойдем, доложу командиру, пусть отдает под суд. Я не запаял трубок в котле и ушел на берег. Корабль идет в поход, я не хочу быть виновников аварии, из-за этого спешил на корабль и так далее, одним словом, ты понимаешь. Идем, будешь свидетелем, а нашлепают, так мне и нужно, вполне заслужил.

— Если хочешь, то сходи,—согласился Курносый.—Командир видел, как ты брел по воде, когда осветили прожектором и еще сказал: «Всыпать бы ему по заднее число, чтоб не шатался

в неположенное время». Да, а про котел помалкивай, тут дело иное.

— Как иное? Виноват и все, пусть отдают под суд, заслужил...

— Погоди. Ты сознаешь свой проступок?

— Вполне осознал, но это не выход из...

— Да знаю. А ты вот скажи, как расцениваешь свое поведение?

— Не спрашивай. И на корабль рвался, чтоб загладить вину, да опоздал. А теперь котел выйдет из строя.

— Не выйдет,—спокойно закончил Курносый:—я трубки запаял после твоего ухода. Но в другой раз помни, как подходить к делу...

Разговор с командиром был очень короток.

— Объясните, почему опоздали с берега и каким способом попали на канлодку?—спросил командир, когда Чиж шагнул в дверь каюты.

— Часы подвели, товарищ командир, постараюсь исправиться,—доложил Чиж.—А на рейд прибыл на водяных лыжах, приспособив гидропланные поплавки.

— Находчивость моряку необходима, за это одобряю,—сказал командир в заключение,—а за опоздание с берега—три вахты вне очереди. Можете итти. Доложите механику.

— Есть, товарищ командир!..

Чиж сделал четкий поворот на каблуках и вышел из каюты. А встретив Курносого в трюме, молча пожал ему руку.

М. СКОРОХОДОВ

ЗЕЛЕНЬ

Весь двор наш
холодным и злым
огнем крапивы охвачен.
Ползут лопухи
да полынь
скучает
на розвальнях
тачек.

Тихие усики трав
в жирном
мазуте
слепились,
до осени сок утеряв
в налетах испуганной
пыли.

Но я потому и ударник,
что думаю обо всем.
Взращу под заводским
окном,
как взрыв из земли,
кустарник.
Взъерошенный
ветром,
расти.

Расплескивай тень...
Неужели
не в силах мы
изобрести
неувядающую зелень?

Стучи
в мое
звонкое
сердце,
кровь молодая моя.

На улицу—в плеске
    и в шелесте
зеленая влейся струя.
Накатывайся волнами,
Захлестывай наши дома,
Шурши,
    многолистный орнамент,
лечи мою грудь
    задарма.

А. МИТРОФАНОВ

ВАСЯ

Отрывок из повести «Изумительные похождения тов. Кунакова на заводе КАЗ 1»

...Из этого зала в девятнадцатом Кунаков с рядом других товарищей отправлялся добровольцем на фронт. Было тепло, но люди назябли в эту жестокую и голодную зиму. И председатель сидел за столом в романовском полушубке, застегнутом на все пуговицы, щупая время от времени карман, в который засунут был фунт хлеба. Кунаков поел незадолго до собрания воблы, страшно хотел пить, но стеснялся выйти за дверь: с минуты на минуту ждали докладчика и, кроме того, все на него, Кунакова, смотрели.

После собрания высыпали на улицу. Фонари не горели. Снег порыжел, разбитые ржавые трубы сочились водою. Кунаков нес знамя острием вперед, спотыкаясь и шлепая по лужам, с постепенно ожесточавшимся сердцем. Вдруг слесарек, председательствовавший на собрании, взял его за плечо. С крыши тянулись и срывались вниз мутные капли. Кунаков стоял и ждал, мигая от капель, мелькавших перед самым его лицом.

Слесарек откашлялся, пощупал хлеб в кармане и сказал:

— Песню!..

...Вот вспомнилось! Должно быть от волнения, которое он сейчас испытывал и которое напрасно старался умерить.

Комната постепенно наполнялась народом, принесли еще две скамейки и затерли Кунакова в угол. Он слышал запах коленкора за спиной (в углу стояли знамена); уборщица забыла ведро на эстраде, Ивушкин налетел с разбега на доску с расставленными на ней шашками, обжегся и уронил доску на пол.

Сердце у Кунакова билось все сильнее и сильнее. Чтобы скрыть свое волнение, он попробовал слазить за протоколами, но его так приперли к стене, что он никак не мог выдвинуть ящик.

Вошла Леся, что-то сказала ему, он ответил невпопад и некстати подумал, что Константин Карлович Довягло — чудак, но человек добродушный, с ним, пожалуй, сработаться можно.

С испуганным и радостным выражением на лице появилась Скворешина—девчонка, долго няньчившая в деревне чужих ребят, считавшаяся там «лишним ртом». Случалось, ее и бивали. Три месяца назад она поступила уборщицей на завод и добывала

теперь квалификацию, а недавно вступила в комсомол. Она растерянно огляделась и пробиралась в угол, к концу скамейки, беспомощно трогая пальцами опущенных рук колени сидящих. Усевшись, она осмелела и закричала:

— Собрание-то здесь будет, да? Решать тут будем, товарищи, а?

Секретарь комсомольской ячейки Каганец не мог упустить такого случая, он стукнул ей по лбу согнутым пальцем и сказал:

— Кричи громче.

Рука Скворешиной поднялась к его лицу.

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказала она, размахивая рукой.—Вот еще.

Народу прибывало все больше. Кунаков сердито сдвинул брови, вошел и занял место, против него Вася и вслед за ним сам директор—Невля Упасов. Кунаков сразу почувствовал к нему недоверие, в причинах которого ему трудно было разобраться. Между ним и Васей сразу возник незримый для других контакт. Кунаков исподтишка следил за ним взглядом, посерьезневшим от сознания собственной ответственности. Вася неприязненно жаждал общения. Он вынул из кармана холщевого своего пальто баранку и немного пожевал. Крошки горько шевелились в углах его рта. Потом он подстрелил закурить, дым тихо поднимался над его опущенной головой.

Засовывая руки в карман, Каганец прокричал:

— Что жена делает, когда мужа дома нет!

— Ох, ох!—сказала Скворешина влюбленно.

Лиственный уважал Каганца за работу и старался отучить его от озорства.

— Эй, стой, — сказал он свысока. — Ты что вопишь... секретарь.

— Читал,—пояснил Каганец, не вынимая рук из карманов.

— Читал ты, да!—с вызовом сказала Скворешина, покраснела, поднялась со скамейки и стала пробираться к столу за водой.

— Дорогу женщине!—вскричал Каганец, вперив белесые глаза в потолок.

— Лозунг,—сказал он, заметив, что усы Лиственного шевельнулись.

— Ты знаешь,—Скворешина опустила руку и посмотрела на пол, словно у ног ее ползал ребенок, за которым надо было прибирать.—Мы вот поместим тебя, мальчика, на черную доску.

Невля разоблачался. Он снял поповскую свою шапку, уложил на донышко ее перчатки, нежно, словно кланяясь собранию, освободил ноги от калош и с серьезностью, почти заду-

шевной, размотал шарф, повертывая из стороны в сторону солидную голову на толстой шее. Он был подчеркнуто спокоен, как опытный водитель, который провел не мало собраний, он посматривал на членов ячейки с благодушным сознанием своей правоты.

Глядя на него в упор, Каганец сказал:

— И так всю жизнь пешком на ероплане.

— Хватит тебе петрушничать,—сказал Кунаков неожиданно резко и грубо.—Откроем, товарищи?

По первому вопросу—о переходе на пятидневку и о постройке нового корпуса говорил Листвянный. Леся, склонив голову набок, соболезнующе, с легким презрением смотрела на его усы—она не могла забыть недавнего своего с отцом разговора.

Невля выслушал Листвянного—конечно, партийного товарища, конечно, рабочего и члена ЦКК (чего он вполне достоин)—очень кротко. Он одобрял его порыв к темпам, его энтузиазм, который, чорт возьми, помогает зрелой мудрости упасовской выдержанной тактики еще раз оглядеться и подумать со вниманием: прав ли он, Невля? Все эти крайности нужны, ибо в более высоких партийных органах вопрос будет всесторонне рассмотрен,—Невля плавно оправил пиджак,—и разрешен со всей большевистской деловитостью. И он улыбнулся, потому что даже о пятилетке Листвянный, казалось, говорил с хитрецой и свысока.

Его не особенно удивило и то, что Листвянного поддержали Кунаков и большинство присутствующих. За спиной Невли была, как ему казалось, вся мудрость и твердость ленинской партии, и, взглянув на знакомые знамена в углу, он, не торопясь, стал выставлять свои доводы.

— Кунаков,—сказал он,—по всей видимости, будет скоро моим коллегой. Боюсь, ему придется играть роль некоего двуликого Януса. С одной стороны, он будет представлять тот похвальный, но несколько нерасчетливый напор, одним из выразителей которого он сегодня является; с другой—ему, как доброму хозяйственнику (я надеюсь, он будет таковым), придется осуществлять то, что мы привыкли называть американской деловитостью при русском революционном размахе...

Тут Невля почувствовал, что ему хочется по инерции сделать для собравшихся сноску, как он это делал в своих газетных статьях: поставить звездочку и, перенеся звездочку вниз, приписать мелко — Ленин, том такой-то, страница такая-то и так далее. Но тотчас же он почти вслух рассмеялся над самим собой за эту ненужную журнальную добросовестность, с удоволь-

ствием найдя, что в нем есть здоровое чувство юмора, опытность и зоркость, и, проговорив еще минут с десяток, весело закончил:

— Ты сам знаешь, Листвянный, что за последнее время кое-где идет буза против руководства, против части райкомов. (На этом месте его речи Леся ушла, а старик в ватнике, помигав, положил ладони на колени и стал проникаться важностью происходящего.) Вместо того, чтобы работать, чтобы наступать по-большевистски, с реальных позиций, некоторые занимаются «теорией».—Он посмотрел на спокойные плечи Листвянного, который ехидно пригорюнился, слушая его.—Некоторыми горячими головами, которые предпочитают не работать, а трепаться, пущено даже крылатое словечко «оппортунизм», то есть, по-русски говоря, соглашательство. Давайте-ка, ребята, нажимать по-деловому, без болтологии.

Старик посмотрел на Невлю, он волновался. Достав листок бумаги, он насыпал в него махорки, но вспомнил, что курить на собрании нельзя, и, свернув папироску, спрятал ее в карман.

— Никак не можно,—просительно повернулся он к собранию, защищая Невлю.—Мыслимое ли дело?

Он больше уговаривал себя, потому ли, что ему самому на мгновение захотелось проголосовать против Невли, против этого умного и хорошего человека, который так заботился о производстве, что заходил в цеха поздно ночью. Когда Кунаков поставил вопрос на голосование, он сробел, вышел в коридор и, вынув из кармана папиросу, закурил. Собрания, привычные для других, были для него чем-то радостным и огромным, он стеснялся этой радости и, приписывая ее своей старости и глупости, боялся о ней говорить.

По коридору шел напевая Француз, и старик окликнул его.

— Эй, ты, Янус!—сказал он.

— Чего, чего?—спросил Француз сердито.

— Дела пошли,—сказал старик радостно и оглянулся на дверь позади себя.—Дела-делишки, брат. Во, брат.

Но он тут же испугался и стал курить, зачем-то выпуская дым в рукав.

— Все агитацию разводишь? — неодобрительно спросил Француз.

— Вали, вали, сматывайся,—замахал на него старик рукой, бережно прислушиваясь к шуму за своей спиной.

Из рукава его ватника, когда он открывал дверь, виновато шел дым.

Всю остальную часть собрания Кунаков воспринимал смутно. Было очень жарко, он снял пиджак и втиснул его между чьей-

то спиной и стулом. Старик открыл фортку, морозный пар, быстро клубясь, сердито холодил лица. Да и все прошло, как казалось Кунакову, слишком поспешно, он поднял руку с председательским звонком к лицу, щека его дергалась, и он поспешно сел, упершись подошвами сапог в чьи-то вытянутые ноги. Итак, его утвердили помдиректора. Он все думал, что ребята поторопились, отнеслись к вопросу несерьезно, забыли учесть нечто важное.

Вася, глядевший на него в упор, опустил голову, и красная его шея горбылем глядела из парусинного воротника—началось разбором его дело.

Выяснилось:

1. Вася три дня пьянствовал и не выходил на работу.

2. Встретив Невлю Упасова, директора, на заводском дворе, разговаривавшим с Лесей, подручным слесаря, он ударил его, правда не очень сильно,—только сбил шапку. Действия свои он объяснил тем, что ему не нравится упасовская «блудливая трусость».

3. Придя к Кунакову, старому своему товарищу, в завком, он кричал, что его, Кунакова, «купили», что он, Вася, рабкор и изобретатель и «вырвет с мясом свою правду».

— Придешь работать-то завтра?—спросил его Листвянный.

Вася молчал.

— Пропил кредит на мебель?—задал вопрос старик.

— Какой кредит, что еще,—сердито сказал Вася и посмотрел в фортку.

Кунаков потерянно почувствовал, что друг его в чем-то прав, он попросил:

— Объясни—как и что, чего бычишься?

— Мало тут попугаев без меня,—ответил Вася.—Пятьдесят штук, чего-нибудь шлепнут.

Высказались: Кунаков, Листвянный, секретарь комсомольской ячейки и трое из присутствовавших. Было внесено одно предложение: Василия Лихошерстова, члена ВКП(б) с 1928 года, имеющего строгий выговор за пьянку, из партии исключить.

— Кто за?—спросил Кунаков заносчиво.

Вася сидел и пересыпал из ладони в ладонь хлебные крошки. Первой поднялась над его согбенной спиной рука Ивушкина. Невля голосовал, поставив локоть на стол. За ними поднялись руки партийцев из цехов—слесарей, механиков, монтировщиков.

Было очень тихо. Вода, скопившаяся на подоконнике, бурно пролилась на пол. Вася вздрогнул, ссыпал крошки в

карман и злорадно посмотрел на Кунакова. Он набивался на жалость, рубашка, подаренная ему Кунаковым, была надета прямо на голое тело, рваная кепка торчала из кармана, он весь подобрался, подался вперед, и тогда Кунаков, морщась, медленно поднял руку.

Собрание окончилось, но люди продолжали толпиться между скамей.

— Иду на вы!—кричал Невля, озоруя, Листвянному.

— Так ты говоришь, что выдумали о соглашательстве-то словечко?—спрашивал его Листвянный.

— Теорией занимаетесь!—шутливо орал Невля.

— Эх, старик!—Листвянный снял куртку и оказался в мальчишеской ситцевой рубахе, очень не идущей к его вислым усам.—Мы с тобой в ссылке вместе чаи гоняли, а теперь здесь встретились. Старый оппортунист, как это мы встретились?

Он прыгнул вперед и крепко охватил его спину руками.

— Ага, ага!—тонким, проказливым голосом вопил Невля, запрокидывая голову и роняя шапку. Они возились, сдвигая скамейки и пыхтя. Слесаря, монтировщики и механики с любовью смотрели на них. Вася неохотно отступил в угол.

Невля шаркал подошвами по полу, придушенно хохотал.

— Здоров, дядя!—произнес один из монтировщиков.

Кунаков видел запрокинувшуюся голову Невли, выкатившийся его кадык и глаз, беспокойно-весело ищущий, где бы поудобней упасть. Невля обхватил рукой шею Листвянного, и оба они повалились на диван.

Кунаков вспомнил, как ругался он с Невлей из-за новых норм—свои люди, они так крыли друг друга, что рабочие, случайно заглядывавшие в контору, тут же со смехом уходили.

— Да, здоров,—улыбнувшись, сказал монтировщику Кунаков.

Вася бережно переступил через ноги Невли.

— Я извиняюсь,—сказал он, толкнув нечаянно Кунакова, и вышел.

Листвянный надел куртку и сказал старику в ватнике:

— Ты что ж, грач, как голосовать, так в кусты? Испугался?

Каганец подкрался к старику сзади и поднял его руку вверх, словно тот был не живым стариком, да еще бригадиром, а чучелом.

— Вся власть пролетариату!—сказал он, подмигивая Скворешиной.

Старик высвободил руку и внезапно набросился на Листвянного.

— Ты что на меня бас свой спускаешь?—произнес он, радуясь, что участвует во всей этой заварухе.—Мне наставление нужно, а ты Шаляпина разыгрываешь? Испугался! Меня теперь чорт не испугает, не то, что ты. Меня теперь хитро испугать.

Надев свое старомодное, перешитое из черной шинели, пальто, Кунаков поспешно вышел. По коридору он почти бежал.

Выйдя во двор, он увидел медленно шагавшего Васю.

Земершее, с высоко поднявшеюся луной небо сдержанно светило над крышами. На улице, в устоявшемся морозном воздухе, крепко проскрипели чьи-то шаги.

Человек на ходу убавлялся в весе, снег пружинил и подталкивал быстрее и веселее итти. Кунаков чувствовал, что каждая жилка в нем играет, и шел, напрягая икры.

Он нагнал Васю у ворот и остановил, толкнув его в спину. Черный лед под его ногами блестел мертво и гладко. Из трубы напротив выходил прозрачный дым, и отражение его переползало с крыши на крышу.

— Татарину продал мебель-то?—спросил вполголоса Кунаков.

— Роли не играет,—непонятно и скупо ответил Вася.

Кунаков стал деловитым.

— Ты... вот тебе десять талончиков, ты столовку-то навещай. Зайди ко мне, и я с тобой поговорить хочу. Застегнись, цуцик.

— Глядь, Турка,—сказал Вася и бросил талончики на землю.

Дыхнув в ладони, он запахнулся и пошел на улицу. Кунаков смотрел ему вслед, потом опустился на одно колено и подобрал талончики. Подняв голову, он снова стал смотреть. Вася уходил все дальше. Он подвигался медленно, хотя не мог не замерзнуть в своих рваных ботинках. Снег жарко скрипел под его ногами.

Да, его, Кунакова, выдвинули поспешно. Им что—лишь бы отбояриться, иди вот теперь завтра в контору, садись за стол, командуй.

Отражение дыма, вывертываясь из-под трубы, скользило и переползало по крышам, скрип тянулся, тянулся и, наконец, замер.

«Какая демагогия»,—глядя на снег, подумал Кунаков.

Он перевел взгляд на свои растопыренные пальцы и опять рассердился на то, что ему хочется бежать к станку и работать (а это не выход), рассердился на ребят, которые бросили его и не приняли во внимание его доводов.

Он пересек двор и минуту спустя быстро шел, почти бежал по цехам. В конце коридора перед ним мелькнула поповская шапка и тяжелая шуба Невли.

Он переждал, пока Невля скрылся, ощущение неправоты этого человека вспыхнуло в нем с большой силой. Чем же все-таки доказать и подкрепить свою неприязнь к Невле? Значит, мало того, что его считают хорошим парнем, значит мало шуток, мало того, что он пережил на гражданской войне, мало простецких разговоров с товарищами? Значит, нужно что-то более крепкое, чего в нем нет?

Он шел, и цех за цехом вставал перед ним. Он здоровался и отвечал на шутки. В каждом цехе был свой знакомый и настроенный совместными усилиями, как пьеса в оркестре, шум.

В том цехе, где он работал до сегодняшнего дня, шум был совсем родным, он казался ему несколько утомительным—от затянувшегося собрания, оттого, что он озяб, от позднего часа: было как раз то время, когда он, уставая, думал о том, как выйдет на улицу, пройдет вдоль забора, подымется по лестнице и отопрет дверь в свою комнату. Ребята, он знал, тоже думают о том, как бы поскорей отработать оставшиеся полчаса и пойти шабашить.

«Так чем же все-таки доказать?», думал Кунаков.

ПРОВОДЫ

Двадцать пять километров езды.
В вагоне душно и тесно.
И песни качают поезд, и
Поезд качает песню.
Рельсы, в ночь отлетая, звенят,
Прощаясь с веселыми парнями,
Самых хороших и близких ребят,
Мы провожаем в армию.
Сейчас остановка и мне слезать,
А Димка дальше уедет.
Он смотрит тревожно в мои глаза,
Он весел и очень бледен.
...И песенный гул уже слышен едва,
В горле спазма тугая,
Но он говорит мне: «Ты знаешь, давай,
Давай не грустить, дорогая.
Я искренне весел. Я очень здоров,
Я молод. Я здорово годен.
Меня зажигает отличная кровь
Марки десятого года.
Но так неумело твоя слеза
Скользнула и отблестела,
Что я забываю, как дальше сказать,
Я прямо не знаю что делать».
И я отвечаю сквозь слезы, сквозь дым:
«Это совсем чудесно».
И песни качают поезд, и
Поезд качает песню.

НИКОЛАЙ БОГДАНОВ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ДОМНА

Отрывок из романа «Пленум друзей»

Издалека был темен и мрачен силуэт комсомольской домны. Не вспыхивали огненные глазки заклепок, не качались в воздухе поднимаемые листы. Но чем ближе подходил Юрковский, тем больше чувствовалась подготовка штурма, скрытая для посторонних глаз.

У подножья домны, как патроны, лежали тысячи заклепок, груды кокса. Стояли железные клетки люлек и становились в ряд, как тупоносые мортиры, компрессоры. В порядке постепенности были разложены листы кожуха, похожие на снаряды, лежали даже веревочные лестницы, как для настоящего штурма неприступных башен.

Варган, не теряя даром времени, заготовил все, до последних мелочей. Штаб ходил по ячейкам, рассказывая о домне. То Тавров, то Вельтов приводили ребят откуда-то из других участков и учреждений. Незаметно они натащили этот кокс, заклепки, разложили листы таврового железа.

Вся подготовка была проведена силами добровольцев. Она не стоила ни копейки доменному цеху. Практически домна была уже комсомольской, но осторожный начальник еще не издавал приказа об оформлении ее в самостоятельную единицу.

Варгану приходилось метаться между небом и землей. Когда он приходил в контору доменного цеха—ему не отпускали ничего, говоря, что «домна теперь не наша». Когда же он пытался вести расходы и получение материалов, ему заявляли на складах и в конторах: «У вас нет своего счета».

Тогда с огромным трудом и упорством ребята все сделали своими руками, зубами вырывая материалы.

Нашлись люди, которые стали работать, не заботясь об оформлении.

Таков был Рублев и его товарищи, собиравшие кран. Они днем и ночью ползали по нему, как муравьи. Никто не знал, когда они спали, где они ели.

Рядом тяжело и надрывно тянули вверх кожух первой домны, при помощи деревянных укосин, российских лесов. Комсомол решил строить свою домну новейшими способами. Необходимо

было собрать передвижной башенный кран, ростом выше домен. Ребята собирали его сверхурочно.

Работая ночью на первой домне, Юрковский каждый день приходил на сборку башенного крана. Рублев, поднимая вспотевшее лицо и отбрасывая слипшиеся волосы, радостно улыбался:—Пришел? А ну-ка возьмись,—и как гостинец преподносил ему клепальный молоток. Юрковский, с постоянной улыбкой на большом широком лице, брал молоток и начинал давить заклепки одну за другой. Они были маленькие, давились мягко, почти без шума, и Юрковский работал играя. Сюда же пришла и Катя. Ей невмоготу было оставаться одной. В бараке надоели девчата с их разговорами о кавалерах. Она уходила бродить одна на берег пруда, но ее охватывала необъяснимая тоска. Она ее боялась и шла на домну.

Однажды она помогла разогреть заклепки по просьбе Юрковского, другой раз встала к горну сама.

Здесь же был и Романенко. Работал исподволь, учился.

Огромный скелет башенного крана наращивался не по дням, а по часам. Он лежал распростертый между двух домен, еще бессильный и бесполезный, но уже соединились угольники, планки, железные части его, и все тело вздрагивало, начинало оживать.

Здесь-то и познакомились Юрковский с Романенко.

Сегодня, как всегда, они пришли сюда в час дня, поспав немного после бессонной ночи на первой домне, и клепали до шести. В восемь вечера, пообедав и отдохнув часок, они вставали на леса первой домны. Снова до четырех утра. А там снова сон, часовой отдых и опять башенный кран.

Рублев ласково встречал их. Лицо его озаряла улыбка. Он всех называл тепло по имени. У него были горячие, блестящие глаза.

— Растет,—говорил он,—крепнет,—и похлопывал рукой железные переплеты крана. Когда бы ни пришли ребята, они заставали его между ребер гигантского скелета, он жил в них. Он не спал. Просто не мог заснуть. Им овладел настоящий страх. А вдруг что-нибудь случится? А вдруг это сон — проснется и нет крана? Все углы, планочки разойдутся снова по складам. И придется величайшую в мире домну, последнее чудо технического гения человека, собирать дубинушкой, деревянной механизацией!—Все с удивлением смотрели на этого человека, победившего сон.

Рублев особенно любил Юрковского.

— У тебя сила,—говорил он, поглаживая его по мускулам.— Хорошо, что ты ее на дело отдаешь. Не бегай по девкам, не пей.

Как выспишься, так сюда. Девок много, водки много, всех не перелюбишь, все не перепьешь. А кран—он один такой. Все восемь домен будет строить. Поглядим на него и скажем—наши в нем плоть и кровь.

— У Рублева нет человечьих детей,—добавлял он про себя.—Это больно простое изделье. У него все железные. Иные-то дети хороши, а иные плохие. А мои все точные, каждый ста людей стоит... В Ленинградском порту краны, на Мурмане, на Урале мои есть. Вчера пошел на гору—смотрю экскаватор там работает моей сборки, раздробленную гору грызет, ляскает. «Здравствуй, — говорю ему, — как живется!» А у него проклятый машинист поворотный круг надорвал. Самое нутро! Такая взяла досада, чуть не заплакал. Сердце до сих пор томится. Как будто сына моего непосильную тяжесть поднять заставили и попортили молодца. Я ему еще морду набью, этому машинисту.

— Стоит,—улыбался Юрковский.

— А ты мне поможешь? Добавишь ему от твоей силы?

— Добавлю сверх плана.

— Идет, буду рассчитывать.

— Ну-ка, Миша, иди вот тут из-под низу, надави заклепочек, у ребят молотки срываются. А ты их простой ладонью задавишь.

Юрковский подлезает под ребра крана и, лежа на спине, как в тесном забое, ловко влепляет неудобные заклепки.

Рублев смотрел на него влюбленно.

Сегодня Юрковский увидел Рублева дикого, без шапки. В руках у него извивались обрывки тросов.

— Миша,—кричал он,—иди скорей, поднимаем паренька! Тросы увязываем! Умеешь морские узлы вязать? Иди-ка затяни. Тебе это, что простые веревки, а ребята мучаются.

Юрковский принялся вязать из стальных тросов узлы, захлестывая кран в разных местах. Рублев ходил, проверял, как расположены вороты. Проверял крепость их. Сверялся по чертежу. Снова возвращался и лазил под ребрами, проверяя узлы.

— Мало, мало!—сокрушался он.—Маловато тросов.— И тут же, похлопывая кран, говорил:—Выдержишь, парень, кость-то у тебя крепкая, американская.

К вечеру весь кран был увязан. Скрипели вороты, подтягивая излишки тросов. Была тишина. Но солнце садилось багровое, обветренное неведомыми ветрами где-то в сибирской равнине.

Рублев смотрел на него долго, потом всех клепальщиков отправил по домам:

— Идите, высыпайтесь, явитесь завтра свежие.

Романенко рассказывал Юрковскому свою жизнь. Они сидели на корточках, взобравшись на свои рядом поставленные топчаны.

Огромный барак представлял собой целый мир. Каждая койка неслась в его сумрачном пространстве, не обращая внимания на других, как самостоятельная планета. У окна трое парней веселили себя гармошкой. Рядом в безнадежном горе плакала женщина, раскачиваясь, обхватив голову руками. В одном углу отец читал книжку сыну, в другом старик бил хилую девчурку. Под цветистым пологом, натянутым на шестах над сдвинутыми топчанами, целовались. Движения тел колебали полог. У самого входа одиноко умирала старуха. Напротив кучка женщин шепталась над роженицей.

Ребята привыкли к этому.

Перед глазами Юрковского из рассказа Романенко ярко вставало сельцо Засколье над тихой речушкой, заросшей кувшинками. Он представил себе и новую избу из синеватой осины, которую срубил Роман Романенко с его отцом. Даже проданная на убой корова прошла перед ним с печально-выпуклыми глазами. Но лучше всех представил он Зинку.

Особенно запечатлелось последнее свидание ее с Ромаськой. Вышла она на утренней зорьке, погоняя гусей, и на пыльной дороге, припухшей от росы, отпечатывались лапы гусей, как кленовые листья, и следы ее крепких босых ног. Когда она ступала на траву, роса таяла под ее горячим следом.

— Так и сказала,—боишься, мол, от материнской юбки оторваться?

— Так и сказала.

— И косу вокруг руки обернула?

— Обернула.

— Да,—говорит Юрковский,—у нас такие девушки редкость. У нас все черноглазые.

Он представлял себе девушку с большими серыми глазами. Перебирая в руках тяжелую косу из золотого льна, презрительно смотрит он на Романенко, говорящего о своем отъезде в далекую сторону. Не верит.

— Несколько раз спросил я,—вспоминает Романенко,—Зина, подождешь ли год? Промолчала. Но знаю, ждет и теперь. Дал я вернувшимся ребятам газету, где мой портрет и статья о бригаде Романенко. Пусть не дует губы.

— Да, девушки уважают ребят за славу. У нас в Кременчуге много красивых ребят. Но город тихий, и ребята ничем не славные. Был один, самый невзрачный с прыщавым вареным лицом. И, представь себе, прославился. Сделал какое-то изобретение на речном транспорте. И все наши девчата на нас глядеть после этого не хотели.... Все за ним, как хвост за кометой. Насмотрелся я на этот случай. Ну, думаю, приеду когда-нибудь я в Кременчуг в зловещем виде.

— Это верней, вот и я подарков Зинке припас, каких она сроду не видала!

Романенко спустился под топчан и открыл заветный сундучок, прибитый накрепко к топчану.

— Скажи, видала ли когда деревенская девка такой чулок, да еще со стрелкой? Нет, не видала!

В руках его извивались чулки серебристого цвета.

— Не видала,—соглашается Юрковский.

— Это я в прошлом году зимой получил, по ударным карточкам давали.

— А такую вещь она видала?

Розовые сборчатые подвязки с вырезным корсетиком мелькнули перед глазами Юркозского.

— Она даже не знает, как назвать!

— Не знает,—как эхо, повторял Юрковский.

— То-то, я, брат, никогда мимо магазинов так не проходил. Уж как бывало устану, а в очереди, коль надо, отстою. Скажи, есть такой гребень у кого-нибудь на селе?

Белый высокий гребень появился в горячих руках Романенко.

— Никто не имеет такого гребня. Даже учительницы. Я его достал, когда в первый раз мы за рытье котлована под домну премию получили.

Когда он извлек на свет золотистые шелковые штанишки, Юрковский не выдержал.

— Ну, и я жил недаром, уж если на то пошло!

Он достал зазвеневший чемодан, запустил в него руки, не открывая достал маленькую вещицу, затаившуюся в его ладонях птичкой. Романенко с любопытством потянулся. Это был галстук. Да не простой галстук, а из мягкой, сочной замши. На густо-вишневом цвете его горели золотистые глазки, в виде ромбиков. Он был пушистый, как дорогой зверек.

— Скажи, есть такой у кого-нибудь в Кременчуге? Нет таких! Я за него американца полгода обхаживал. Знаешь, сколько дал? Пятьдесят рублей!

Романенко прижал к груди переливающийся шелк.

— Да, самая нарядная невеста будет Зинка за все время, пока стоит на свете село наше Засколье!

— В Москве, брат, такого галстука не найдешь!

Ребята сидели друг против друга на корточках, держа в руках свои реликвии. Призрачный свет лампочек пробирался сквозь наполненный туманом людских испарений воздух барака.

Где-то наигрывала гармошка. Кто-то плакал скорбно и безнадежно. Причитала больная женщина. Под цветистым пологом семейного ковчега громко целовались. Кто-то с кем-то подрался и кричал истошным голосом. Все эти звуки не нарушали беседы.

Но вдруг дыхание ветра ворвалось в барак. Распахнулось сразу несколько окон. Вздохнула тонкая, прогнутая снегами крыша. Ребята взглянули друг на друга в непонятной тревоге. Романенко уложил штанишки, Юрковский галстук.

Ветер налетел еще злее, и стены барака застонали в его объятиях.

Юрковский почему-то накинул пиджак. То же сделал и Романенко. Не сговорившись, они вышли на крыльцо. Вокруг раскачивались фонари, делая окружающее щатким и неверным. Оба взглянули на доменную площадку.

Освещенный прожекторными лампами, там висел багровый силуэт башенного крана, поднятый наполовину.

— Пойдем,—сказал, нахмурясь Юрковский,—кабы чего не вышло.

Они заспешили, застегиваясь на ходу. Ветер, вырвавшийся из скучных холодных равнин Азии, зло забавляясь, подхватил консервную банку и ударил Романенко в лицо.

Ребята побежали.

У Варгана совиные глаза. Он почти не спал эти дни. Он сам проверял, крепко ли врыты ворота для подъема крана. Несколько раз они с Рублевым садились и развертывали чертежи.

На синей кальке плана в паутине троссов был показан весь путь крана от земли до становленья, помеченный цифрами расчетов.

— Все верно,—говорил Рублев.—Не первую конструкцию ставлю.

— Мало троссов.

— Костяк крепкий, прогибов не даст.

Они снова выходили и бродили вокруг крана. У воротов суетились люди, муравьями ползали по крану.

Варган все не мог от него уйти.

— Иди, выспись,—упрашивал Рублев.—Тебе завтра нужно быть свежим. Подниму, экая невидаль.

Варган ушел.

Какая-то тревога жила не умолкая.

В чем дело? Где ошибка?

Придя домой, Варган снова рассчитал подъем. Ошибки не было. Он раскрыл постель. Сладостное ощущение близкого сна охватило его. Но удержался от соблазна. Взял чертежи и поехал к Стаку—консультанту американской фирмы.

Закат стоял над изломанными остроконечными горами,как багровые языки застывшего пламени.

Стак сидел на березовом чурбане, курил трубку и любовался, как прислуга доила корову, забирая сосцы в кулак. Он пил только парное молоко.

Здесь же на чурбане Варган развернул чертежи.

Стак встрепенулся, отгоняя фермерские идиллии. Долго смотрел, засыпал пеплом из разбитой трубки чертежи.

— На ять,—сказал он,—вали!—И легонько толкнул Варгана в спину.

Через минуту Стак сидел на чурбане, и глаза его умильно глядели на розовое коровье вымя.

Варган хотел успокоиться, но в чересчур спокойном Стаке, в его непоколебимой уверенности ему показалось что-то фатальное.

Вернувшись домой, Варган упал на кровать и погрузился в тяжелое оцепенение сна.

Он проснулся, покрываясь потом от страха.

Прямо перед ним билась и пыталась улететь форточка, стекляшки сыпались из нее, как звонкие перья.

— Стой!—закричал Варган,—стой! Мы не учли ветер!

Выбежав, он растопырил руки, пытаясь пальцами поймать и определить, во сколько баллов его сила. Порыв ветра приподнял его руки, как крылья.

Варган бросился вперед.

Вдали виднелся силуэт башенного крана, багровый от перемещений мириадов частей красноватой лессовой пыли, несущейся из азиатских равнин.

Время не шло ровной полосой. Оно валилось кусками,как фиксировала его память.

В следующий момент Варган держал за плечо Рублева.

— Что?—кричал он,—что?

У Рублева по лицу катились крупные капли пота.

— Я не учел ветер!

— Спускай вниз!

— Заело тали и блоки...

— Исправить!

— Невозможно!—Рублев развел руками. Изорванные ладони кровоточили.

— Ставить запасные!

— Нет их у нас!

Раздался треск и шипенье. Рублев и Варган отпрянули друг от друга. Им показалось—валится кран. Между чими выросла фигура и забилась, как черная подбитая птица.

— Чего смотрите! Авария над вами! Кран бьется. Он больше может!—хрипел и кричал Бурьянов.

Тяжело дыша, подбежали Юрковский и Романенко.

— Тали!—стонал Рублев.—Блоки!

— Где их взять?

— Я знаю где,—закричал Романенко.—Я видел их на складе номер два.

— Были мы там сегодня, ответили—нет!

— Враки, голову на отсечение,—пустите—достану!

— Идем!

Бурьянов ухватил Романенко. Юрковский подцепил Бурьянова. Сзади бежал Варган.

— Как мы возьмем? Нас не пустят, не дадут!

— Возьмем!

— Уговор,—сказал Юрковский,—тебе не придется изображать жулика, ты займи дежурного, который сидит в конторке внутри своего склада спорами и телефонными разговорами, а мы все устроим!

— Здесь?

— В этом углу!

Юрковский ударил ломом, и он прошел доски насквозь. Юрковский навалился на него, как на ворот, и первая доска оторвалась.

Ветер метался по складу. За колючей проволокой скрежетали листы железа. Лязгали друг о друга тонкие прутья арматуры. Валились плохо сложенные штабеля. И треск отдираемых досок сливался с общим грохотом и шумом.

В рваную рану досчатого склада полез Романенко. За ним Юрковский. Загремели цепи. Вдвоем они выволокли и навалили таль, запутав цепями телегу. Блоки тащили охапками.

Варган со скандалом ворвался в будочку завсклада, он набросился на этого рябоватого человека с кошачьими усами. Тот ответил ему нечеловеческой руганью. Он уверял, что никаких блоков и таль у него нет вообще, он просил не приставать к нему, не имея на то никаких данных. Варган требовал, и чтобы отделаться от него взъерошенный и заспанный человек звонил по телефону к своему начальству, к начальству Варгана, везде,

вплоть до дежурного ГПУ. Варган поглядывал на часы. Время шло чертовски медленно. Вдруг в складе раздались возня, крики и топот ног. Бросив телефоннную грубку, дежурный выскочил туда. Вбежавший охранник никак не мог включить свет.

— Держи!—кричал неистовый голос.

— Стой, не уйдешь, сволочь,—шипел кто-то.

Буря пронеслась в душе Варгана. Он выскочил в темноту, схватил револьвер, но опомнился и засунул руки в карманы. В это время зажегся свет, и он увидел в углу отчаянно дерущегося Юрковского. Он колотил тяжелым блоком наседавших на него сторожей. Наконец, они смяли его.

— Вот,—плачущим голосом кричал, подбегая к Варгану, завскладом,—пока ты меня телефонами мучаешь, ко мне в склад воры лазят!

— Успели что-нибудь украсть?—спросил Варган, стискивая зубы.

— Да вот этих самых каких-то колясок штук десять.

— Как так колясок?—сквозь зубы процедил Варган.

— А чорт их знает, как они называются.

— Ага, вы не знаете, как они называются!

— Так что же, я прейскурант?—кипятился зав.

— Идемте на пару слов,—еще спокойнее сказал Варган.

Они прошли в конторку.

— Знаете ли вы, что эти колясочки—те самые тали и блоки, в которых вы нам отказывали в течение двух недель? Вы знаете, как это называется? Я сделаю вас чучелом, во всех газетах вы будете нарисованы с этими колясочками.

— Да что вы хотите от меня?—всплакнул заведующий,—берите, сколько хотите этих проклятых талей. Они у меня не заприходованы, я и не знаю, под каким названием приходовать.

— Ладно,—сказал Варган,—мы покончим это дело миром, если вы отпустите этого парня. Это мой рабочий, я сам послал его.

— Бери коляски и, ради бога, уходи. Возьми своего рабочего, только уволь меня. У меня сердце больное, насильно загнали заведующим этим складом. Это не выдвижение, а задвижение. Я же рабочий.

Взлохмаченный уронил голову на стол и заревел.

Варган лил на него холодную воду и кричал:

— Сволочи, бюрократы. Мы с тобой вместе от них страдаем!

Огромная телега, нагруженная блоками и талями, понеслась по рытвинам, гремя цепями. Они свещивались с нее, как бахрома. Они били по колесам.

— Держись, кран! Еще немного! Сейчас выручим!—орал Бурьянов, размахивая метром, заменявшим клюку.

Когда Рублев остался один, он зашел под ажурную крышу повисшего крана и встал, прислонясь к какой-то железине. Ему показалось—он стоит вечность, покинутый всеми. Он поднял бессонные глаза вверх.

— Ведь я тебя породил,—неужели ты меня задавишь?

Огромный скелет башенного крана повернулся.

«Проси ветер,—сказал он Рублеву.—Этот азиат дует мне под каждую планку, под каждый угол. Ей-богу, не могу удержаться».

— Это ты брось,—погрозил ему пальцем Рублев,—ты разговаривать не можешь.

Кран затих.

— Ну вот, уж и обиделся?

Кран молчал. Ветер свистал в троссах, как шторм в мачтах корабля.

— Азиат, закричал Рублев, складывая руки в рупор.—Откуда ты сорвался! Разве это игрушка? На каждой железине этой кожа наших ладоней. Не краска сочится по ним—наш пот. Ну, что тебе стоит, погоди немножко. Прошу одну ночь! Никогда больше не попрошу за всю жизнь, налети на меня хоть в Байкале. Сдержись! Меня задавишь, не жалко. Подумай, ребятам каково?

Ветер с хохотом обрушился на беспомощный кран, и Рублев вдруг увидел—железо выгнулось и начало валиться, разваливаться, как вареное.

Он вскрикнул от страшной боли.

— Рублев! Рублев!—окликали его Юрковский и Романенко.—Что с тобой?

Рублев, прислонившись к железной ферме крана, спал стоя, с открытыми глазами, как в столбняке. Неспавший в течение десяти ночей, он заснул в эти страшные часы. Шумной ватагой нагрянули Варган, Бурьянов, Юрковский и Романенко.

— Есть блоки, есть тали!—кричал Бурьян.

Варган подбежал к троссам.—Держат. Но могут и не удержать. Все за дело!

Рублев созвал такелажников.

Ветер распахивал плащи, закидывал их на головы. Ветер был такой, что поднимал руки людей, как крылья. Такие ветры бывают только здесь, у южных отрогов горного хребта.

Такелажники не решались лезть на переплеты башенного крана, повисшего между небом и землей.

Юрковский бросился первым. Ему казалось—ветер насильно отдирает его руки от железа вместе с краской. Концы стальных тросов мотает, как простые веревки.

Рядом лез Романенко.

— Ромась, куда ты? Смотри, сундучок потеряешь!

— Не потеряй ты галстука!

Так, пересмеиваясь и шутя, они принялись увязывать новые троссы, продевая их в блоки и тали. От порывов ветра огромное тело башенного крана вздрагивало. От одного этого дрожания переедало блоки и троссы. Но десяток людей опутал его паутиной новых стальных веревок. Ветер немного упал. Сломанные блоки были сменены. В местах, опасных для прогиба, сделаны новые подхваты. Кран мог передвигаться вверх или вниз.

— Готово!—закричали такелажники Рублеву.—Будем спускать?

Рублев тряхнул льняной непокрытой головой, точно пробуя силу ветра.

— Готово?—переспросил он,—так будем поднимать!

Пришли в движение десятки воротов, натягивая троссы. Медленно-медленно кран начинал поднимать голову.

На утро во всех газетах строительства, во всех конторах был опубликован приказ о выделении комсомольской домны в самостоятельный объект.

Обветренное солнце осветило стальные переплеты красавца-крана, поднявшегося выше всех зданий и труб строительства.

Рублев, убедившись, что кран стоит устойчиво, пошел спать. Силы покидали его. Он боялся, что упадет. С трудом добрался до постели. Сон был тяжелый, как болезнь. Когда он проснулся и пришел вновь на домну, к нему подошли Романенко и Юрковский.

Рублев не узнал их. Кусок этого страшного времени у него выпал из памяти, как сон.

ГАМЛЕТ

Сперва по залу гам летал,
Потом он стих и стаял.
Открылась сцена «Гамлета»,
Костюмами блистая.

Наш секретарь морщинил лоб—
Во все глаза глядел.
Сидели рядом—я, культпроп
И Нинка—управдел.

Нам показали боль и месть,
Аплодисментов ярость
Дошла до наших льготных мест,
На самый верхний ярус.

А Нинка плакала. Опять
В глазах плясали тени.
Ей, Нинке, хочется играть
На настоящей сцене.

И показать Офелию
Для новых поколений.
... Пока лежит портфель ее
Ребенком на коленях.

А в нем текущих дел поток
Сейчас такой далекий,
И намокал ее платок,
И припухали щеки.

У Нинки дома—серый мир,
Дряхлеющая мама...
О, если б жили вы, Шекспир,
Вы б написали драму.

Я знаю—не смогло б остыть
Ее большое пламя.
Райком не может отпустить
Свою управделами.

Там говорилось бы о том,
Как горечь оседает.
... В антракт в театре наш райком
Впервые заседает.

Шел Гамлет. Было время нам
Давать концовку драме.
И мы послали Нинку в Трам;
Пускай играет в Траме.

Н. КЛЯЗЬМИНСКИЙ

ЗОЛОТАЯ КРУЧА

1

Суббота. Ясное осеннее небо.

«Где бы мне отдохнуть,—раздумывал я,—разве поехать в Золотую кручу?»

Через час я сидел в дребезжащем вагончике подъездной железной дороги. Я представлял себе радостное изумление своего друга Феди.

«Водит ли он кроликов?»—думал я, и улыбался, вспоминая наше совместное азартное увлечение кролиководством. Сколько было убито труда и времени на добывание жирных листьев одуванчика! Как нам доставалось за пахучие клетки... И теперь я не без сердечной теплоты вспоминал серебристых ангорских и горностаевых самцов и самок.

Окна в вагоне открыты; мимо плывут штабеля свежего торфа, цыганские палатки, светящиеся на солнце провода. Но меня это не интересует.

«Каков-то теперь Федя,—думаю я,—вероятно растолстел на деревенских харчах, как-то ему работается?»

Два года назад работать в Золотой круче предложили мне. Но я сумел отказаться. Федя же с радостью согласился быть библиотекарем в Золотой круче. Он уехал от своих любимых кроликов. Я изредка получал от него письма; он теперь не только библиотекарь, но и секретарь комсомольской ячейки. В письмах Федя жаловался, что никак не может вырваться в город.

Мне было немножко стыдно. Я сознавал, что поступил нехорошо, увильнув от работы в деревне. И к тому же мне было жаль, что моему лучшему другу досталась столь незначительная работа. Но ведь я-то—член укома и предзавком на своем заводе.

Моя деятельность имеет уездное значение.

2

Избушка, в которой жил Федя, была низенькая, древняя. Наличники на окнах выцвели, нижние бревна подгнили, золотистые гнилушки валялись у завалинки.

— Ах, голова,—обрадовался Федя,—ну и голова ты стал

Первое время Федя, кажется, больше ничего и не сказал—так велико было его изумление. Я застал его босым, в синей расшнурованной майке. Он точил об шесток перочинный ножик.

— Тетенька,—говорил Федя своей хозяйке,—познакомься—мой друг, Панок Фирсов. Вместе ведь кроликов водили. А помнишь, как мы биноклем головастиков удили?—и мы хохочем, вспоминая эту глупую ловлю.

Белобрысенькая, шустрая тетенька ласково глядит на меня и говорит:

— Не парень ты, а штучка от часов. Как Федюшку ты обрадовал.

— Тетенька, мы будем пировать,—и Федя хлопает ее по горбушке.

— Чорт ученый,—огрызнулась тетенька,—растил ты мне горбушку?

Пока тетенька бегала в лавочку, Федя рассказал мне, что ее зовут здесь «клубной тетенькой», она крепко дружит с местным активом. В зимние ночи, когда актив сбивается в кучу и играет в клубе до утра в пинг-понг и шахматы, тетенька ставит для них самовар и печет картошку в железной печке.

— Вот какая она у нас, нам без клубной тетеньки никак нельзя.

Было заметно, что Федя сильно привязан к тетеньке. Я узнал от него, что она—герой труда и получает пенсию. За чаем мы беседовали о культурной революции, о хулиганстве, вспоминали прежних друзей. Такой-то умер, этот женился, третий сделался знаменитым человеком. Я спрашивал Федю, осязает ли он хоть немножко результаты своей двухлетней работы на этой деревенской фабричке.

— О, еще как осязаю,—отвечал Федя,—вот мое достижение сидит,—он показал на тетеньку, а тетенька ударила Федю в бок.

— Федюшка, ты, вижу, штучка от часов.

Федя рассказывал, как он в первый раз привел тетеньку в кино, как она от удивления перекрестилась, а потом дома ополоснула святой водой опоганенные глаза.

— А теперь,—говорит тетенька,—я все кино наизусть знаю.

Этому можно поверить. Одна из стен сплошь залеплена киноафишами. Тетенька разоткровенничалась. Принесла и показала мне азбуку и тетрадь, исписанную буквами. Из азбуки она прочла вслух.

— Саша ух, Маша ах, Сима уа, уа.

— Это достижение,—говорю я Феде, а сам вспоминаю засе-

дание культкомиссии при упрофбюро и свои статьи в уездной газете. Прилив гордости охватывает меня. И мне делается еще жальче Федю. Он от скуки по ночам играет в пинг-понг и ест печеную картошку. Его нужно вытащить из этой ямы.

После чая мы идем осматривать клуб. Это большой нескладный дом. В нем пахнет мохом и коленкоровым занавесом. Федя показывает библиотеку. Она помещается в маленьком шкапчике. В клубе пусто.

— Лето,—оправдывается Федя,—все на гулянии! Хочешь—пойдем?

— Конечно, ведь я же приехал отдыхать.

3

Вечереет. За железнодорожной насыпью всходит луна. Она отражается в крутом изломе реки огненным столбом. От движения волн столб струится. Над водой со свистом летают стрижи. На берегу у кряжистого дуба дрались. Девушки смотрели на драку и повизгивали, как в кино. Удары кулаков глухо звучали в тишине деревенского вечера. К месту драки подъезжали велосипедисты, облокачивались на руль и смотрели. На отлогом берегу рыболовы бросили удочки. Маленькая фабричка тихо стояла с открытыми окнами. Светлые части машин блестели в лунных лучах.

Франтоватые парни окружали бойцов и руководили ими:

— Под ножку не сметь!

— Норови в переносицу!

— Веселое у вас гулянье,—говорю я Феде.

— Праздник,—оправдывается он и через несколько минут добавляет:—это еще не настоящая драка. Видишь, лодка плывет,— и он показал на реку. Там лениво двигалась лодка. В ней сидел тощий человек в бархатной куртке.

— Это плывет Коля Крантик,—поясняет Федя,—он здесь сильнее всех, ребята дерутся, чтобы раздразнить его.

Я от Феди узнаю, что Коля Крантик—один из местного актива, председатель юнсекции. Положение активиста не позволяет ему драться, но ребятам хочется раздразнить его и, может быть, поколотить.

— Видишь, как он лениво гребет? Ему хочется размять кулаки, но не решается.

— Крантик,—кричат ребята,—тебя Петька на левую ручку вызывает.

Быстрее взвиваются весла, сверкают брызги, лодка ткнулась в берег. Крантик полез по обрыву. На берегу все затихло.

— Федя, он будет драться?

— Не будет,—говорит Федя и идет к дубу.

Крантик уже на круче и снимает куртку.

— Крантик,—слышу я Федин голос,—ты не будешь драться.

Затем я вижу, как парень с галстуком бабочкой бьет Федю по зубам. Федя покачнулся, провел ладонью по щеке и сказал еще раз твердо:

— Крантик, ты не будешь драться.

Крантик вместо ответа берет парня с бабочкой за шиворот и осторожно при дружном хохоте спускает с обрыва. Потом мы втроем садимся в лодку и гребем к тетеньке.

4

Тетенька нам поставила самовар. Самовар красный и круглый, как луна. Федя зажег электричество, избушка теперь кажется просторней, и я замечаю, кроме кино-реклам, ручку, прикрепленную к стене канцелярскими кнопками. Луна уже взобралась высоко на небо. Было мягко и тихо и не хотелось верить, что только сейчас у дуба дрались люди.

— Что же мало погуляли?—спрашивает тетенька.

— Это я виноват,—отвечает Крантик, и он рассказывает, как ему нестерпимо хотелось показать гулянью, что он и в комсомоле не потерял прежней удали.—Но вот Федя не позволил,—говорит он,—и пострадал за это.

Крантик показывает тетеньке Федину припухшую губу.

— Уж не ты ли ему вмазал?

— Не я, но за меня. Это все равно.

— Федя,—говорит через несколько минут Крантик,—даю тебе слово—больше меня на кулачки не заманишь.

— Ладно,—отвечает Федя.

Он режет перочинным ножиком колбасу и подвигает Крантику.

— Ешь, пока живот свеж,—говорит тетенька,—а то завянет, принимать не станет.

Мы долго не ложились спать. Крантик вспоминает, каким он был прежде сорви-головой. Тетенька жалеет Федю. Она просит меня, чтобы я заставил его быть немножко посмирнее.

— Ему головы своей долго не сносить, везде нос сует, такая штучка от часов...

Я уезжал из Золотой кручи с утренним поездом. Мне нужно было днем присутствовать на собрании профактива. Но теперь

я не гордился своей деятельностью. Теперь я думал о Феде, не как о скромном кролиководе, а как о большом, ценном человеке. Клубная тетенька и Крантик—это действительно достижение.

Я пожал Феде руку и сказал:—Ты много сделал за эти два года.

— Отстань,—отмахивается Федя и идет некоторое время рядом с вагоном.

ДРУГУ—ЧЕКИСТУ ПЕТРУ ШАРИ

Спасибо за письмо!
Оно, прорвав пески,
В столице красной очутилось.
И я почувствовал
Упрямых строк куски:
Они ударили с особенною силой.

Спасибо, друг!
В те дни твой комсомол
На съезд девятый к нам собрался.
И шелестел знамен червонный шелк:
Оратор на трибуну поднимался.

Вот вздрогнул зал при первом звонком слове,
Аплодисментов вихрь здесь перешел в самум,
Когда взошел товарищ Каганович,
По-комсомольски сердцем юн.
О чем он говорил?
Что значат километры!
Ничто тебя не в силах отделить
От сердца партии!
Пусть—бешеные ветры!
Они ль порвут связующую нить?!

Познал я многое в скитаниях далеких,
И это постараюсь передать
Когда-нибудь.
Но тут—бледнеют строки,
В груди—расплавленная ртуть:
Я видел Сталина.
Отброшен карандаш.
Здесь пауза...

Послушай, друг Петруха,
Я приложил к земле встревоженное ухо,

И отдавалось в нем:
— Всегда он с нами! Наш!—
И сколько в мире не было наречий,
Они звенели у меня в ушах,
Сливались в океаны речки,
Крепчал революционный шаг.

Кончаю!
Пусть оно цветет—
Чекистов молодое поколенье,—
Неравенства расплавив лед
И старый мир поставив на колени!..
Что? Переделать мир?
Заря—социализм!
Иду с тобой, товарищ, вместе!
Бери все знания,
И—если надо—жизнь—
За дело славы, доблести и чести!

С. МАРГОЛИС

В САДАХ

Рассказ

1

Пятый лыжник

Глаза слепила белоснежная гладь полей. Вокруг, на бесконечное количество километров, расстилались холмы и овраги.

Друг за другом, изредка останавливаясь потереть снегом покрасневшие щеки и носы, перекинуться несколькими словами, шли семеро.

Агитбригада райкома комсомола шла в лыжный поход на отчетно-перевыборную кампанию советов. Семь человек в синих фланелевых костюмах стройной цепочкой тянулись друг за другом. От первого до четвертого лыжника были все как на подбор высокие, большерукие ребята. Два последних мало от них отличались. Маленькая фигурка пятого резко выделялась изо всей цепи.

Откуда попал к большим крепким парням этот мальчонка? Его темный силуэт был резким контрастом в их ровной, как бы подобранной под рост, шеренге. Пятой была работница районной типографии Лиза Михайленко.

Бригада была сборная, из разных ячеек, и парни все дружно протестовали против того, чтобы с ними в поход шла девушка.

Сильно горячились и секретарь типографской ячейки и культпроп райкома, доказывая, что с Михайленко никакой волынки не будет, что лыжница она вели..олепная, хороший агитатор и вообще девчина—что надо. Больше всех возражал вузовец полиграфического института, Коля Кузнецов:

— Ну, где мы с ней возиться будем? Что вы, ребята!

Коля был лыжным чемпионом и хотел поставить рекорд по скорости прибытия в район и по лучшему его обслуживанию. А тут—на тебе, Михайленко какая-то. «Ой, ножки устали, ох, ручки озябли...» Фу ты, чорт, и ехать неохота!

— Верно, верно,—соглашались остальные.—В дороге-то всякое бывает, а при ней и выругаться неудобно...

Лиза слушала молча, только глаза ее насмешливо искрились.

Когда спор всерьез затянулся, Лиза поднялась со стула и сказала:

— Тише, ребята! Давайте так: если я начну ныть, сажайте на поезд и отправляйте меня в Москву. Вот. Только посмотрим еще, кто заноет. Ну, согласны? Пошли за лыжами.

Все замолчали, только Кузнецов буркнул сердито:

— Ну, вернем с полдороги.

Когда вышли за город, всем стало весело. Позади толпились большие пестрые дома; их окна блестели в лучах холодного яркого солнца. Немного в стороне, глубоко прорезав пышные сугробы снега, строгой линией тянулось железнодорожное полотно.

Вскоре все убедились, что зря только спорили в райкоме. Лиза шла ровно, ничуть не отставая от остальных лыжников.

Темнело уже, когда бригада приблизилась к месту своего назначения—районному центру, селу Высокому.

Перед тем как добраться до села, лыжникам предстояло спуститься с крутой горы.

Ребята остановились и опасливо посмотрели на Лизу.

Она спокойно поправила мешок за плечами, подпрыгнула, гулко хлопнув лыжами, и, пригнувшись, плавно и быстро скатилась вниз.

Оттуда она весело замахала рукой стоявшим на горе ребятам.

Последним был Николай. Он решил показать этой «хвальбушке», как надо спускаться с гор. Звонко крикнул и, сильно толкнувшись палками, рванулся вниз.

Кузнецову не повезло. Он хотел лихо скатиться с горы, но слишком сильно нагнулся вперед—тоненькая корочка снега лопнула, и острые концы лыж с размаху врезались в сугроб. Огромным синим комом Колька перевернулся через голову.

Ребята вскрикнули и бросились к нему. Лиза молча подъехала к смущенному, готовому заплакать вузовцу.

— Ну, что, как?—участливо спросила она.

— Ничего... Вот только рука что-то... подвернул я ее...

Она быстро засунула варежки за пояс.

— Покажи-ка, где болит? Я ведь санитарный кончила.

Полотенце приятно стянуло больную руку.

Ребята стояли растерянные, притихшие. Лучший их лыжник, бригадир, стал инвалидом, на несколько дней по крайней мере.

— А киснуть совсем не к чему,—улыбнулась Лиза.—Идите, ребята, в рик, мы с Кузнецовым за вами придем. Идет?

Кузнецову хотелось протестовать, но ныла больная рука, и ухарство сразу пропало. Захотелось побыть вдвоем с этой веселой, хорошенькой девушкой.

— Катите,—кивнул он.—Мы придем.

Шли в гору тихо. Николай задыхался и едва не стонал от боли. Лиза тащила лыжи и палки—свои и его. Она тяжело дышала, раскраснелась и шапку сняла.

Несколько снежинок светлело на ее темных волосах.

— Ты надень шапку, простудишься,—проговорил Николай.—А на лыжах ходишь здорово,—прибавил он.

— Я давно хожу,—просто сказала Лиза.

Ночью рука у Николая сильно распухла. Лиза меняла ему компрессы, заботливо прикладывала руку ко лбу.

Его побледневший прямой профиль с закушенной губой, большим лбом (у виска краснел небольшой шрам) показался ей таким суровым, напряженным от боли, что захотелось приласкать Кузнецова.

Как бы почувствовав на себе Лизин взгляд, Кузнецов открыл глаза и улыбнулся.

— Чего глядишь?

— Так, —задумчиво сказала она.

Он приподнял голову.

— Ты прости, Михайленко, что я давеча в райкоме так говорил. Я девчат много знаю, а таких, как ты, не видал.

— Плохо ты, Кузнецов, глядел.

— Может быть. Не знаю. А ты спи. Устала небось?

— Ничего, давай компресс сменю. Э, да у тебя жар, надо врача позвать.

— Не надо,—попросил он,—пройдет.

Утром, когда бригада получила задание и знакомилась с работой рика, Николай отправился в больницу. В руке оказался вывих. Приходилось оставаться в селе и ходить на перевязку. Это было до того обидно, что Кузнецов убежал в темный сарай и долго сидел там, грызя ногти, не чувствуя холода, проклиная себя, лыжи, гору.

Члены бригады разъехались по району.

Николай провел в селе шесть дней. Они не пропали даром. Беседы с колхозниками, комсомольцами, выпуск стенгазеты—все это немного успокоило.

— Я кое-что сделал,—говорил он себе.

Рука понемногу заживала.

Вечером, укладываясь спать, прислушиваясь к однообразным,

песням ветра, он вспомнил Лизу, легкие, непринужденные движения ее, звонкий голос.

Все съехались в установленный день. Лиза пришла последней. Ее встретили восторженно. Ребята бросились вытирать лыжи, снимать с нее мешок, мокрые пьексы.

— Как рука?—встретила она Кузнецова.

— А, ничего, проходит, замечательно.

Все стали делиться впечатлениями, и у Кузнецова сердце снова заныло, с завистью смотрел он на ребят.

Под утро по тихим, словно сметаной облитым уличкам с несколькими десятками провожатых бригада двинулась на станцию.

2

«...Все вы такие...»

Лиза вошла в пустое купе и оттуда смотрела в окно на бесконечные ленты седых кустов.

Перебирала в памяти события этих дней, и становилось радостно: много проделано бригадой.

«А как хорошо было ходить на лыжах от колхоза к колхозу... Только вот жалко, что не было Кузнецова».

Поезд загрохотал, проезжая мост, и Лиза тихонько запела:

Наш паровоз вперед летит...

Дверь заскрипела. Вошел Николай. Он осунулся за эти дни. Рука висела на перевязи. Это был совсем не тот грубоватый парень, который ругался с ней в райкоме.

— Поешь?

— Угу...

— Что же ты не спишь, неужели не устала?

— Дома посплю, а сейчас вот,—она кивнула на окно,—посмотреть охота.

Кузнецов подошел к окну.

— Хорошо, правда?—сказала она,—смотри, какой простор.

— Тебе сколько лет?—спросил он вдруг.

— У... у... стара я, милый мой..., Двадцать один...

— Хм... старуха. Все бы такие старухи. Нет, я прямо скажу, Лизок...

— Лиза,—подсказала она.

— Лизок, ты замечательная девушка.

— Брось,—смутилась Лиза.

— Нет, не брошу, десять раз скажу—замечательная.

— Ой, как наивно,—засмеялась она,—что это с тобой?

— Я очень бы хотел видеть тебя в Москве. Да, скажи, ты замужем?

— А тебе что?

— Ну просто так....

— Нет,—засмеялась снова Лиза, покачав головой.

Поезд мчался бодро, выстукивая неизменную свою песню. Глаза устали смотреть в окно, и Лиза с Николаем сели рядом на лавку.

Он взял в свою руку ее покрасневшие пальцы и грел их своим дыханием. Она не отнимала.

— Я, знаешь, замуж не собираюсь... Я не монашенка,— заторопилась она, видя, что Николай старается перебить.— Просто я еще не встретила такого человека.

— Это какого?

— Тебе интересно,—изволь. Я хочу, чтобы муж прежде всего оценил во мне товарища и уважал бы меня. Любовь, конечно, тоже... Я дружила с ребятами, они были неплохими товарищами, но всем хотелось одного. Ну, я их отшила,—повысила она голос,—все вы такие. Прежде кровь разыграется, а потом уже голова начинает работать. Я вот любила одного парня, думала— нет лучше его, сговорились жить вместе, но я отказалась сойтись с ним, пока не будет комнаты. Двух месяцев он не захотел ждать и ушел от меня. Это называется любовь? Новая, человеческая?

— А что потом было?

— Женился он на куколке, а потом пришел: «Я, Лиза, ошибся...» Э, да что говорить. У нас был секретарь партячейки. Его все уважали. Когда я переходила в партию, он сказал: «Или ты моя, или партии не увидишь». Я на чистке заявила на него, влепили выговор и с секретарства сняли. Вот как бывает,—закончила она и вырвала свои руки.

— Вот какая ты серьезная,—удивленно и задумчиво сказал Кузнецов.

Медленней побежали по сторонам деревья и кусты, заскрипели жалобно тормоза. Поезд подходил к затерявшемуся в сугробах темному домику полустанка.

3

Старые слова

Лиза часто встречалась с Кузнецовым. Их дружба все крепла и однажды, когда зажглись, отражаясь и прыгая в темной воде Москва-реки, робкие фонарики на уставших за день лодках, Кузнецов со своим чемоданом переехал в Лизину светлую комнату.

Вечер был посвящен «оборудованию», как смеялся Николай. После небольшого диспута на окне появилась портьера—Колькино «приданое».

Часто вспоминали они первое свое знакомство. Николай в такие минуты смущенно улыбался, Лиза над ним посмеивалась.

Когда они шли рядом, ей приятно было чувствовать возле себя его сильную руку, слышать его уверенный голос.

Как-то Лиза очень поздно пришла домой. Николай сильно беспокоился: куда она пропала?

Потом, когда открыл ей дверь, удивил неожиданно крепким объятием и поцелуем.

— Дай в комнату войти,—смеялась Лиза.

— Нет, подожди, поцелую еще. Знаешь, как я беспокоился?

— Вот уж зря-то,—лукаво протянула она,—ну, что со мной может случиться? Ты никогда обо мне не беспокойся.

— Пустяки «не беспокойся», а кто же должен беспокоиться о тебе, Лизка, ведь я твой муж.

Он с каким-то удовольствием произнес эти слова.

На столе стоял остывший чайник, лежал раскрытый учебник Николая.

Лиза обвела комнату глазами.

— Хм, «твой муж», какое слово чудное. «Жених», «гуляют», «муж», «жена». Не нравится мне. Это слова старые, затасканные, заменить бы их, а? Кузнецов?

— Мы, Лизка, конкурс объявим и новые придумаем, идет?

Иногда устраивали веселье. Раздобыли пианино. Такими вечерами в комнате набивалось столько ребят, что приходилось одалживать у соседей посуду и стулья.

Кузнецов с Лизой хозяйничали плохо. Гости сами наливали чай и грозили, что больше не придут.

Но угрозы в исполнение не приводились. Веселые были эти вечера «смычки» типографии с институтом, как сказал однажды Митька Грач.

Лиза целый день пропадала в типографии, Кузнецов в институте. Они с удовольствием встречали свободные минутки, возможность побеседовать, поделиться друг с другом новостями горячих и быстрых дней.

Николай учился упорно. Иногда ночью засиживался над чертежами и книгами, а потом, подремав под утро, ехал на учебу.

— Нужно скорее кончить,—говорил он Лизе.—Партии дозарезу нужны технически грамотные люди.

Михайленко не возражала.

— Это все так, но только, по-моему, можно захворать от этого и потерять потом много времени.

— Я, Лизок, крепкий, не захвораю.

I

Практика

Однажды утром они пошли в типографию вместе. Оба были довольны, что Николай будет проходить практику там, где работает Лиза.

Вместе поднялись они по широкой, такой знакомой Лизе, лестнице в наборный цех.

— Ой, много же у нас расхлябанности,—жаловалась Лиза Николаю.—Работы тебе здесь хватит, Кузнецов.

Николай рассеянно ее слушал, с любопытством оглядывая огромный цех. Он прежде работал в маленькой типографии, где было всего пять печатных машин, а в наборном цехе только один линотип.

Здесь линотипы высились стройными шеренгами. Их нарядная клавиатура поблескивала в пыльных лучах бледного солнца.

Николай пошел в контору. Лиза, на ходу сбрасывая пальто, заспешила к линотипам.

— Михайленочке приветик!

Негромко переговариваясь, быстро щаря руками по кассам, стояли за реалами текстовики.

Стройными рядами высились доски с готовым набором. Цех был завален полуфабрикатами.

«Наборщики,—размечталась Лиза,—живой, остроумный народ. Многие из вас набирали робким петитом гранки первых большевистских газет и робко тискали их на маленьких станках в темных подвалах подпольных типографий. Вы первые объявили свой цех ударным, веселые люди. Эх, захвалили вас, дорогие товарищи! Вас перегоняют теперь другие цеха. Вы дали хороший встречный промфинплан, но вы не выполнили его. Стыдно мне за вас. Худеньким подростком стояла я за реалом, не могла еще достать прописной «А» из кассы. Вы мне рассказывали о своей работе у хозяина. Еще говорили о том, что наборщик всем печатникам голова. Хороши же вы теперь.

Около года назад цех перешел на полное разделение труда по профессиям. К наборщикам пришли новые люди. С биржи труда группами присылали переростков.

Бойкие девушки с накрашенными губами, в ярких блузах заполняли два последних переулка. Они плохо подчинялись

производственной дисциплине и туго понимали, что такое соревнование.

Николай, прислушиваясь к их разговорам, злился. Все время до обеденного перерыва они спорили о нарядах и мушках на лице.

После обеда ему дали гранку для разбора в другом конце переулка. Работая, Николай втянулся в разговор. Собеседником был седенький старичок с остренькими, черными, словно приклеенными усиками и курносым красным носом.

Кладя верстатку на реал и растопыривая в азарте от разговора грязные, коротенькие пальцы, он тяжело вздыхал.

— Эх, жить трудно. С получкой придешь, старуха ругается—мало. А где взять? Взносы, займы, литровку захватишь, глядь—ни с чем и останешься. Гони, знай, народец, серевнуйся.

— А ты чем болтать, работай лучше и кури реже, глядь и заработаешь больше,—советовал Кузнецов.

— Вот опять заем новый. Завтра собрание—раскощеливайся, значит.

— И раскощелимся,—сказала неожиданно соседка Николая, курносая девушка в голубом платке.—Пропьешь меньше.

— Пропьешь...—обиделся старик.—Выдумали коммуну. Сообща жрете да и спите, небось, также... Малина...

— А тебе завидки?—крикнул через переулок Дмитрий Грачев.

Старик обиженно сжал губы. Он показался Кузнецову маленьким и жалким. Николай вспомнил мать. Старуха жаловалась в письмах, что жить трудно, работы много, а снабжают плохо.

«Тяжело бывает старикам»,—подумал он, но тут же отогнал эту мысль и, взяв с уголка строку, стал быстро разбрасывать ее по ящикам кассы.

Дома он рассказал Лизе о разговорах в цехе.

Она спокойно сказала, что в цехе еще немало таких, как старик Цыганов. Надо бороться с этими пьяницами.

— Жизнь у нас неспокойная,—сказал Николай,—вот они и пьют.

— А какой бы ты хотел «спокойной» жизни?—иронически спросила она.

Николай обиделся.

— Я не о себе говорю, а о тех, кто устал от... ну,—он замялся,—от работы у хозяина, от голодных лет. Что им отдых не нужен?

— И старым большевикам тоже?—уже резче сказала Лиза.

Он встал со стула.

— Ну, к чему такие сравнения. Что я—не коммунист?

Но Лиза замолчала, поморщившись, точно проглотила что-то горькое.

На другой день с утра ходил по цеху Фадеев, седой сутуловатый предцехкома. У каждого переулка он останавливался и, сообщив хриповатым голосом, что сегодня в буфете собрание, шагал торопливо дальше по длинному цеху.

В открытые окна врывался ветерок, шевелил листки оригиналов, волосы на непокрытых головах наборщиц.

Николай не привык работать стоя. У него болели ноги. В цехе было жарко. Пачкая лицо и волосы, он вытирал рукой потный лоб.

Разборщицы все время шептались и хихикали.

— Эй, ударницы,—не вытерпел Николай,—вы только кассы путаете, а не работаете.

— Учитель выискался,—покосился на Кузнецова старик Цыганов.

Николай не стал спорить.

«После работы поговорим»,—решил он и спросил тихонько у девушки в голубом платке:

— Здесь комсомолки есть?

— Четыре, я—пятая,—покосилась она на него.—Новенькие все.

Николай умылся и вышел во двор выпить квасу. У палатки он увидел Лизу. Ей что-то весело рассказывал Дмитрий Грачев.

Маленький паренек в желтой рубашке поливал двор из пожарного рукава. Выходившие из цехов шарахались в сторону от серебрящейся на солнце водяной струи. На Николая попало несколько холодных брызг. Отряхиваясь, он подошел к Лизе и Грачеву.

После светлого солнечного двора в буфете показалось темно и прохладно.

Наборщики, не торопясь, рассаживались за столики.

«Будто не на собрание, а пообедать пришли»,—подумал Николай.

Он сел вместе с Грачевым, Лизой и надоедливой соседкой по работе—курносой, в голубом платке.

В углу, недалеко от них, Цыганов, переминаясь с ноги на ногу, разговаривал с высоким рыжим человеком в серой спецовке.

Секретарь цеховой партячейки доложил о выпуске нового займа.

Потом Ольга—ударница из переплетного—высоким голосом сообщила, что их цех решил подписаться на сто процентов месячного заработка и вызывает наборщиков.

Когда она кончила, стало тихо. Слышно было, как каплет вода из куба и стучат наверху машины.

Многие закричали:

— Голоснем, Фадеич!

Рыжий собеседник Цыганова вскочил с места:

— Как это голоснем? Давай слово!

Николай посмотрел на Лизу. Она, раскрасневшись, напряженно приготовилась слушать.

Потом он, оглянувшись, заметил, что Митька Грачев собрал в уголке небольшую группу молодежи.

— Нешто можно,—орал рыжий,—сто процентов и точка? А я вот не могу столько монет вложить.

Поднялся шум.

Встал Дмитрий Грачев и громко заговорил, живо оглядывая собрание:

— Наши коммунары из наборного подписываются на полуторамесячный заработок.

Затрещали, рассыпаясь, над столами, аплодисменты.

Инструктор линотипных машин погрозил снова вскочившему рыжему тискальщику.

— Ты, Лапкин, нам палки в колеса не вставишь. Не пройдет. Удрал, молодчик, из колхоза. Думал, здесь лодырничать будешь. Нет, врешь, наборный впереди был и будет.

— Верно! Голосуй, Фадеев!—закричали вразнобой рабочие.

— Чего голосовать-то?—ехидно спросил Цыганов.—Сто раз голосуй, а я не подпишусь.

— А мы тебя на черную доску!—крикнула Ольга.

— Хоть вниз головой,—бросил старик и смачно плюнул на пол.

Снова начались прения.

Выступали коммунисты—объясняли значение займа. Выступил и Николай. Его внимательно слушали, и это зажигало. Слова ладно прилегали одно к другому. А после его речи, как в начале собрания, снова нетерпеливо требовали десятки голосов:

— Знаем для чего заем! Голосуй!

В прокуренном большом зале буфета, скудно освещенном редкими окнами, дружно поднялись десятки рук—больших, маленьких, толстых, жилистых, чистых и немытых, с въевшейся в пальцы свинцовой пылью.

Руки поднялись «за». Вызов переплетчиков был принят.

— Если Цыганов да еще многосемейные не подпишутся, не надо,—сказал Лизе Николай, когда они шли домой.—Напирать на таких, пожалуй, и не стоит. Ему, верно, туговато приходится.

— Цыганов зарабатывает больше нас с тобой,—резко сказала Лиза.—Вечно ноет. Дочь у него в колхоз вступила, так убить ее хотел: добро отцовское прахом, говорит, пустила. Вот кто Цыганов.

— Ну и чорт с ним!

Лиза оглянулась на Кузнецова.

— Ты на собрании по-другому говорил. Ты вообще изменился.

— Заучился,—усмехнулся он.—Вот в отпуск скоро поеду, отдохну. Надоело все.

5

В садах

В узкой речонке, кажется, не вода, а жестяные стружки насыпаны—сверкает, переливается мелкой рябью речонка.

В маленькой легкой лодке гребет Колька Кузнецов, тот самый, что сюда купаться бегал тоненьким, ловким мальчишкой. И теперь у него те же зеленые глаза, русые волосы хохолком. Те же ловкие ухватки. Только губы из пухлых стали тонкими, сжатыми, да заострился подбородок.

Хорошо солнышко украинское, хороши поля, черные, ароматные, узкая глубокая река Клунька. Все хорошо!

Николай чувствовал, как к нему возвращается бодрость. Гулял, купался, покрываясь черным бархатистым загаром, и порой даже не брал в руки газет.

Мать, осчастливленная его приездом, часто трепала хохолок на Колькиной голове и, вглядываясь в его лицо, шептала:

— Ну и худущий ты, Колюша. Плохо, наверно, жинка твоя борщ варит.

— У меня, мама, жинка—золото,—смеялся Николай.

Большинство жителей городка занималось садоводством и огородничеством. Была также небольшая фабрика, и местечко поэтому слыло городом.

Кузнецов собирался сходить на фабрику, но все откладывал: «А-а,—скажут—москвич... И возьмут в работу: доклад им сделай, газету наладь... Нет уж, дудки! Отдыхать, так отдыхать!»

С матерью он вел разговоры в саду, под яблонькой с крошечными зелеными плодами.

— Как на фабрике?—спрашивал, зевая, Николай.

— Фабрика? Провались она, эта фабрика! Промфинпланы, прорывы, тьфу!—злилась старуха.

— Плохо, мама, брак фабрика гонит, позор!

— Позор! А людей морить не позор? Кооператоры наши снабжение прохлопали. Понял? Своих запасов тоже нет ничего. Разве так жили мы, сынок? Помнишь? А нынче—промфинплан. Нет, из промфинплана борща не сваришь. Молчи!

Николай молчал и, заглядевшись на синее небо, на деревья, лениво шевелящие тяжелыми листьями, закрыл глаза.

Однажды встретил он приятеля—Миньку Коваленко, бывшего товарища по горячей охоте с рогатками на галок и воробьев.

Шли берегом, по мягкому, горячему песку. Николай без блузы, глубоко засунув руки в карманы широких бумажных брюк, шел развалистой походкой ленивого человека.

Минька говорил то же, что и мать, о чем в это лето шептались обыватели.

— Понимаешь, нет у нас к работе, ну, этого, стимула, что ли. Все внимание—тяжелой индустрии... А на нас наплевать, да? Если я чулочник, то и жить мне не надо?

Минька тревожно глядел на Николая.

— Надо создавать тяжелую индустрию,—тянул Кузнецов.— Нам машины свои нужны.

— А жить?—приставал Минька.

— Машины хлеб нам сделают.

— Когда мы подохнем!

— Глупости болтаешь, Михаил.

— Иначе не умею,—нахмурился Минька.—Да у нас многие, как вот я, рассуждают.

— А партийцы как, комсомольцы?—заинтересовался Кузнецов.

— Учат вроде тебя. Индустрию поднимем—все хорошо будет! Христосики...

— Ну, ты полегче,—разозлился Колька.

— А ты не пугай! Скоро все отсюда тю-тю. Я в Ленинград махну. Ты вот говоришь красно, а на фабрику к нам зашел? Помог в работе? Москвич, много знаешь...

Николай подумал немного над словами приятеля. Тянуло минутами на фабрику—поработать там, помочь ячейке. Но приходила лень, вспоминал, что работы много будет в Москве. Да и что он сможет? Помощь его объективно ничего не изменит. Да и позвольте, наконец: человек всю зиму работал, не покладая рук, и ведь не для себя! Нет, конечно. А теперь не может даже

как следует поправиться, нет усиленного питания, которое так необходимо.

Вспоминал маленького балованного Николушку, когда жив был отец, и мать не работала на фабрике. У них был большой сад, около тысячи корней. Лошадь мирно жевала в стойле овес, коровы—жвачку.

Всего было вдоволь. Во время сбора ночами яблоки сторожил Колька с отцом; было жутко, но увлекательно. Приходилось тогда нанимать и работников: не справлялись Кузнецовы одни, хотя отец садовником был хорошим, и мать с сестрой все лето в саду трудились.

Жизнь неузнаваемо изменилась. Но зачем захирел сад, и зачем его старуха-мать должна работать на фабрике? Ей бы уж можно отдохнуть.

Мать постоянно рассказывала, о чем судили и рядили городские обыватели. Он видел, что она не слушала его возражений, задумывался и злился.

«Кое в чем правы, пожалуй, мать, Минька и другие. Перегнули мы палочку, как я со своим планом. Накормить людей надо и одеть в первую очередь. Иначе ничего не получится».

Однажды Николай валялся, как обычно, после обеда под яблоней. Он вспомнил дни своей практики в наборном цехе и, разглядывая через густые кружева ветвей маленькие причудливые облачка, думал о том, что и там, в цехе, было много таких разговоров, какие он слышит ежедневно в родном городке.

Надо признаться, слабый отпор давал он, Николай, Цыганову, рыжему Лапкину и всей их компании. А ведь с ними нужно было драться, особенно там, в типографии, в напряженной обстановке борьбы за промфинплан. А здесь он вовсе молчит и совсем перестал отвечать на ворчание матери, соседей. Но какой смысл? Разве их переубедить?

Николай оглядывал полузакрытыми глазами знакомый сад. Каждое деревцо напоминало какое-нибудь событие. Вон там, под старой корявой яблоней, он катал пасхальные яйца. Синие, желтые, зеленые, переваливаясь, скатывались с бугорка.

А до чего хорош был городок в весенние пасхальные дни! Мягкий звон колоколов тонул в розовато-белых пространствах садов.

Вон под той высокой сухой яблоней он горько плакал, когда отца задавило поездом...

Мать начала ходить по стиркам. Он торговал газетами утром, вечером—ирисом. Потом: Москва, фабзавуч, комсомол. Ячейка послала учиться. Он скоро будет инженером.

Кузнецов, закрыв глаза, задумался об огромной работе, которая ему предстоит, и снова вспомнил практику.

— Дурака я валяю,—сказал он сам себе, вставая с травы, отряхивая прилипшие к брюкам соломинки, и со стыдом и досадой вспомнил о своей жалости к Цыганову.

Николай подпрыгнул, ловко ухватился за толстую ветку дерева и, подтянувшись на руках, перекувыркнулся. С удовольствием почувствовал себя бодрым и окрепшим.

Ветер тихонько шевелил сонные яблони. Несколько сухих листков, кружась в воздухе, опустились на примятую траву.

Кузнецов прислушался. До него донеслись какие-то странные звуки: в саду кто-то плакал.

Он побрел, оглядываясь, по густой, ласкающей голые ноги траве и увидел за кустами лежащую ничком и всхлипывающую девушку.

Это была Нюра—их соседка. Ее загорелая шея, покрытая темным пухом волос, покраснела от плача. Длинное, тонкое тело в черном платье судорожно вздрагивало.

Николай, пораженный, смотрел на девушку. Он не выносил слез и не умел утешать. Но надо было узнать, в чем дело. Кузнецов присел рядом с девушкой, царапая руки о кусты.

— Нюра,—неловко дотронулся Николай до ее плеча,—ты о чем?

Она заплакала еще сильнее.

— Брось реветь,—участливо сказал Николай.—Расскажи, в чем дело!

Она подняла с земли красное лицо, с темными, вдавленными травой полосками на щеке, и села, покачиваясь из стороны в сторону. Вытерла лицо платком и, еле выдавив: «сократили», захлебнулась вновь нахлынувшими слезами.

— Как сократили?—не понял Кузнецов.

— Шестьдесят человек сократили,—заныла Нюрка.—И меня тоже... Куда же я теперь?

Кузнецов повел девушку домой. На пороге он столкнулся с матерью.

— Ревешь?—сказала старуха Нюре.—Немало баб поревет сегодня.

— Что случилось, мама?—спросил Николай.

— От пятидневки назад поехали!—крикнула старуха.—Шестидневку надумали. А лишних—выгнать. Глядишь, и матку твою вышвырнут.

Николай не стал ужинать и побрел по тихой уличке.

Тихие темные сады укутывали дома. Густые, развесистые верхушки деревьев плавно покачивались в густо розовеющем небе.

Мысли путались в голове Николая. Растущие темпы, полная ликвидация безработицы... и вдруг сокращение, шестидневка. Как это все совместить?

Он больше месяца не читал газет. Ничего не знал о шести условиях победы. Не знал, что неподалеку от города строится кирпичный завод, остро нуждающийся в рабочей силе.

Вспоминая плачущую Нюрку, он думал:

«Сокращение—это отступление. И если так, то... Я не сильно ошибался однако,—думал он, шагая тихой, пустынной улицей и глядя в темнеющее небо.—Я ведь не враг какой-нибудь, я рабочий, рабочих хорошо знаю, да я же коммунист. И я не согласен с тем, что делает партия, то есть не совсем согласен»,—поправил он себя.

На углу ярко светился комсомольский клуб. Виднелись силуэты сидящих на подоконниках ребят.

Он разглядел в открытое окно фигуру докладчика, его бородатое загорелое лицо.

— Агитация,—сказал себе Николай и, круто повернувшись, зашагал домой.

Николай очень удивился, когда, войдя к себе в комнату, увидел, что за маленьким круглым столом пьют чай: мать, Нюрка и Нюркин отец—Андрей Дмитрич.

Лицо Дмитрича казалось черным, как у негра, на фоне белой занавески.

— А-а! Вуза московская!—закричал он, завидев остановившегося в дверях Кузнецова.—Ого-го какой вытянулся! Я теперь уж тебя, пожалуй, на плечи не посажу.

Они обнялись.

— Молодой ты совсем, Дмитрич,—сказал Николай,—совершенно не постарел, и не скажешь, что дочь у тебя такая взрослая.

Нюрка смущенно улыбнулась.

— Помолодел я, Колюша, в санатории. Премировали меня путевкой, в Ялту ездил. Отдохнул что надо. А дочь у меня, Николай, правда большая? Да жалко—дура...

Нюрка склонилась над блюдечком.

— Приезжаю—истерика. Орет моя доченька, как дитя месячное. Понимаешь—сократили. Ха-ха-ха,—неожиданно засмеялся он заразительным смехом здорового человека.

Засмеялась и Нюрка.

— Ну чего ржете?—заворчала обиженно старуха Кузнецова.—Тьфу ты, господи.

— Верно, что тут смешного?—вслух удивился Николай.

Дмитрич широко открыл глаза.

— А плакать о чем? Ведь у нас на фабрике до того были раз-

дуты штаты, что оборудования для людей нехватало. Директор барахло был. Ну, а теперь из Харькова нам такого хлопца прислали, все перевернул. Лишнюю рабочую силу сократили, а теперь—промфинплан, как мне хлопцы писали, —за последнюю декаду сто двенадцать процентов.

— Опять проценты,—обернулась к ним старуха.—Да что мне проценты? Им куда деваться?—кивнула она на Нюрку.

— У-у... Дела им хватит. Кирпичный завод—раз, там людей сотни две-три нужно. Новая железная дорога—два. Да пусть учиться моя дочка идет,—уже крикнул он.

— А почему снабжение плохое?—спросил неожиданно для себя Николай.

Дмитрич как-то странно посмотрел на него.

За окном плавала густо-черная ночь. В комнату через открытое окно, сквозь тюлевую занавесочку тянулся с зеленых улиц свежий запах созревающих плодов.

— Ты ведь давно в городе, Николай,—сказал Дмитрич.— Почему ты у меня спрашиваешь?

— Твоим мнением интересуюсь,—вывернулся Колька.

— Ну, что ж, я скажу? Наше горе—кооператоры. Прохлопали централизованное снабжение. Своих запасов сделать тоже не позаботились. Много тут безобразия было. Пришлось поработать. Зато теперь у нас дело пойдет,—откинулся Дмитрич на спинку стула.

— А почему в городе настроение плохое?—снова спросил Николай.

— У кого?—резким вопросом ответил Дмитрич.

— У тех, с кем я говорил.

— Говорил ты... матушка твоя ноет да такие вроде ее, которым в карман побольше надо, а на фабрику наплевать...

— Будь она проклята,—вставила старуха.

— Вот-вот, такие всегда ноют и скулят—раньше, мол, лучше было.

— Кое в чем и лучше,—вслух подумал Николай.

Дмитрич долго смотрел на него.

— Тебе, пожалуй, прежде жилось лучше,—медленно начал он,—ты тогда еще по саду бегал, в чурки играл, а я... Мы по четырнадцать часов в день на фабрике работали, а о санаториях мы и представления не имели. Что такое театр—тоже не знали, а белый хлеб ели только по праздникам.

— Не прибедняйся, Дмитрич,—сказал Колька,—я вижу—плохо у нас в городе люди живут.

— Ты давно был на фабрике?

— Не был и не пойду,—резко ответил Николай,—нечего мне там делать. Я отдыхать приехал.

— Эх ты...—как-то брезгливо сказал Дмитрич и встал со стула.—Я-то думал: хлопец приедет свой, поможет. Вот учусь я по политэкономии, спросить хотел, да думается мне, что я лучше твоего понимаю. Ты с рабочими говорил? Мамкиных сказок наслушался. Я хоть беспартийный, а в ячейку твою сообщу о твоих настроениях. Пойдем, дочка, спать. Прощайте....

Николай молча смотрел в черный квадрат окна. Потом вышел во двор. Отца с дочерью уже не было. Городок спал, плотно окутанный садами.

В Москву Кузнецов вернулся загорелым, бодрым, с точащей мыслью о том, что тяжелая индустрия—вещь хорошая, но темпы ослабить совсем бы не мешало.

Дома ждало письмо. Лиза поздравляла с сыном.

6

Тоська не знал...

Калоши скользили по мокрому асфальту тротуара. Колька спешил домой. Там можно будет забыть все неприятности.

Там ждет комната теплая, уютная, Лиза и маленький человечек, занявший огромное место в жизни Николая. Крошечный, пухлый, светлоглазый Тоська—Анатолий Николаевич Кузнецов.

Скоро месяц, как приехала Лиза, а беспокойство Кузнецова после отпуска еще больше овладело им.

Каждый день собирался рассказать обо всем Лизе и не мог. Обманывал себя: «когда я дома, заботы в сторону».

В институте он неожиданно для себя попал в группу ребят, с которыми прежде совсем не был близок. На одном из партсобраний он старался протащить одну из резолюций этой группки и был провален.

Не раз пытались говорить с Кузнецовым товарищи-партийцы. Он возражал им всегда почти одно:

— Ты вот поезди да посмотри, как люди живут. Пока здесь сидим — все умные.

И кончал раздраженно, как бывало мать летом в саду: «молчи лучше, молчи».

Гляди, из партии вылетишь,— пригрозил ему один из старых друзей.

Сегодня Николай твердо решил рассказать все Лизе.— Невозможно притворяться прежним, врать и чувствовать себя спокойно. Она поймет и поможет хорошим советом.

Сняв мокрое тяжелое пальто, он тихо вошел в комнату.

— Ведь у тебя сегодня кружок,— удивилась Лиза.

— Отменили,— соврал Николай.

— Это, пожалуй кстати. Принесли ребята билеты в Художественный, а мне без тебя итти что-то не хочется.

— Здорово,— обрадовался Кузнецов, но тут же забеспокоился:— А Тоська?

— У, брат! Тоська не пропадет. У него шефы крепкие. Целую бригаду коммуна организовала. Сегодня две дежурят.

— А они... это... справятся?— усомнился Кузнецов, и оба засмеялись.

В плетеной желтенькой кроватке, на белоснежной подушке темнело курносое личико в кружевах нарядного чепца,— подарок Мити Грачева.

Тоська спал, не зная, что надвигаются серьезные события.

В трамвае Николай угрюмо думал, с чего начать разговор с Лизой о том, что так мучило, и ничего не придумал.

В антрактах оба вместе с ребятами из типографии шли курить. Все громко делились впечатлениями. Николай, всегда живой и остроумный, к общему удивлению, молчал.

Домой пошли пешком.

Лиза взглянула ему в лицо и удивилась.

— Что это ты сегодня чудной какой?

Он молчал.

— Николай, тебе может быть нездоровится?—забеспокоилась она.

— Да, нездоровится.

И тут Николай начал рассказывать обо всем том, что произошло после отъезда Лизы.

Они шли по набережной. На другом берегу весело дребезжал на рельсах маленький, далекий трамвайчик. Огни его, отражаясь в реке, быстро неслись по ее темным волнам.

Лиза ни разу не перебила мужа. Она слушала, точно откуда-то издалека доносившийся голос и не видела ни домов, ни реки, ни трамваев, ни луж под ногами.

Он кончил и жадно ждал, что она скажет. Нервное напряжение, с которым он говорил, стараясь придать спокойствие своему голосу, перешло в утомление и слабость во всем теле. Он ждал, что скажет Лиза.

Но Лиза молчала.

Ей казалось, будто ее кто-то грубо вырвал из веселой толпы, схватил за волосы, сильно таскал, а потом отпустил с закружившейся головой, и она, Лиза, осталась стоять измученная, с разбежавшимися мыслями, одна, в глухой, черной тьме.

Тоська проснулся и первым делом чихнул. Потом удивленно посмотрел на прыгающий на стене большой солнечный зайчик. Потом ему захотелось есть, и он негромко захныкал.

Никто не подходил.

Тоська захныкал громче.—Никого. Тогда он напряг все свои силенки: икая и захлебываясь, усилил голос.

Когда крепко заснувшая после бессонной ночи Лиза подбежала к его постельке, Тоська, красный, как морковь, поднимая спеленутые ножонки, жалко вытянув ротик, хрипло плакал.

— Ах, ты дурачок,—и Лиза нежно поцеловала мокрое маленькое личико.

Задумчиво глядя перед собой, она кормила ребенка.

Скоро отпуск кончается. Надо итти работать. И будет орать в постельке маленький Тоська, зовя мать, а матери не до него, а мать на фабрике, в райкоме, занята Тоськина мать. Немного уделишь времени маленькому, беспомощному существу.

Дальше—еще трудней. Станет парнишка старше. Надо его воспитывать. Николай... он занят... А потом... Лиза боялась возвращаться к своим ночным бессонным мыслям: жизнь с Николаем станет невозможной, если он не захочет признать и исправить ошибку.

Но тут же Лизе стало весело. Тоська, наевшись, улыбался и строил забавные рожицы. По полу гуляли солнечные зайчики.

Лиза тряхнула волосами.

— Подумаешь, какой оппортунист! Запутался парень—и все, а мы вот с ним поговорим, да, Тосик, мы ему докажем. Вот он придет с завода—устроим заседание. А ты, Тоська, за председателя... У-гу...

Тоська согласно улыбнулся.

«Выговор ему все-таки заляпать придется»,—вздохнула Лиза.

Она приготовила к приходу Николая целую речь. Потом села за книгу и не могла сосредоточиться.

А что, если он захочет думать иначе. Разве можно тогда жить вместе? Конечно, нельзя. Это будет мука. Но и порвать все... тяжело, мучительно.

И Лиза без конца ходила по комнате, разговаривая с Тоськой.

Я против

Последнее время Митька Грачев стал возбуждать в Николае чувство, похожее на зависть.

Этот парень, секретарь комсомольской цехячейки, положительно чувствовал себя в цехе хозяином. Он всегда присутство-

вал на совещании цехового треугольника, говорил резко и уверенно, внимательно оглядывал собеседника немного косящими черными глазами.

Кузнецову после вчерашнего разговора с Лизой было не по себе, и хотелось поскорей ее видеть. Но после работы подошел Митька Грачев и попросил тихонько остаться.

— Дело есть!

— Некогда мне,—огрызнулся Кузнецов.

Митька покраснел.

— Я о тебе буду вопрос в твоей ячейке ставить,—сдержанно сказал он.—Какого чорта! Коммунист, спец будущий, а на практику приходишь, как в гости. Где твоя конкретная помощь? О новых технормах будем говорить. Изволь притти,—и зашагал прочь.

«Вопрос поставим,—повторил про себя Колька,—испугал—подумаешь. Ладно, останусь, но поставлю вопрос по-своему. ТНБ делать, наверное, нечего»,—ворчал он, вытирая мокрым полотенцем руки.

В кладовой расселось несколько человек на длинном заваленном шрифтами столе.

Обсуждали, кто в какую бригаду пойдет при проработке технормы.

Кузнецова предложили прикрепить к формулистам.

Он отрицательно замотал головой.

— Считаю, что сейчас норму новую вводить нельзя, и никуда меня не прикрепляйте.

Несколько пар глаз удивленно глянули на него.

— Нечему тут удивляться,—продолжал Кузнецов,—заладили—норма да норма. На кой чорт нам норму увеличивать, когда цех полуфабрикатами завален. Повернуться негде. Нужно расширение производства, да и рационализация нужна, а потом о новых нормах говорить можно. Погляди ты, что в кладовой-то творится,—крикнул он Митьке.

— А это что?—громко ответил Грачев, показывая рукой на окно.

Там, в глубине двора очищался от лесов серый с огромными окнами стройный красавец—новый пятиэтажный корпус. Николай мельком глянул в окно.

— Знаю, видел,—обернулся он к ребятам,—да это когда еще будет, тогда и норму можно.

— Так говорят трусливые оппортунисты.

Грачев вскочил. Он подбежал к сидящему на кипе бумаги Кузнецову.

— Новые нормы сейчас нужны, понял? Дозарезу нужны. Они обеспечат выполнение промфинплана.

— Брось ты его агитировать!—закричали ребята.

— Верно, не стоит,—послышалось от дверей.

Там давно уже стоял завцехом, не замеченный прежде ребятами. Он внимательно поверх очков смотрел на Кузнецова.

— Плохой ты партиец и плохим руководителем будешь,—медленно произнес он.

— Лучше твоего,—огрызнулся Кузнецов.

— Я пойду в их ячейку,—сказал ребятам Грачев.—Это чорт знает что такое—коммунисты так не рассуждают.

— Иди, иди,—усмехнулся Кузнецов.—Пожалуйста. Там как раз сегодня бюро, только тебя и ждут. Будьте любезны. Испугал, ох, испугал. Не боюсь! Иди!—и он двинулся к выходу.

На лестнице, возле кладовой, собралась группа рабочих. Читали вывешенные на стене таблицы—о нормах, расценках. Водили пальцами, пачкая бумагу.

Злоба все нарастала в Николае. Душно становилось от ее горячего, распирающего грудь прилива.

«Умных из себя строят,—возмущался он,—а из меня дурака делают. Нет, я больше вашего, милые, понимаю. Вот еще стадо стоит»,—подумал он о толпившихся у таблицы рабочих и нарочито громко закашлял.

Все обернулись.

— Смотрите?—громко сказал Николай.—Обсуждаете? Против нет? Ну что ж, ваше дело, выходит, такое. Вот примете нормы новые, и сокращать вас будут.

— Эва, что коммунисты толкуют,—вынырнул откуда-то Цыганов.—А ведь дело парень сказал.

— Что это ты агитируешь, товарищ Кузнецов?—крикнул молодой высокий наборщик в больших очках.—Разве так коммунисты говорят?

— Кого сокращать будут?—дернул кто-то Николая за рукав.

Николай растерялся.

— Отвечай,—громко сказал парторг бригады формулистов.—Отвечай, тебя спрашивают!

— Чего пристал?—обернулся Кузнецов.—Надо правду говорить: сокращать после норм начнут. А разряды зачем принимают?—закричал он на ухо парторгу.—Жмете рабочий класс. Он молчит, а вы и рады.

— Пойдем отсюда,—потянул его тот,—ты, наверное, выпил.

Николай сильно оттолкнул собеседника.

Кто-то схватил его сзади.

— С лестницы гада спущу! Ах ты, коммунистом называешься.—И грубо выругался.

— Пусти его!—закричало несколько голосов.

На шум выбежали ребята из кладовой. Завцехом подбежал к толпе и врезался в гущу.

— Что случилось?—блеснул он очками.

— Коммунисты против норм агитируют!—крикнул из-за чьей-то спины злорадствующий, пискливый голос.

— Какие коммунисты?—загремел Митька.

Все указали на бледного Николая. Он не ожидал такого отпора. Он стоял теперь один у распластанной на стене таблицы.

— Ты не ори,—сказал Митьке Грачеву горбатый старичок. Он душой за нас болеет—он против норм верно говорил. Душевный парень!

— Гнать таких душевных из партии!—возмущенно возразил Алешин, наборщик в больших очках.

Николай, ссутулившись, зашагал вниз по лестнице.

Он слышал, как там, наверху, Никитин—парторг формулистов—и Дмитрий Грачев горячо разговаривали со все меняющимися у таблицы курильщиками.

Одни, бросая окурки, шли работать; другие, слушая рассказы товарищей о Кузнецове, качали головами и тихонько ругались. Кое-кто, узнав о скандале, довольно улыбался.

Никитин посоветовал комсомольцам немедленно выпустить стенгазету. Ребята побежали искать место, где бы можно было расположиться.

Грачев наскоро написал заметку и поспешил в институт.

Кузнецов, выйдя на улицу, пожалел, что произошел скандал.

«Ну, ладно, с нормами я не согласен,—рассуждал он, переходя мокрую, блестящую в свете фонарей мостовую.—Ну, пошел бы я в парторганизацию и заявил. А я что сделал? Эх, дубина несчастная, что натворил! Главное, новые рабочие бузить будут. А вдруг нормы не пройдут?»—обрадованно испугался он.

Но вспомнил, как ругали его наборщики, какую злобу читал он в их глазах.

Они требовали, чтобы он ушел и не мешал им работать. И вот он один. Какой это переулок?

Кузнецов поднял глаза. Прямо на него шли два оживленно разговаривающих парня с портфелями.

— Наши!—обрадовался Колька и заспешил навстречу.

— А-а-а! Мистер Кузнецов! Что ж ты, милый мой, на бюро не был?—мягким баритоном заговорил один из приятелей.

Замолчав, он критически, как-то сбоку посмотрел на Николая.

— Хорошие ты дела творишь,—заговорил другой.

— Откуда... вы... знаете?...—выговорил Колька.

— Был Грачев на бюро. Понял? Разговоров о тебе сегодня было порядочно, Николай! Дельный парнишка Грачев, между прочим.

— Разрешите поздравить,—поднял руку первый,—выговор с занесением в личное дело. Понятно!

— Гляди—совсем бы не вылетел,—пригрозил второй. И они зашагали прочь, оставив Кузнецова одного посредине мостовой.

8

«Ненавижу!»

Не снимая пальто, Кузнецов остановился у двери, странно глядя на Лизу. Она испугалась. Он походил на пьяного.

— Успокойся,—взяла его руки в свои,—давай сядем.

Он не сразу мог говорить. И Лиза поняла—случилось что-то очень важное, может быть непоправимое.

— Ты очень нервный стал,—начала она,—и совершенно не умеешь сдерживать себя. Прямо—баба. Стыдно. Ведь член партии.

— А вот скоро выгонят,—криво улыбнулся он.

Лизины глаза сразу стали узкими и темными.

— Что-о?

— Вот то самое. Сволочи все, все! И ты тоже, да! У, у, гады,—орал Колька, бегая по комнате.

Тоська, не привыкший к такому шуму, испуганно плакал.

— Не кричи, Николай,—останавливала Лиза.

— «Не кричи!» Почему это «не кричи?» Я ведь не на собрании. Почему я не имею права говорить то, что хочу. Выговор в личное дело? И к чорту—пусть совсем выгоняют. Если мы все идем не по тому пути...

— Молчи!—закричала Лиза.

— Что? Скажешь—темпы нам легко даются? Они обуза для рабочего. Темпы,—чорт вас всех побери!

— Молчать!

Лиза стояла перед ним бледная, сжимая кулаки. Он грубо ее оттолкнул.

— Я еще больше скажу! Партия...

Лиза схватила его за руку.

— Николай, думай, что ты говоришь.

Он так сильно оттолкнул ее, что она упала. Она остолбенела на минуту.

— Ты, ты, драться?—недоуменно крикнула она.—Да, как ты смеешь?

Лиза вскочила с пола и, сильно размахнувшись, ударила Николая по лицу.

Как могла она любить этого отвратительного человека? Перед глазами было злое красное лицо, в ушах звенели его последние слова.

— Ненавижу,—прошептала она, поднося кулаки к его носу.—Ненавижу! Ни минуты здесь, ни секунды!

С лихорадочной быстротой она оделась, завернула в одеяльце кричащего ребенка и выбежала из комнаты. Он отупело стоял, не шевелясь. Потом выбежал стремглав на лестницу.

— Лизка-а-а-а!—гулко разнеслось по этажам.

Она была далеко.

Кузнецов вернулся в комнату и лег ничком на колючий плюшевый диван.

9

Здесь надо было начинать

Левка поднял с подушки коротко остриженную коричневую, как волей-больный мяч, голову и сильно ущипнул себя за нос.

В это мгновение крик, не давший ему досмотреть интересный сон, снова повторился

— Я ее все равно убью,—кричал чей-то знакомый голос.—Пристукну, несчастная тварь!

— Эге,—подпрыгнул Левка и, подтягивая трусы, бросился к двери.

«Кузнецов скандалит,—мелькнуло в голове.—Небось с наганом. Ну и гад!»

Левка распахнул дверь. В глаза ударил сильный свет большой электрической лампы. По комнате бегало несколько ребят с хоккейными клюшками в руках. Они посдвигали на середину комнаты шкапчики и носились между кроватей, точно племя диких, первобытных людей.

— Все равно убью!—надрывался Митька Грачев.

Левка сделал шаг. Под его ноги подкатился стремглав серый клубок, и он с грохотом свалился на пол. Раздался отчаянный писк...

Через минуту испуганный Левка с ребятами рассматривали труп большой убитой пушистой крысы с умной мордочкой и жалким прямым хвостом.

— От имени всех обитателей благодарю за избавление нас от этого чудовища,—серьезно пожал руку Левке Саша Ковалев.

Смеялись долго, прикрывая рты руками, чтобы не разбудить остальных коммунаров. Приводили в порядок комнату. А когда взглянули на часы, оказалось, что спать уж не стоит—скоро на работу.

Лампа погасла, и за окном большим синим фонарем замерцало небо.

— А я, брат, думал, что это Кузнецов пришел Лизку убивать,—поделился Левка.—Очень уж Дмитрий жутко орал!

— Ну что ты! Кузнецов на такое дело не пойдет.

— А плохо, ребята, с нашей Лизаветой.

— Я ничего у нее не понял,—признался Левка.—Не ругались они вроде никогда, и вдруг—«не буду с ним жить». И точка. Это очень странно.

Шопотом, в полутемной комнате говорили они о Лизином приходе в коммуну, и никто не знал толком, что произошло у нее с Николаем. Было ясно, что коммуна должна разобраться в этом деле.

В шесть часов на разные голоса запело несколько будильников.

Комнаты сразу наполнились смехом, шутками, песнями.

— Леня, Лень!—выкрикивал, давясь от смеха, загорелый, маленький коренастый парнишка.—Ты гляди, брюки-то наизнанку надел. Ох-хо-хо, а еще ударник премированный! Вот уморил, дьявол!

Близорукий ремонтщик Леня сконфуженно снимал брюки, одновременно подбирая с полу выпавшее из карманов.

— Ну, и смеяться нечего. Подумаешь, переодену обратно.

Лиза вышла в столовую бледная, смущенная, с красными от бессонной ночи, припухшими веками.

В комнате стало тихо, точно кто-то выключил сразу шумевший множеством веселых глоток громкоговоритель.

Маленькая стрелка стенных часов, неловко вытянувшись, подползла к семи.

Молча допивали чай и отправлялись на работу коммунары.

Лиза давно не была в коммуне, и все ей казалось здесь новым и интересным.

Стараясь забыть невеселые свои мысли, ходила она по комнатам.

— В двух—спальни ребячьи, в одной—для девчат,—пояснила Соня.—А вот эта, помнишь, пустая почти была,—теперь комната для учебы... А ты у нас совсем останешься?

— Если возьмете—совсем, — улыбалась Лиза, оглядывая стены.

ЗАДАЧА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ (ЛЕНИН).
ТЕХНИКА В ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ РЕШАЕТ ВСЕ (СТАЛИН).

Знакомые портреты вождей, лозунги, вся уютно-деловая обстановка комнаты действовали успокаивающе.

— Вот, смотри—производственный уголок. Все материалы здесь найдешь насчет промфинплана, хозрасчета, всякого такого. Здесь вот список всех ребят и график, как кто свой соцдоговор выполняет. Это мы с Тонькой придумали. Кто отстанет, сейчас обсуждаем: почему, что за причины? Хотя теперь все подтянулись! Сначала даже суды приходилось устраивать. Вот, например, Сашка Ковалев пил здорово. Долго ударником не хотел быть. Мы от пьянки отучили, да не совсем, бросить не хотел. В столовой мы каждый день вывешивали:

«Они позорят коммуну, не желая активно участвовать в соцстроительстве.

У нас еще не ударники: 1. Саша Ковалев. 2. Нюра Васильева».

— Почему же Саша не подписывал договора?

«Я,—говорит,—может, запью опять, да прогуляю—значит лжеударник».

— А потом?

— Потом мы Нюрку Васильеву обработали, она его на соревнование вызвала. Стыдно Сашке стало. Сейчас—лучший ударник. «Не хочу,—говорит,—коммуну позорить».

В шкапу было много хороших книг За несколько месяцев коммунары оборудовали библиотечку. Поработали на субботниках, зато теперь в комнатах для учебы было все необходимое, даже ковер (для тишины) в клубе выпросили.

Лиза узнала о том, что все двадцать пять коммунаров—премированные ударники, что у них еще только один не в комсомоле.

«А была половина беспартийных»,—вспомнила Лиза.

Она рассуждала о том, какую огромную работу проделала коммуна. Все это прошло как-то мимо нее,—она с мужем, с Тоськой, в маленькой уютной скорлупе мыслила строить новую жизнь.

«Вот где надо было нам начинать эту жизнь»,—думала Лиза.

Директор типографии частенько бывал в коммуне. Сначала затаскивал Митька Грачев, потом Тимофею Иванычу так понравилась триста семьдесят пятая квартира, что он стал в ней частым гостем и работал иногда в комнате для учебы—дома ребята мешали.

Лизе до того здесь все нравилось, что она не замечала даже окурков в спальне у ребят и грязного белья под кроватями.

— Хорошо живете,—повторяла она беспрестанно.

— В общем хорошо,—соглашалась Соня,—но многого еще недостает, например, культуры в быту, дисциплины. Вот будильников не надо бы, сами должны вставать, да очень проспать боимся. Не всегда чутки друг к другу: иногда разбузимся вечером—спать другим мешаем. Много еще таких досадных мелочей. Кое-кто выпивает на стороне. Это уж совсем нехорошо. Хватит еще работы над собой, да мы и не боимся работать, Лизок!

10

Снова лыжи

Тоська внес в коммуну много нового. На торжественном заседании в комнате отдыха под победные звуки какого-то немыслимого марша над ним взято было шефство. Все возились с малышом, таскали его по комнатам, подкидывали под потолок. Тоська умно помалкивал, относясь ко всему этому снисходительно и равнодушно.

Лиза теперь могла спокойно работать, зная, что выходные добросовестно возятся с ее сынишкой.

Вспоминала и свое, совсем другое, непохожее на Тоськино, детство. Как, подрастая, играла с братишкой под столом, на грязном полу, пряталась под кроватью от пьяного отца—угрюмого слесаря-водопроводчика, допившегося до белой горячки.

В выходной день Лиза проснулась раньше обыкновенного и увидела в окно сияющую веселой оттепелью улицу. Лиза вспомнила о бригаде по перевыборам Моссовета два года назад.

— Сегодня у нас вылазка,—живо крикнула она и сбросила одеяло.

Одеваясь, шаг за шагом вспоминала лыжный поход, когда она бежала пятым лыжником, потом недолгую и дружную жизнь с Николаем.

Вчера решили в коммуне, что Грачев должен серьезно поговорить с Кузнецовым.

Лизе хотелось, чтобы этот разговор произошел поскорее. Она ясно видела, что все еще любит Кузнецова и хочет быть с ним снова вместе.

Коммунары рассыпались по лесу. Весело скользили хорошо смазанные лыжи.

Лиза широким, русским шагом бежала по шурщащим под лыжами снегом.

Реже становились ели. Лиза сделала крутой поворот и остановилась, тяжело дыша после быстрого бега, оправляя свою белоснежную фуфайку.

Она увидела тени подымающихся из оврага лыжников и медленно пошла им навстречу. Сначала показалось широкое веснущатое лицо высокого парня в красной рубашке. За ним, тяжело дыша, вылезла толстая девушка в желтом фланелевом костюме. Потом ловко, как бы небрежно опираясь на палки, поднялся третий лыжник. Белый шлем, сдвинутый на затылок, лохматая белая фуфайка, легкие непринужденные движения хорошего лыжника... «Да это же он, Колька!»

Лизу догнали Тоня и Грачев.

Кузнецов медленно шел по направлению к ним. Он еще не заметил коммунаров и неспеша подвигался вперед, держа палки подмышками и потирая озябшие руки.

— Смотрите,—нервно сказала Лиза.

— Фью-тью!—свистнул Митька.—Спрячься, Лизок, за елку. Вот я с ним сейчас потолкую.

Он круто повернул лыжи и направился к Кузнецову.

— А я?—прошептала Лиза.

Тоня укоряюще на нее посмотрела.

— Лиза, разве вчера не договорились? Спрячься, Лизка!

Николай увидел Грачева и остановился. Лиза, оставя лыжи, прыгнула за елку. Ее маленькие пьексы потонули в сугробе.

— Здорово, Кузнецов,—крикнул Грачев.

Николай недоверчиво оглядел его и угрюмо поздоровался.

— Вы всей коммуной?—спросил он.

— Почти вся ячейка.

— И Лиза?

Грачев помолчал, потом глянул в упор в глаза собеседнику.

— Да, и она здесь.

— Вот хорошо,—обрадовался Кузнецов,—а я в коммуну собирался.

— Зачем?

— Как зачем?—он развел недоуменно руками.

Лизе стало очень жаль Кузнецова. Захотелось встать на лыжи и выехать с разбегу в его объятия. Он, смеясь, крепко обнимет. Они рядом, как прежде, пойдут дальше лесом, вдвоем, среди молчаливых седых деревьев.

Лиза тесно прижалась к холодному, щершавому стволу и вытерла глаза мокрым от снега рукавом.

Она увидела, что Николай вместе с Грачевым пошел в поле. Они оживленно разговаривали—шли без палок, слегка переваливаясь с ноги на ногу, сильно жестикулируя.

Лиза глубоко, судорожно вздохнула и побрела тихонько в лес к ребятам, растерянная, грустная.

Грачев оглянулся, увидел, что Лиза ушла, и остановился.

— Где Лиза?—спросил Кузнецов.

— Тебе зачем?

— Опять зачем?—вспыхнул Колька.—Поговорить надо! Тебя это не касается.

Они стояли посреди поля, друг против друга. Митька ударил палкой по снегу. Его серая ковбойка трепыхалась от резких движений.

— Нас не касается, говоришь?—прищурился Грачев.

Николай надел варежки и решительно двинулся вперед. Но широкоплечий Грачев заслонил ему дорогу.

— Рано тебе к Лизе итти,—сказал он.—Сначала надо бы кашу маленько расхлебать. Заварил ты круто.

— Не смешивай политики с моим личным делом,—раздраженно перебил Кузнецов.—Это бытовое и наше личное дело.

— Это не только бытовое дело,—четко произнес Грачев,— и оно не твое личное. Думаешь, есть любовь—и все в порядке? Но по-другому вышло. Повторяю, Кузнецов, в коммуну не приходи, тебе сейчас там делать нечего. И с Лизой говорить не о чем. Вот поработай, подумай, тогда поглядим. Прощай.

Резко повернувшись, Митька Грачев пошел прочь.

И снова, как тогда в цехе, у таблицы с технормами, Кузнецов остался один. Вдали виднелась группа лыжников, доносился их веселый смех.

Он засунул руки в карманы и побрел тихонько к запрятанному в густо обступивших его елках желтенькому домику лыжной станции.

Тишину леса нарушало чуть слышное шуршание его лыж.

11

Новый корпус

Заведующий производственным отделом, гладко выбритый, с длинной тоненькой папироской в углу рта, строго смотрел на Кузнецова.

— Ну, так вот, товарищ. Работа большая и серьезная. Берете?

Николай широко открыл глаза.

— Под мою ответственность?

— Да, да, конечно.

— Хорошо,—выдавил Николай.—А когда начинать?

— Да сегодня можно.

«Быстрый какой!—подумал Николай.—А вдруг я не справлюсь?»

— Товарищ Мухин!—крикнул заведующий производственным отделом.—Вот практикант Кузнецов займется планированием третьего этажа.

Николай, необычайно взволнованный, вышел во двор вместе с заведующим наборным цехом, Мухиным.

Николай никак не ожидал, что после всех событий, в центре которых он стоял, ему поручат такую ответственную, сложную работу. Он как-то машинально согласился взять и даже не успел поразмыслить. Однако было ясно: доверили. Разве можно отказаться?

Новый корпус, который он еще совсем недавно не брал в расчет как что-то реальное, высился теперь в конце двора, блестя большими, уже застекленными окнами.

Николай поднялся на третий этаж.

— Вот где наш цех будет,—сказал, снимая очки, Мухин.

Он стал объяснять Николаю предварительный проект планирования наборного цеха.

Мухин скоро ушел, оставив Николая одного.

Кузнецов долго вышагивал по просторному светлому залу, пачкая ботинки о шершавый пол будущего цеха.

Вон там, у окна, расположится маленькая армия стрекочущих монотип-головок. Значит, тут необходима стеклянная перегородка.

Он сделал несколько шагов вдоль окон. Вот здесь будут линотипы. Так. Хорошо свет падает. Он отошел от окна и представил себе выстроившиеся рядами машины.

Вот шурша ползут матрицы, быстро бегают по клавиатуре руки наборщиков.

Лиза сидит у окна. По наклону ее головы и мягко поднятой брови видно, как внимательно читает она оригинал.

Да, так цех будет спланирован крепко. Это его, Кузнецова, работа!

По лестнице зашаркали чьи-то неторопливые шаги. Николай резко обернулся.

Алешин, глядя сквозь круглые стекла своих больших очков, осматривал с любопытством помещение.

— Вот цех-то будет!—сказал он.

— Да, помещение подходящее,—громко ответил Николай.

Алешин снял очки и удивленно глянул на Николая.

— Ты зачем здесь?

— Поручили планировать.

— Ну-у?—будто не доверяя, снова удивился Алешин.

Кузнецов отвернулся к окну. Алешин подошел к нему.

— Расскажи-ка, какие есть наметки. Хо-ороший цех будет.— Он опять внимательно оглядел пол, окна, потолок.

— Народу много надо. Очень много. Человек шестьдесят квалифицированных да учеников сотни полторы,—заговорил Колька.

—Да-а...—серьезно согласился Алешин и вдруг тихо засмеялся.—А помнишь,—сквозь улыбку выговорил он,—как ты насчет сокращения орал?

Широко улыбаясь, он стоял посреди огромного зала и щурился на солнце, высокий, тоненький, немного курносый, с большим выпуклым лбом.

— Ну, а нормы как, понижать, что ли, будем?—усмехнулся опять Алешин. Солнечный лучик блеснул у него в зубах.

«Издевается»,—горько, но без злобы подумал Колька.

— А ведь наборный цех был у нас самым узким местом,— продолжал Алешин таким тоном, как будто был уверен, что и Николай всегда думал одинаково с ним.

«Совсем неплохой парень!»—благодарно подумал Николай и, вдруг поняв, каких слов Алешин ждет от него, сказал:

— Больше такого узкого места не будет, когда у нас есть новый корпус. Да и надо признаться, рационализацией мы плохо занимались. А теперь...—он подошел ближе к Алешину и уже не боялся смотреть ему в глаза,—теперь у нас прибавляется еще одна мощная ротационка. Поэтому от наборного цеха потребуется большое напряжение. Нормы...—он покраснел и запнулся, потом глянул в победно улыбающиеся глаза Алешина,—нормы необходимо увеличить—для этого все данные.

Алешин не сводил с него глаз. Николай прочел в них вопрос.

— Жизнь...—начал он и умолк, чувствуя, что объяснять не надо.

— Надо так четко поставить работу, чтобы ни секунды зря не пропадало. А у нас иной раз ручники, и те стоят—оригинала во-время не дадут или еще что-либо,—серьезно сказал Алешин.— Мы такое дело недавно начали проводить—поход на головотяпство и головотяпов. И знаешь, столько неполадок уладили,—с увелчением продолжал он,—почти все ручники нормы перевыполнили.

Николай закивал головой.

Становилось прохладно. За окнами густо темнело небо.

Они спускались по лестнице. Эхо их громких голосов расплывалось по этажам.

Утром Николай выкладывал Мухину свои соображения, показывал чертежи.

В комнату вошел Грачев. Через Колькино плечо он глянул на стол с чертежами.

Прислушавшись, как Николай горячо доказывает целесообразность своего проекта, Грачев подмигнул незаметно Мухину и хлопнул Николая по плечу!

— Молодец Коля, здорово!

Кузнецов оглянулся и вспыхнул.

В конце дня он зашел в ячейку. Удивленно посмотрели сидящие на лавке ребята—давно не заходил сюда этот высокий практикант. Они с любопытством оглядывали Николая, его черный костюм, серую клетчатую рубашку под расстегнутым пиджаком.

— Это он в наборном бузил?—спросила одна девушка у своего соседа таким громким шопотом, что Николай услышал и, как утром, когда похвалил его Митька, снова зарделся.

«Вот дубина»!—подумал он.

— Пойди-ка сюда, Грачев,—поманил он Дмитрия за дверь.

Тот вышел вслед за ним в полутемный коридорчик.

— Скоро перестановка машин начнется,—строго сказал Николай,—а в новом корпусе грязи полно. Надо комсомолу за это дело взяться.

Грачев широко улыбнулся.

— Это замечательное предложение, Коля. Но, знаешь, мы давно его уже приняли. Ведь комсомол взял шефство над новым корпусом. Уже был один субботник.

— А второй когда?—сурово спросил Николай. Он все еще неловко чувствовал себя перед Грачевым.

— В выходной, Колька, в ближайший выходной,—торопливо бросил Грачев: его звали ребята.

«А это все-таки здорово, что и он субботник предложил,—подумал про себя Грачев, входя в комнату ячейки.—Обязательно расскажу Лизе».

Голубое прозрачное небо легло на крышу нового корпуса. С площадки на площадку, по лестницам, разносился разноголосый гам, песни, смех.

— Колька!—подлетел Грачев к работающему на площадке Кузнецову.—Сыпь скорей: грузовик пригнали.

Во дворе Николай увидел играющих детишек, вспомнил Тоську, вздохнул.

Когда Николай снова поднялся наверх, солнечные лучи хозяйски разгуливали по чисто вымытому полу.

В распахнутые окна врывался запах весны; весенний гам сливался со звонкими голосами.

— Машины можно устанавливать,—улыбнулся Николай.

Мимо пробежали девчонки, таща гирлянды из елок.

Он жадно вдохнул свежий запах леса. Вспомнил маленький городок, весну, травянистые улички и плодовые сады.

Пробежал мимо окон Грачев.

— Митька!—крикнул Кузнецов и, когда тот подошел, спросил тревожно:—Не знаешь, как с проектом моим?

— Приняли!—крикнул Грачев.—Забыл тебе сказать: одобряют твое планирование, изменений почти нет. Давай лапу!

Николаю долго не хотелось выпускать из своей руки широкую теплую пятерню Грачева.

— Эй-эй! Носилки бери!—послышалось с лестницы, и Николай бросился туда.

В дверях он столкнулся с Лизой. Она лукаво улыбнулась, блеснули неисчерпаемым весельем глаза. Он остановился на минуту, но Лизы уже не было: она бежала по лестнице вверх, ловко прыгая через ступеньки.

Кузнецов сел на перила и быстро скатился вниз.

Во дворе толпились ребята, окончившие работу.

Маленький черномазый паренек наводил от нечего делать зеркальце на лошадь, и солнечные лучики бегали по лошадиной морде.

Николай схватил озорника в охапку и закружился с ним по двору.

ДОЖДЬ

Ведь это ж совсем не относится к делу:
Радуга,
солнце,
ребяческий дождь,
Такой,
что пройдись,—
и от кепки белой
Вымокнешь до подошв.
Он будет недолго,
он нам не помеха,—
Передохнув полчаса,
Опять арматурить
на крышу цеха
Взберемся по мокрым лесам.
Дождь шумный,
внезапный,
как детская радость,
Серебреный,
проливной.
И как это солнце
и тысячи радуг
Вмещаются в капле одной?
Но я не об этом,
товарищ читатель.
Глянь.
Рассудительный наш бригадир
Вышел во двор
и совсем некстати
Встал под потоком воды...
...Струи бегут с головы косматой,
Со спутанной бороды.
Он ловит дождинки рукой неуклюжей,
Как я,
он сияет, не потому ль,
Что радуга,
дождь

и веселые лужи
Напомнили детство ему.
Заходит под крышу
промокший до нитки,
Берет молоток бригадир...
— Хорошо...
Жарища теперь хоть немного сникнет,—
Дождь этот кстати прошел...
Наверх бригадир залезает проворно:
— Ну, поднажмем веселей.
Воздух напитан прохладой горной,
Пьянящим простором полей.
И небо как будто помолодело,—
Промытая синь высока...
Но это совсем не относится к делу,
И я обрываю рассказ.

ЧИТАТЕЛЬ
Сообщи свой отзыв об этой книге, указав свою профессию и возраст, по адресу: Москва, 9, Б. Гнездниковский пер., 10. Изд-ву «МОСКОВСКОЕ Т-ВО ПИСАТЕЛЕЙ»

СОДЕРЖАНИЕ

А. Безыменский—Петр Смородин 5
А. Фадеев—На разведке 6
А. Жаров—Из блокнота 1920 года 15
Бруно Ясенский—Человек меняет кожу 18
Вл. Луговской—Съезд 27
В. Сгавский—Петрусь Хижний 30
А. Сурков—Песня моего друга 43
Анна Караваева—Рождение воли 46
Мих. Голодный—Я славлю наших ребят 62
И. Шухов—Контр-атака 63
В. Гусев—Разговор московского комсомольца с американским городом Филадельфия 74
К. Горбунов—Лень 78
В. Сидоров—Песнь о брате 112
Марк Колосов—Молодая гвардия 114
В. Резчиков—Ламповщица 171
Я. Шведов—Выздоровление 172
Я. Хелемский—Путиловцу, мечтающему играть на рояле 194
Шалва Сослани—Встречное 196
Е. Шевелева—Цех комсомолии 242
Г. Тарпан—Изобретатель 244
М. Скороходов—Зелень 257
А. Митрофанов—Вася 259
Бэлла Бородина—Проводы 267
Николай Богданов—Комсомольская домна 268
Е. Долматовский—Гамлет 278
Н. Клязьминский—Золотая круча 281
А. Чачиков—Другу-чекисту 286
Сарра Марголис—В садах 288
В. Непомнящих—Дождь 321

НОВЫЕ КНИГИ

Джек Алтаузен
КОМСОМОЛЬСКИЕ ПОЭМЫ

ВСТУПЛЕНИЕ
сборник молодых поэтов

Анатоль Гидаш
ЗЕМЛЯ ДВИЖЕТСЯ

Михаил Голодный
ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Виктор Гусев
СЫНОВЬЯ ДИКТАТУРЫ

Александр Жаров
ЗЛОБА ДНЯ

Иван Овчаренко
ВОССТАНИЕ

СТРАНА
лит.-худ. альманах

Сергей Швецов
ЛИТЕРАТУРНАЯ САТИРА

Николай Шкляр
СТРАНА МОЛОДЕЖИ

05. 813.